



Сильвия Раннамаа

Приемная мать

Перевод с эстонского Т. Вайно Морозные иглы ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Все ушли на танцы, а я села писать. Как говорят — каждый веселится, как умеет. Только какое уж это веселье, если приходится писать о грустном.

Я иногда думаю: сколько же лет надо прожить чело-веку, чтобы перестать грустить? Чтобы стать по-на-стоящему счастливым. Навсегда. Таким счастливым, чтобы даже в несчастье не быть несчастным?

Счастье и горе — это настолько сложные вещи, что я, в мои семнадцать лет, никак не могу разобраться в них до конца. Если когда-то (сейчас эти дни кажутся мне такими далекими) я была убеждена, что счастье зависит только от себя, то теперь, после всего пережи-того, я в этом уже не так твердо уверена.

И даже сейчас, когда меня никак нельзя назвать несчастной, мне все-таки трудно об этом писать. Именно тогда, в самые счастливые дни моей жизни, именно тогда пришло самое тяжелое: бабушкина болезнь и... смерть.

Конечно, все должны умереть, и старые раньше, чем молодые. Но ведь живут же некоторые люди до ста лет и даже дольше, значит, могла, должна была бы жить и моя бабушка.

Ну почему моей бабушке пришлось так тяжело бо-леть, так много страдать?!

Бабушка, родная, в те долгие, долгие месяцы Твоей болезни я старалась быть очень хорошей девочкой. Но как ужасно трудно быть хорошей. Как часто у меня это не получалось, и как горько я раскаивалась потом.

Не могу забыть, как однажды я должна была при-нести Тебе какое-то новое лекарство. Отнесла рецепт в аптеку, а сама побежала на каток. Собралась взять лекарство на обратном пути, и забыла!

Бабушка, за все время Твоей болезни самым горьким был тот вечер, когда я стояла у Твоей постели, и Ты спросила о лекарстве. Как хорошо, если бы Ты побранила меня, как бывало раньше. Но Ты только вздохнула, так ужасно устало вздохнула и закрыла глаза, словно не хотела их больше никогда открывать!

И хотя я в тот же вечер ходила в аптеку и принесла лекарство, и хотя Ты на следующий день сказала, что это совсем не такое хорошее лекарство и вряд ли оно поможет, все-таки я понимала, что Ты просто хочешь утешить меня. Это значило, что Ты простила меня, но сама себя я не могу простить до сих пор. Как могла я хоть на минуту забыть о Тебе и Твоей беде из-за каких-то пустых девчоночьих развлечений?!

Бабушка, милая, как хорошо, что у нас с Тобой все-таки есть этот вечер вдвоем, там, в нашем старом доме, у печки, когда я сказала Тебе, что никогда, никуда не уйду от Тебя. Как хорошо, что в конце концов мы с Тобой все-таки добрались до нашего королевского замка.

Только почему именно Ты, больше всех достойная Соломонова чертога, была счастлива так недолго? Как много я об этом думаю.

Бабушка, когда я закрываю глаза и думаю о Тебе, мне почему-то всегда представляется одна и та же картина.

Ты держишь в руке старый чайник без крышки и с отбитым носиком, тот, из которого

поливаешь цветы. Ты склонилась над цветами и трогаешь натруженными узловатыми пальцами землю в цветочном горшке. На-верно, так Ты определяешь ее влажность.

Бабушка, Твои цветы росли удивительно пышно и никогда не бывало, чтобы они не зацветали, когда при-ходило их время, даже когда они стояли на подвальном окошке. Помню, когда мама Хелле Тебя об этом рас-спрашивала, в Твоих глазах мелькнула улыбка: «Ни-когда не поливай цветы только водой, а добавляй частицу сердца».

Тогда я по-настоящему не поняла Твоих слов, просто не умела многого замечать, но ведь в этом была поэзия Твоей бедной однообразной жизни. То же, чем для меня в детстве были сказки и песни, спетые другими...

И как хорошо, что у нас с Тобой есть вечера, когда мы вместе читали. Во время Твоей болезни мне часто приходилось читать Тебе вслух. Тебя интересовало все — даже мои учебники. Правда, чаще всего Ты за-сыпала, но иногда задавала мне такие вопросы, что ста-новилось понятно, какое несправедливое время было до нас, если даже Ты не смогла научиться грамоте.

Бывало, я уставала читать или Ты слушать, и тогда Ты тихим, глухим голосом рассказывала мне о себе и о своей далекой юности.

Ведь Ты никогда не хотела жить в городе. Я пони-маю, что случай и нужда привели Тебя в город и удер-живали здесь, пока ты с этим как-то смирилась.

Но тем ярче сияли в Твоих воспоминаниях малень-кие пастушьи радости и девичьи песни, спетые на ка-челях. А какая кудрявая и стройная, должно быть, была та береза, к которой привязывали качели и какая чудесная поляна была за Твоим домом, если даже спустя полвека воспоминание о них вызывало на Твоем усталом больном лице слабую тень улыбки.

И, наверно, о старых деревьях на поляне, о тишине, царившей под ними, о ярко-зеленом мхе, в котором по колено утопала нога, о цветах Твоей далекой юности думала Ты, трогая натруженными пальцами влажную землю в цветочных горшках и добавляя в воду «ча-стицу своего сердца».

Только теперь я по-настоящему поняла величие моей бабушки, величие ее скромной, простой жизни. Вели-чие для меня и ради меня. Ей было совсем не легко преодолеть все одной. В то время, после войны, всем было трудно, а ей, старенькой и одинокой, тем более. Но она не сдавалась и не спешила за помощью даже тогда, когда ей эту помощь предлагали.

Только теперь я поняла и то, почему бабушка так долго не могла примириться с моим отцом, поняла потому, что после ее смерти жизнь кое в чем изменила мои волшебные очки (которые, как оказалось, были все-таки розовыми, когда я смотрела сквозь них на отца). Но об этом после.

Сегодняшний вечер я провела с бабушкой. Эти строчки я написала только ей, внешне суровому, но такому стойкому и справедливому человеку. Единст-венному совсем-моему-родному-человеку на свете! ВОСКРЕСЕНЬЕ...

После смерти бабушки жизнь моя резко изменилась. Сначала мое горе было так велико, что я словно бы и не замечала этих перемен. Или, вернее, замечала, но оставалась к ним безучастной.

Хотелось только тишины и одиночества, чтобы никто со мной не разговаривал и мне не надо было отвечать ни на какие вопросы. Отвечать было так трудно. Кроме того, у меня что-то случилось со слухом. Меня надо было несколько раз окликнуть, прежде чем я это за-мечала.

Так бывало даже в школе. Только здесь мне никогда не удавалось побыть одной, приходилось во всем участвовать.

После смерти бабушки тетя Эльза взяла меня на время к себе. Раньше это было бы для меня неслыханной, огромной радостью. Теперь же, хотя я и была очень благодарна тете Эльзе, когда об этом думала, но думала я об этом очень редко.

У меня все время было такое чувство, словно мне необходимо еще многое сказать бабушке, что мы с ней не успели обсудить все, что надо, а наши разговоры следует крепко-накрепко запомнить, чтобы они ни-когда не изгладились из памяти.

Знаю, чего тетя Эльза, папа, Урмас, Анне и все другие добивались, когда наперебой приглашали меня к себе, приносили хорошие книги и всячески старались развлечь.

У них были самые добрые намерения. Они хотели, чтобы я как можно меньше думала о бабушке, чтобы мне было легче. А я считала, что именно это и страшно. Ведь забыть — значило бы навсегда расстаться с ба-бушкой.

Другие не могли этого понять. Бабушка была для них чужим, старым человеком. А для меня она была моя бабушка, и потому, что кроме меня никому было больше о ней думать, мне становилось еще тяжелее.

Я теперь уже не помню, как долго это продолжалось. Но однажды вечером тетя Эльза заговорила таким голосом, что я невольно насторожилась.

Она начала:

— Кадри, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Я должна была бы сделать это раньше, но как-то не представлялось случая.

Я посмотрела на тетю Эльзу. Она продолжала:

— Скажи мне, Кадри, ты очень любишь своего отца? У меня внутри все похолодело. Неужели и с отцом

что-то случилось? А вдруг и он умер? На мгновение я оцепенела от ужаса. Нет, этого не может быть, ведь я только позавчера видела его.

Наконец, я заметила, что тетя Эльза все еще ждет ответа. Ответа? На какой вопрос? Люблю ли я отца?

А как же иначе?

— Почему вы об этом спрашиваете? Конечно, я люблю своего отца. Больше всех на свете. У меня ведь больше никого не осталось. — Я сжала зубы — только бы не заплакать. И чтобы подбодрить себя, торопливо добавила: — Он меня тоже любит. Ведь у него тоже только я осталась. Он мне сам сказал.

Взгляд тети Эльзы остановился на фотографии, висевшей на стене, за моей спиной. Она смотрела на нее долго и внимательно, словно увидела впервые. У меня на душе становилось все тревожнее. Тетя Эльза продолжала:

— А ты никогда... Ты ведь уже большая девочка, почти взрослый человек, разве ты никогда не задумывалась о том, что он может полюбить кого-то еще. Ведь он совсем не старый человек. И это было бы вполне естественно — не правда ли? Ну, если бы он, скажем, захотел снова жениться...

На какое-то мгновение в моем сердце промелькнуло что-то похожее на радость, я вдруг поверила в совершенно несбыточное, невозможное. Вспомнилась моя давняя мечта — а что, если папа и тетя Эльза... Но, конечно, в жизни не бывает, чтобы сбывались наивные мечты маленькой школьницы. В особенности, если они касаются взрослых. И радость моя сразу исчезла. А тетя Эльза продолжала:

— У тебя будет красивая мачеха. Я ее видела. Она училась в художественном училище. У нее хороший вкус. Тебе будет, чему у нее поучиться. Жизнь твоя станет радостнее, интереснее...

Какая-то мачеха! Пусть она будет какая угодно рас-красавица, пусть она окончила все высшие школы подряд, все же она чужая! Зачем она мне? Разве мы не можем жить с папой вдвоем? Ведь в эти скорбные Дни моим единственным утешением была мысль о том, что У меня есть папа и мы будем теперь заботиться друг о друге. И вдруг эта чужая, которую мой папа тоже очень любит. Может быть, гораздо больше, чем Нет, нет! Из этого ничего не выйдет! И как тетя Эльза ни старалась оправдать в моих глазах отца, все ее доводы отскакивали от меня, как от каменной стены. СУББОТА...

На следующей неделе отец пришел за мной. Я хорошо подготовилась к тому, что меня ожидало, и все же это наступило как-то очень внезапно. Словно я спала, и меня вдруг разбудили. Мне предстояло вернуться до-мой! Но на душе было тревожно, как у бездомной.

Мы шли с отцом по многолюдным улицам. Меня тя-готило молчание между нами и в то же время что-то мешало мне просто и ясно отвечать на вопросы отца.

Он спросил:

— Тетя Эльза говорила с тобой?

Я знала, о чем он думает, о чем мы оба все это время думали и только кивнула в ответ. Отец помолчал и до-бавил:

— Тетя Эльза на редкость хороший человек.

На это я даже не кивнула. Уж я-то, наверное, лучше всех знаю, какой хороший человек тетя Эльза. И если сердце отца само выбрало, кого ему любить, то и мое сердце знает, кого любить мне, и я злилась на отца за то, что его выбор не совпал с моим. Но особенно недоб-рое чувство вызывала во мне та чужая женщина.

Я знала, что застану ее дома. Вместо моей бабушки в доме будет другой человек. Чужой. Та, о ком мой отец до сих пор не соблаговолил мне сказать ни слова, а понадеялся на чуткость и ум тети Эльзы! Что из того, что эта мачеха молода и красива. Тем хуже. Для того, чтобы стать чьей-то мачехой, совсем не надо быть красавицей. Я не испытывала ни малейшего любопыт-ства. Я была обижена и возмущена настолько, что, войдя в дом, наотрез отказалась воспользоваться лиф-том. Мне совершенно незачем так уж торопиться в этот «свой» дом! Я попросила отца подняться пешком.

На последнем пролете, как раз там, где когда-то оста-новилась, задыхаясь, бабушка, чтобы передохнуть и поворчать на меня (ах, если бы можно было вернуть т о время), отец тоже остановился, взял мои руки и, очень серьезно глядя в глаза, сказал:

— Кадри, ты же все понимаешь?

Понимаю? Что? То, что мой отец все предал? Я вос-принимала это именно так.и ничего не могла с собой поделаться. И в то же время я видела по его лицу, как много для него значит мое отношение ко всему этому.

Он явно ждал от меня лучшего, большего понимания, та ту минуту мне даже показалось, что он ищет у меня поддержки.

Толстый лед, сковывавший мое сердце, начал таять. И все-таки оставалась еще маленькая, но холодная и твердая льдинка.

Я спросила:

— Она дома?

— Пока еще, наверно, нет. Но скоро придет. А теперь входи, — ответил отец.

И мы вошли.

Куда? В тот самый дом, где мы с бабушкой были когда-то так счастливы. В тот самый дом, где я так горевала и плакала над телом моей бабушки, а ее лицо светилось такой величественной красотой и неземным покоем, словно перед ней до конца раскрылись «копи царя Соломона» — но этого дома больше не было.

Был опять новый дом. Модный, нарядный и краси-вый! Совсем такой, как на выставке или на картинке в журнале. С домом произошло чудо, словно здесь про-лился золотой дождь и все засверкало совсем по-иному, но я сразу почувствовала, что этот блеск не похож на сияние моего дома, на сияние моего счастья. Я была здесь только пришельцем, почти гостем.

Бедный, самодельный, залатанный и заштопанный наш с бабушкой дом должен был отступить перед этим, новым. Я огляделась — куда же? Он отступил в переднюю, в бабушкин старый сундук с приданым. Это была единственная вещь из нашего дома, которую я здесь заметила.

Не знаю, какое у меня было лицо, когда я осматри-вала квартиру. Только отец спросил смущенно:

— Разве тебе не нравится новая обстановка?

— Почему не нравится, — ответила я резко, — только где же... где же бабушкины цветы?

— Да, с ними, действительно, получилось нехорошо. Во время похорон и после них комната пустовала. А потом тоже некому было их поливать. Почти все цветы засохли, — сказал отец, словно извиняясь.

Мне хотелось спросить: «Почти все. А где же те, что не засохли?» К счастью, я вовремя вспомнила, что сама во всем виновата. Кто же, как не я, должен был после бабушкиной смерти позаботиться о ее цветах?

А ведь я о них даже не вспомнила. Только и делала, что нянчилась с собой.

— Если тебе так хочется иметь цветы, то мы можем раздобыть новые, — сказал отец. В эту минуту я почув-ствовала: сам он в этом чужом доме все-таки остался прежним.

— Нет, нет! Не надо. Если умерла бабушка, пусть умрут и ее цветы, — и на глаза у меня опять наверну-лись слезы.

Отец обнял меня за плечи и погладил по голове. Я почувствовала, как последние морозные иглы тают в моем сердце. Но именно в эту минуту громко и весело, несколько раз подряд прозвенел звонок. Я вздргнула, и мне показалось, что моя дрожь передалась отцу. Я бы-стро смахнула слезы, села и напряженно уставилась на дверь, за которой скрылся мой отец, чтобы вернуться с мачехой.

Из прихожей доносились приглушенные голоса и смех. Я ждала и волновалась. Казалось, они и не соби-раются входить.

И вот, наконец, это произошло. На пороге, поправляя прическу, появилась красивая, стройная женщина, почти одного роста со мной. Как ослепительно и сияюще она улыбалась. Я прежде всего увидела ее зубы.

Я встала.

— Кадри, это Гина. Теперь она будет тебе вместо матери, — даже голос отца показался мне сейчас чужим. А та, кто должна была стать теперь моей матерью, подошла ко мне, на мгновение прижала меня к себе, обдала сладким запахом духов, что-то влажное косну-лось моего лба и я снова оказалась на стуле, куда она меня ловко усадила.

Она стала говорить быстро-быстро и так легко, что это напомнило мне щебетанье маленьких птичек на телефонных проводах.

— Какая большая и хорошенькая девочка! Можно только гордиться, когда у тебя вдруг появляется такая взрослая дочь. Не бойся. Я не буду злой мачехой. Злые мачехи бывают только в сказках. Ведь и в возрасте у нас не такая уж большая разница. Мы еще можем стать хорошими подругами. Если хочешь, зови меня просто

Все это были правильные и красивые слова. Такие же красивые, как она сама, и слова эти сопровождалась сияющей, мягкой, как масло, улыбкой. За то, что она разрешила называть себя просто Гиной, я была ей даже благодарна. И как раз в эту минуту — никто, наверно, не поверил бы, если бы я рассказала об этом — судорога свела мне рот. Честное слово, судорога.

Я хотела ответить. Хотела ответить хотя бы на улыбку, просто из вежливости. Хотя бы ради отца, но вдруг почувствовала, как мой рот начал судорожно кри-виться. С испугом я вспомнила случай в больнице, когда у одной больной свело половину лица.

Пока я старалась совладать со своим лицом, в ком-нате царило молчание. Кому же было говорить, если настала моя очередь, а я ее пропустила. Наконец, ма-чеха заговорила сама:

— Юло уже показал новое платье, которое я для тебя сшила? — Я все еще не могла справиться с моим ртом и горлом, и только посмотрела на отца — этого самого Юло.

Отец извинился: — Нет, еще не успел. Мы ведь только что пришли. Ты покажи сама, — и, обращая ко мне, добавил: — Я уверен, ты будешь довольна. Гина просидела над ним вчера до поздней ночи. Хотела непременно дошить к твоему приходу. Иди, принеси его из шкафа.

— И сразу надень, — посоветовала мачеха, — может, придется что-нибудь переделать. Я его шила почти на глаз, по твоему старому школьному платью.

Хорошо, что можно было двигаться. Стенной шкаф оказался на прежнем месте. Новое платье висело в нем первым. Оно было совсем как из кино. Какой-то воздушный туман вечернего неба. С бархатистыми бутон-чиками. Все это реяло над хрустящим чехлом из тафты. У меня дрожали руки, когда его натягивала. В талии что-то затрещало, но, к счастью, не порвалось, и когда я вышла и остановилась посреди комнаты, мачеха воскликнула: — Великолепно! Я не думала, что получится так удачно! Как влитое! Великолепно!

Я подошла к зеркалу. Из него смотрела на меня побледневшая девушка, с тонкой осиной талией, в не-вероятно нарядном платье и с глазами, готовыми одно-временно засмеяться и заплакать.

Я покружилась перед зеркалом. Вот оно, платье моих далеких детских снов! Но что-то мешало мне радо-ваться.

Я еще и еще раз повернулась перед зеркалом и не-ожиданно поймала себя на мысли: наверно, мне следует поцеловать ее за это? Эта мысль показалась мне такой пугающей и нелепой, что я только смогла еще раз с шуршанием покрутиться перед зеркалом, слезы, каза-лось, были готовы одержать верх. Наверное, я продол-жала бы вертеться перед зеркалом как волчок, если бы мачеха не спросила:

— Ну, нравится?

— Красиво, — ответила я, — только что с ним де-лать? — Тут я увидела в зеркале папино лицо и поняла, что он совсем не доволен мной. Но мачеха и бровью не повела и торопливо пояснила:

— Понятно, что ты не знаешь. Видишь ли, это вечер-нее платье для молодой девушки, такой, как ты. Дело в том, что мы с твоим отцом решили в субботу устроить небольшой семейный вечер. Пригласили избранных го-стей. Для большого количества гостей здесь слишком тесно. Некоторые вещи нам так и так придется вынести. Это мы устроим. Я уже придумала, как все это будет. Во всяком случае, место для танцев мы освободим. Не правда ли, тебе ведь хочется потанцевать? Хватит хму-риться. Смех красит любую женщину.

Веселиться и танцевать?! В комнате, где совсем не-давно страдала и умирала моя бабушка! Я не пони-мала, почему они не могли оставить меня пожить у тети Эльзы.

— Ты ведь любишь танцевать? — допытывалась ма-чеха. Она стояла теперь рядом со мной перед зерка-лом. — Ах, да что тут спрашивать. Все девушки любят танцевать. Я ведь тоже была девушкой, и совсем не так давно.

Тут она быстро, через плечо, взглянула на моего отца.

Когда мы вот так, вдвоем, стояли перед зеркалом, она такая сияющая, почему-то очень счастливая, гото-вая танцевать и смеяться, а я бледная, равнодушная и хмурая, то, по правде говоря, она была больше похожа на юную девушку, чем я. Так я ей и сказала:

— Но вы и сейчас, как девушка.

Она звонко рассмеялась, словно мои слова доставили ей большое удовольствие, и закружила меня по ком-нате. Мне пришлось прибегнуть к маленькой лжи, ска-зав, что пострадавшая во время автомобильной аварии нога все еще дает себя знать. Она тотчас оставила меня и, смеясь, прыгнула к отцу на колени. Так началась наша новая, совместная жизнь. ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Пожалуй, я была бы даже рада, если бы смогла в чем-то упрекнуть мою мачеху. Тогда я не чувствовала бы себя таким неблагодарным и несправедливым щенком. Но мне было решительно не в чем ее упрекнуть.

Везде и во всем она желала мне только добра. И при этом удивительно точно знала, что именно для меня хорошо. Во всяком случае, она была уверена, что знает это гораздо лучше, чем отец. Они то и дело спорили об этом. Отец, например, считал, что мне совсем не обя-зательно выходить к гостям, которые бывали у нас дома довольно часто. Тем более, что мне они не достав-ляли никакого удовольствия. Но мачеха утверждала обратное. Во-первых, я сама не знаю, чего хочу. Во-вторых, смена обстановки мне совершенно необходи-ма, потому что до сих пор я жила в особых усло-виях.

Ох, уж эти «особые условия»! Как назойливо часто о них велись разговоры, и как я их

возненавидела. Да, именно возненавидела. Я не стану искать более мягких слов для определения чувства, охватывавшего меня всякий раз, когда мачеха Гина начинала словно бы из-виняться за меня перед своими гостями или даже перед отцом: мол, такой уж я человек, и виной тому особые условия, в которых я выросла. А я все больше замыкалась в себе.

Труднее всего было в тех случаях, когда я, получив от нее подарок, не выражала бурного восторга и тут же не бросалась к ней на шею. А на первых порах я полу-чала подарки очень часто. Но я ни разу не сумела по-благодарить ее так, как следовало и было бы естественно.

Таким образом, сложилось совершенно ненормальное положение: я стала бояться мачехиных подарков. Чем красивее и дороже они были, тем больше.

Кстати, моя мачеха никогда, никого и ничего не осуждала. Просто рассказывала, как всегда легко и быстро, как было бы лучше и правильнее поступить в том или ином случае и как бы она сама хорошо разобралась в той или иной обстановке. Иногда создавалось впечатление, что она раскрыла какую-то большую всемирную ошибку, а секрет ее исправления держит про себя. Не-редко в таком тоне она обсуждала даже шаги правительства. И если я пыталась ей возражать, она делала испуганное лицо и говорила с наигранной уступчивостью: «Разве я сказала что-то неправильно? Ну, конечно же, ты, как комсомолка, разбираешься в этих делах лучше. Где уж нам с папой все это понимать». Последнюю фразу она обязательно добавляла, даже если папа и не присутствовал при нашем разговоре.

Ко мне мачеха не придиралась. Она меня только хвалила. Хвалила даже за такие ничтожные, а иногда просто неуместные поступки, что волей-неволей появлялось чувство, будто со мной не все в порядке. Она хвалила меня даже за тройки, которые я опять стала получать. А ведь если человека хвалят за тройки, значит, считают, что при его способностях естественно было бы получать двойки.

И воспоминание о бабушкином ворчании и скупых похвалах становилось для меня с каждым днем все дороже. Моя мачеха никогда не ворчала. Для этого она была слишком веселым человеком.

Единственное, чем мачеха привлекала, была работа. Сама она была очень деятельна. Постоянно чем-нибудь занималась. Часто несколькими делами сразу. В те времена я постигла особое искусство: заканчивать дела, которые я не начинала. Кстати, платья нам обеим мачеха шила сама. Она делала это замечательно. Потому, наверно, ее подруги, и подруги ее подруг так надоедали ей своими нарядами. Отцу это вовсе не нравилось. Но мачеха только смеялась и утверждала:

— Лишняя копейка всегда пригодится, в особенности, если в доме две взрослые женщины, которые хотят быть элегантными.

Я все-таки не настолько глупа, чтобы не понять этого намека. Поэтому я изо всех сил старалась не выражать недовольство, когда мачеха без конца обращалась ко мне:

— Кадри, извини, что я тебе мешаю, но не будешь ли ты так добра и не отнесешь ли, не сделаешь ли, не по-дашь ли, не положишь ли, не принесешь ли, не сбе-гаешь ли и т. д. и т. д. и т. д...

Нередко сотни таких крошечных, незначительных и сверхвежливых просьб настолько вплотную следовали одна за другой, что мне приходилось самой выбирать самую важную из них. а остальные выполнять в по-рядке их неотложности. Я не могла рисковать невыполнением какого-нибудь из ее поручений потому, что у мачехи была исключительная память и тогда мне пришлось бы смотреть в ее большие удивленные глаза и выслушивать такие замечания: «Я считала нормальным, что ты сама понимаешь, насколько...» или

что-нибудь в этом роде. Я старалась по возможности уга-дать, что именно моя мачеха считает совершенно нор-мальным, и иногда мне это даже удавалось.

Однако как бы я ни торопилась, времени у меня все равно не хватало, особенно на школьные дела.

Бывало, например, только прибегу из булочной, а меня уже посылают за уксусом или мне приходится быть такой любезной и забегать к одной из ее приятель-ниц сообщить о примерке, и я чувствовала себя, как китайские воробьи, которых заставляли все время ле-тать и не давали ни секунды отдохнуть, пока они, измученные усталостью, замертво не падали на землю. Такого намерения у моей мачехи по отношению ко мне, конечно, не было. Совсем наоборот. Она просто хотела пробудить меня к жизни, чтобы, как она посто-янно уверяла отца, я не была таким «засушенным в книге цветком, из которого выжаты все соки».

Вот мне и вводили эти когда-то выжатые соки, при-чем так усердно, что в результате получилось что-то похожее на отравление.

Если случалось, что мачеха бывала недовольна мною, она никогда не говорила этого мне, а только отцу и обычно тихо и по секрету, так что я узнавала об этом всегда задним числом, из папиных слов.

Но однажды я случайно услышала их разговор, сыг-равший в моей дальнейшей жизни решающую роль. ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Однажды ночью меня разбудил взволнованный ше-пот мачехи. «С ней это совершенно невозможно. Она такая скрытная и угрюмая девочка и к тому же очень упрямая. Она просто терпеть меня не может — ив этом все дело».

Даже спросонья я сразу поняла, кто это скрытное и угрюмое существо.

— Гина, ну что ты фантазируешь! Как ты можешь такое говорить. Наоборот, у нее очень верное, любящее сердце. Я же тебе рассказывал, как самоотверженно и трогательно она ухаживала за бабушкой. Не всякий взрослый справился бы с этим, а ведь она почти ребе-нок. Будь немного снисходительнее и постарайся ее понять. Смерть бабушки потрясла ее. А теперь эта но-вая совершенно необычная для нее обстановка. Набе-рись терпения. Дай ей освоиться. Вот увидишь, скоро она станет прежней, и вы прекрасно поладите.

Так говорил обо мне папа. Но на мачеху его слова подействовали не так, как на меня, и я услышала ее торопливый, еще более раздраженный шепот:

— Знаю, знаю! Все та же старая песня. Наберись терпенья. Дай время. Уж я ли не была терпелива, я ли не давала времени? Разве я не все сделала, чтобы по-мочь ей преодолеть все это? Но она просто не хочет. Это злость, упрямство, месть, поверь мне. Разве я не одела ее, как куклу? Что, по-твоему, еще нужно де-вушке? А она? Подаришь ей новое платье, она наденет его с таким видом, словно я сшила ей посконную ру-баху и среди зимы послала в лес за земляничкой. Ну скажи, в чем моя вина?

— Гина, Гиночка, кто же тебя в чем-нибудь обви-няет, — как ребенка, уговаривал ее отец.

— Не хватает еще, чтобы ты стал меня обвинять, — шепот мачехи становился все громче и громче. Я слы-шала, как отец попросил ее говорить тише. Голоса смолкли, а затем опять послышался шепот, но на-столько тихий, что я могла расслышать только свое имя.

И вдруг мачеха заговорила громче:

— И для нее это самое лучшее.

— Но ведь у нее здесь друзья, одноклассники. Я по себе знаю, как трудно привыкать к новым людям, — возразил отец.

Меня словно обдало жаром. Сердце сжалось в пред-чувствии беды.

— Какое это имеет значение? Друзья? А там у нее их не будет? Как я поняла из ее разговоров, несколько лет назад она их сменила, и очень успешно. В молодости человек привыкает к новой обстановке гораздо быстрее, чем старые люди, а иногда такая перемена идет только на пользу. И я убеждена, что ей особенно. Сейчас, по-моему, это самый лучший выход, поверь мне. У тебя явно превратное представление о школе-интернате. А я о ней слышала немало отзывов, и только хороших.

— Пойми же, я не имею ничего против школ-интернатов вообще, но это не для Кадри. Как ты не пони-маешь таких простых вещей. Ты сама только что ут-верждала, что она не может привыкнуть к тебе и тут же настаиваешь на том, что в школе она сможет быстро освоиться. Ей нужна материнская забота и ласка, то, чего ей не хватает в жизни.

Мачеха не дала отцу договорить:

— Не смей меня. Что за диво эта твоя Кадри. В конце концов, ведь это не какой-то там детдом. На каникулы, естественно, она сможет приезжать домой. Тогда, может быть, научится ценить дом. И откуда у тебя в этом вопросе такая близорукость! Я этого от тебя просто не ожидала. А я? Разве я желаю ей зла? Можешь ли ты меня упрекнуть в том, что я когда-нибудь, хоть в чем-нибудь пожелала ей зла? Знаешь, что я тебе скажу; если бы мне самой пришлось снова пойти в школу, я обязательно выбрала бы школу-интернат. В наше время это единственно разумная возможность привыкнуть заниматься...

На этот раз отец не дал мачехе договорить:

— Оставим этот спор. Он ни к чему не приведет. Разве что к ссоре. Оставим школу-интернат в покое. Несомненно, это единственно правильный тип школы будущего, но в данном случае дело совсем не в этом. Все было сделано так, как ты хотела. Моим единствен-ным условием была Кадри. Помнишь, тогда мы обо всем договорились. Ты была согласна. Почему ты теперь изменила свое отношение?

— Теперь, теперь! — в голосе мачехи появились плаксивые нотки, — теперь обстоятельства измени-лись, а такую строптивую девчонку я не могла себе даже представить. Ты видишь только ее ранимую душу — а я что, не человек? Мое сердце может выдер-жать такую обстановку? Ты считаешь, что у меня нет нервов, не так ли? Другие мужчины в такое время оберегают своих жен, а ты вместо этого нянчишься и носишься со взрослой девицей, как с ребенком.

— А когда в доме появится малыш? Как ты себе это представляешь? Хорошо, я уж не говорю о том, что здесь будет очень тесно. Я говорю о том, что у твоей доченьки разовьется новый комплекс. Сейчас она рев-нует ко мне, а тогда будет тем более ревновать к на-шему малышу. Я предвижу это совершенно ясно. Надо смотреть на вещи прямо и надо думать о будущем.

У меня бешено колотилось сердце, и в памяти мельк-нули слова бабушки:

— Кто подслушивает, у того колет сердце.

Ой, как колет! Так больно, что хочется стонать. Не могла я, что ли и этой ночью спать как убитая, ведь это и предполагали отец и мачеха. А тут вдруг меня раз-будил шепот. Этого только недоставало! Лучше бы я ничего этого не узнала! Я заставляла себя лежать тихо и даже дышать, как во сне. Хотя от всей души хотела только одного — вскочить и. совсем убежать отсюда. Только прочь! Подальше!

А почему? Потому, что меня хотели прогнать по-дальше отсюда, а я совсем не хотела этого. Не хотела потерять и ту крошечную частицу дома, которая до сих пор у меня все-таки была. Этого я боялась больше всего, и теперь это пришло. Ужаснее всего, что я начинала понимать: мачеха тоже была во многом права.

Я в самом деле гадкая, неблагодарная девчонка и, может быть, у меня и правда есть какие-то «комп-лексы», или как там мачеха говорила.

Но ведь и у гадких, неблагодарных девчонок есть слезы, и на следующий вечер, когда мачехи и отца не было дома, я лила их на крышку старинного бабушкиного сундука так отчаянно, что мой маленький сказочный гномик, старый добрый домовой, который жил еще в бабушкины дни, окончательно утонул в этих слезах.

Чем же еще объяснить, что с тех пор мне никак не удавалось заслужить похвалу мачехи. Именно теперь, когда я этого действительно добивалась, мачеха стала хмуриться. Казалось, тем больше, чем сильнее я старалась ей угодить. Безусловно, со своей точки зрения она была права, раз она видела меня такой, как говорила отцу, но она хмурилась не только при мне, но и с отцом.

Понемногу я начала понимать, что и отцу нелегко.

Я жалела его. Но это не делало меня ни расторопнее, ни лучше.

Однажды, когда мы были с мачехой вдвоем, у нас случайно зашел разговор об Урмаса. Я рассказала, сколько у Урмаса сестер и братьев, и как они все друг о друге заботятся и как чудесно, когда такая дружная семья. Мне вдруг захотелось быть с мачехой откровенной и поговорить с ней о том, что больше всего щемило сердце. Начала, заикаясь:

— Я... я тоже очень хотела бы иметь маленькую сестренку или брата...

Моя смелость исчезла под взглядом мачехи. Она спросила:

— Значит, ты уже поняла это?

Я до сих пор не совсем понимаю, что она при этом подразумевала. Но мне вспомнился подслушанный той ночью разговор, я почувствовала уколы в сердце и покраснела.

Мачеха продолжала:

— Ты, оказывается, хитрее, чем я думала, — на этот раз ее голос совсем не напоминал щебетания маленьких птиц на телефонных проводах.

И вдруг я поняла, что проиграла. Да, иначе я не умею этого назвать. Словно я все время боролась и вот теперь окончательно проиграла.

Проиграла именно тогда, когда мне так хотелось уступить. ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Вот я и стала ученицей школы-интерната. Конечно, на самом деле все было гораздо труднее, чем я пишу.

О, с моим отъездом было достаточно забот. Все были против. Прежде всего, отец и сначала Анне тоже, и, наконец, Урмас! В глубине души больше всего против была я сама, но никому об этом не говорила.

Однажды, возвратясь из кино, я принялась расхваливать фильм, в котором говорилось о школе-интернате, и заявила, что мне тоже хотелось бы учиться в такой школе. Начав этот разговор, я уже не могла отступить. Каждый день я возвращалась к этой теме. Я настолько

вошла в эту подсказанную отчаянием роль, что порой начинала верить, будто школа-интернат единственное место, где я хотела бы учиться и жить. Но разыгрывать эту комедию я отваживалась только дома. В школе я скрывала все до последней минуты.

Единственным человеком, с самого начала согласившимся со мной, была мачеха. Хотя никогда, во всяком случае при мне, она ни одним словом меня не поддержала. Можно было подумать, что этот ночной разговор между нею и отцом я придумала сама. Тем более, что по отношению ко мне она стала снова почти по-прежнему приветливой.

Все решилось благодаря тому, что тетя Эльза сразу поняла меня. Я почти уверена, что тетя Эльза — самый чуткий человек на свете. Она поняла, пожалуй, даже то, о чем я так и не сказала.

Под влиянием тети Эльзы в конце концов уступил и отец.

Когда я увидела, как радостно стало после этого у нас дома, как мачеха вновь стала выбегать в переднюю встречать возвращавшегося с работы отца, я тоже обрадовалась и почти забыла, что самой мне скоро придется покинуть этот счастливый дом.

Но самое плохое было впереди. Я ведь была не только дочерью своего отца и падчерицей мачехи. Я была еще и школьницей, и другом Урмаса и Анне. Анне довольно быстро поняла меня, когда я откровенно все ей рассказала, и мы решили, что будем переписываться и дружить по-прежнему.

Но остальным одноклассникам, в особенности же Урмасу, я почему-то не решалась ничего сказать. День ото дня откладывала разговор. Пока, наконец, не настала самая последняя минута.

Мы были на острове Сааремаа. Вокруг небо, море и каменистый берег, поросший можжевельником. Мы сидели вокруг потрескивающего костра и пели. Мысль о разлуке причиняла мне острую боль и я не заметила, как глаза наполнились слезами. Вдруг Имби воскликнула:

— Кадри, что с тобой? Почему ты плачешь? И тогда я рассказала, что меня угнетает. О, какой тут поднялся шум! Хорошо еще, что учительница уже знала об этом. Она пришла мне на помощь. А потом наши песни стали тихими и грустными.

Когда мы потушили в костре последние угольки и стали расходиться, ко мне подошел Урмас и, тихонько потянув меня за рукав, позвал:

— Кадри, пойдём, погуляем немножко!

Я молча пошла за ним. Никто не остановил нас и не вызвался пойти с нами. Мы подошли к самому морю. Море затихло настолько, что это можно было слышать и видеть. Тишина охватила все вокруг. Казалось, она проникла и в мое сердце. Вечернее небо погасило краски, луна вставала над теплыми, мягкими сумерками.

Мы с Урмасом молчали. Перепрыгивали с камня на камень как два единственных живых существа на краю земли. На последнем большом камне я остановилась. Лицом к лицу со своей давней мечтой. Теперь она снова вернулась ко мне. Трудно описать, что это такое. В детстве я называла это беспомощным словом — ле-бедь мечты. Казалось, он, радостно трепеща, снова раскрывает в моем сердце крылья, гордые и могучие крылья. Те, что в долгом, мучительном сне когда-то сжались и поникли. Светлое чувство охватило меня. На мгновение я забыла об Урмase, стоявшем за моей спиной. Но он напомнил о себе прерывистым вздохом. Урмас! Я хотела как-то передать ему то, что чувствовала. Очень хотела поговорить о том далеком дне в начале нашей дружбы, когда мы провожали глазами

стаю улетающих лебедей, но... не знала, как начать. Хотела поблагодарить его за дружбу, высказать все, что передумала о нем. Мне вспомнилось, что Урмас понравился даже моей бабушке. Больная, лежа в постели, она не раз заговаривала о нем и спрашивала, как поживает Урмас.

Однажды бабушка сказала:

— У тебя, Кадри, законы сердца превыше всего. В этом ты пошла в свою покойную мать. Таким людям трудно на свете. Как ты будешь жить? За кого когда-нибудь замуж выйдешь? Мои глаза этого уже не уви-дят. А как бы я хотела, чтобы рядом с тобой был на-стоящий человек. Такой, как этот Урмас. Нечего отне-киваться! Ты уже не маленькая. А я-то знаю людей и жизнь. Вот из таких мальчишек, что умеют разделить материнские беды и осмеливаются вступить за сла-бого, вот из них-то и вырастают настоящие люди....

Тогда бабушкины слова заставили меня покраснеть от досады и в то же время рассмешили. Ведь я же не знала, что уже через неделю бабушки не станет. А она продолжала:

— Так оно и бывает. Смолоду один смех да веселье. Со смехом гонитесь за большим счастьем, смеясь, выхо-дите замуж, а жизнь — дело серьезное...

Там, на морском камне, вдвоем с Урмасом я думала о бабушкиных словах. Море делало эти слова значи-тельными, а лунный свет — прекрасными. Именно те-перь, именно здесь, мне хотелось что-то из них передать Урмасу. Хотелось сказать ему на прощанье что-то ти-хое, что сохранилось бы навсегда. Но Урмас опередил меня:

— Кадри!

Это было неожиданно резко. Я повернулась к лунному свету и к Урмасу. Пусть он сам скажет эти слова мне на прощанье, как напутствие. Я ждала. Даже дыханье затаила.

— Кадри, почему ты солгала?

Та-ак?! Я шлепнулась на камень, так что нога со-скользнула по колено в воду.

— Что такое? Урмас, в чем дело?

Вылила из тенниски воду и, открыв рот, снизу вверх смотрела в очень сердитое, почти злое лицо Урмаса. Вот тебе и «законы сердца» и «лебедь мечты»!

— Ну, конечно же, солгала. Ясно! Все время притво-рялась. Кадри, сама-то ты понимаешь, что ты де-лаешь? Выходит, тебе на все наплевать. Одни какие-то капризы. Надоест на одном месте, мчишься в другое. Для тебя, выходит, пустяки — уехать отсюда? Инте-ресно ведь, заманчиво. Разнообразие в однообразной, серой жизни, не так ли?

Ага-а! Так вот в чем дело. Волей-неволей пришлось рассказать Урмасу о том ночном шепоте и еще о мно-гом другом. Но теперь я и сама увидела все это в но-вом свете. Вся эта история мне больше не представля-лась такой оскорбительной и несправедливой. Не знаю, кто мне помог — море, лунный свет или Урмас? Ведь с Урмасом даже алгебра кажется легче.

А Урмас слушал меня и бросал в воду камушки. Нельзя сказать, что выражение его лица заметно смяг-чилось. Когда я кончила свой рассказ, он все еще бро-сал камушки.

— Знаешь, что я тебе скажу! Читай поменьше ска-зок и не воображай всякой ерунды. Тоже мне, забитая Золушка! А рта раскрыть не умеешь. Все молчишь и уступаешь. Так тобой всегда будут помыкать, неужели ты этого не понимаешь? На твоём месте я прежде всего постарался бы все выяснить, а не стал бы разыгрывать из себя великомученика. Если ты с чем-то не согласна, тогда заяви, что не согласна. А если ты действительно находишь, что

твоя мачеха права и если так уж хочешь уступить, то надо было это сделать сразу. Пока она еще старалась быть с тобой доброй. Знаешь, что я сей-час подумал: пожалуй, мачеха должна была с самого начала задать тебе хорошую трепку, и не было бы ни-каких фокусов.

Бум-бум-трах! Бум-бум-трах! Как тяжелый пуле-мет. А я-то, дурочка, ждала красивых прощальных слов.

И совершенно неожиданно получилось, что Урмас просто отчитал меня. Так основательно отчитал, как после бабушки никто никогда не отчитывал. Но чем резче Урмас меня обвинял и бранил, тем яснее мне становилось, что за всем этим только одно — боль от предстоящей разлуки со мной — и тем веселее мне становилось. Если бы Урмас был, например, Анне, то я от радости просто бросилась бы ему на шею и сразу ска-зала бы: Ты прав! Тысячу раз прав, распекая меня. Я понимаю только одно — я нужна тебе, а ты мне в миллион раз нужнее.

И тут вдруг выплыло самое плохое в обвинениях Урмаса: зачем я все это от него скрывала? Теперь в го-лосе Урмаса не было ни раздражения, ни ожесточения. Только сейчас я поняла, что я наделала.

Нет, Урмас, не думай так! Это не было недоверием. Считай, что это была трусость, потому что так оно и есть! Я очень боялась минуты, которая теперь насту-пила — неужели ты не понимаешь, Урмас? Ты должен меня понять. Все остальное неважно.

Да, Урмас, я знала, что ты уже на этой неделе уедешь с отцом на летние каникулы работать в деревню. Се-годня мы расстанемся. Урмас, друг мой, разве было бы легче, если бы ты знал об этом раньше? Ведь ты не думаешь, что я умышленно могу причинить тебе боль?

О, если бы я умела обо всем рассказать тебе! О том, что я за это время пережила и что чувствую сейчас. Если бы я умела и если бы посмела!

Но я сказала только:

— Урмас, ты помнишь тех лебедей?

Наверно, Урмас понял мои мысли, потому что его лицо мгновенно изменилось. Он улыбнулся. Такой лас-ковой улыбкой, которая была в эту минуту лучше, чем любое прощальное слово.

Потом он сказал тихо, так тихо, что я скорее увидела, чем услышала это:

— Кадри!

Как красиво прозвучало мое имя! Насколько же по-разному можно произнести одно и то же имя! Я протя-нула ему руку в знак примирения. У него была теплая рука. Я удивительно ясно почувствовала, как эта теп-лота передавалась мне от кончиков пальцев по руке прямо в сердце.

Издаലെка вдруг донесся голос учительницы. Она звала нас. Рука Урмаса крепче сжала мои пальцы.

— Кадри, ты будешь мне писать? Дай слово! Даже стало больно пальцам.

— Каждый день.

Мы стояли друг против друга, между нами был только лунный свет. Глаза Урмаса улыбались. Теперь это были глаза взрослого, умного человека и, казалось, он смот-рит в мою душу и все видит. Даже то, о существовании чего, быть может, я и сама не знала.

И вдруг я почувствовала, что во всем огромном мире, из трех миллиардов людей только один Урмас знает, какая я, один он смеет это знать, только от него я и не хочу ничего скрывать и что это и есть самая великая тайна двух людей.

Урмас покачал головой:

— Не каждый день, Кадри. Это не под силу ни одному человеку. Но обещаю, что будешь писать каждую неделю. Четыре-пять писем в месяц — ведь это не слишком много, как ты думаешь?

Урмас положил другую руку на мои руки. Я за-смеялась. Пусть он не думает, что один знает, какая я, а у меня о нем только слабое представление.

— Да, да, да! — на каждое «да» я изо всех сил сжи-мала его руку. — Каждую неделю буду писать по одному письму, можешь мне поверить. Даже если ты за весь год ответишь мне только один раз.

— Не бойся, — засмеялся Урмас в ответ, — ведь это не сочинение «мое любимое занятие». Тебе я уж как-нибудь буду писать по письму в неделю. Хотя бы для того, чтобы получать ответы.

Учительница подошла ближе. Я хотела выпустить руку Урмаса и идти. Но Урмас не выпустил моей руки. Так мы и перепрыгивали с камня на камень, пока не добрались до учительницы, ожидавшей нас на раз-вилке, среди можжевельников.

Учительница положила одну руку на мое плечо, дру-гую на плечо Урмаса, и мы молча зашагали среди ус-нувшей природы навстречу разлуке... На пороге ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Со старой школой, где были пережиты и радости и огорчения, я до сих пор не могу расстаться оконча-тельно. Несмотря на то, что в новой школе я проучи-лась почти целую четверть. Не стану утверждать, что здесь, в школе-интернате, мне так уж плохо. Нет, не плохо! Совсем нет. Одна только неодолимая беда — я просто не хочу здесь быть. Хочу назад. И в этом все дело.

Единственное утешение — переписка. Когда я не сразу получаю ответ от Урмаса, то, бывает, пишу ему по три письма подряд. Вообще же только письма — из дому, от тети Эльзы, от Имби и Анне и даже одно письмо от моей бывшей классной руководительницы скрашивают мое одиночество. И еще эти воскресные ве-чера, когда я здесь одна пишу свой дневник, как, на-пример, сейчас. Теперь, пожалуй, я уже написала о самых главных событиях, происшедших в моей жизни до поступления в школу-интернат. Только о школе-интернате я пока еще ничего не писала.

Написать есть о чем, но все это время я была на-столько полна воспоминаниями, что первые впечатле-ния уже несколько изгладились. Может быть, это даже и лучше. Я так медленно привыкаю к новому, что под-час кажется — вообще никогда не привыкну. Ведь не привыкла же я к мачехе.

Здесь все совершенно иначе, чем было в моей преж-ней жизни. Начиная с комнаты с восемью кроватями, где я сплю, и со стола на восемь человек, где я обедаю, и кончая тоской по дому, которая не оставляет меня Даже во сне.

Хорошо еще, что есть школа и учеба. А она, навер-ное, одинакова во всем мире. Надо по мере сил исполь-зовать свои способности, и я стараюсь это делать. Учусь, учусь, учусь!

Школа огромная и высокая, а у главного входа пыш-ная колоннада. Что-то холодноватое в этом доме. Если поразмыслить, то виной тому допотопное центральное отопление, которое

то и дело выходит из строя. Но кроме того, по-моему, здесь гуляет какой-то внутренний сквозняк, которому я не могу найти настоящего объяснения.

Делаю, что могу. Может быть, это от скуки? Не должно бы, потому что сидеть сложа руки у нас не остается времени. Ведь мы, если можно так сказать, на самообслуживании. Даже свое белье стираем сами, не говоря об уборке комнат и прочих вещах. Мне это не так трудно, как некоторым ребятам, потому что у мачехи я привыкла работать. Но ничего привлекательного я в этих делах не нахожу. Сердцем я по-прежнему в той, старой школе, сижу за своей партией напротив учительского стола, рядом с Урмасом.

Не знаю, в чем тут дело, только мои теперешние одноклассники — словно бы незадачливые сводные братья и сестры Буратино. С точки зрения материала, как будто из дерева сделаны — и нет в них живой души. Не представляю, что бы случилось, если бы кто-нибудь внес такое немислимое предложение — спеть что-нибудь всем вместе, причем не на уроке пения. Спеть просто для собственного удовольствия. Так, как мы пели в старой школе. Вначале я как-то попробовала заикнуться об этом старосте. А она после этого стала на меня коситься.

В нашем десятом классе все страшно самоуверенны и высокомерны. Можно сказать — вылитые Онегины в карманном издании. Я для начала учусь премудрому молчанию и потихоньку упражняюсь перед зеркалом принимать выражение лица, модное в нашем классе. Этакая улыбка расслабленного человека, когда уголок рта чуть приподнят. Со ртом у меня уже кое-как полу-чается, а вот с бровями не могу справиться. Никак не научусь сводить поднятую углом бровь к середине лба, в то время как другая остается в естественном состоянии. У меня обязательно поднимаются обе брови, и я становлюсь похожа на испуганного клоуна.

Не стоит думать, что мне нравится такое перекошенное лицо. Ничего подобного! Мне оно даже противно. Но меня злит, когда кто-либо из наших классных героев с таким вот выражением лица словно измеряет меня взглядом и указывает мне на мое место где-то там, на низшей ступени. И мне хочется ответить по меньшей мере тем же.

Я еще не сумела разобраться, откуда все это берется. Неужели дело только в том, что мы уже десятый класс и самые старшие здесь, потому что школы-интернаты

стали создавать всего четыре года назад. Наша школа, как одна из первых, сейчас единственная, где имеется такая «высокая ступень», как десятый класс. Не знаю, что будет в будущем году, когда мы станем выпускниками. Думаю, будем общаться только письменно, смеяться во весь рот будет дозволено только с особого разрешения классного организатора, а через младших будем перешагивать по-журавлиному.

Да разве может быть иначе, если «ведущие силы» и «задающие тон» в нашем классе — такие величины, как Ааду Адомяги и его сосед и закадычный приятель Энрико Адамсон!

Раз уж я добралась до этого имени, то мне придется написать и об испуге, пережитом в первый день в этой школе. Трудно даже представить, до чего тесен, прямо до смешного мал мир. Во всяком случае, наша ЭССР. Считаешь, что забрался на край света — и что же? Тут же, у порога сталкиваешься со старым знакомым. И еще с каким знакомым!

Так у колоннады главного входа я столкнулась с Энрико Адамсоном! С тем самым, кто был когда-то наказанием нашей старой школы и пугалом для девочек всей округи. С тем, кого Урмас, когда мы катались с гор на санках, здорово отлупил. С этим самым Энту. Ни в какую специальную школу его в наказание не определили, а все эти три года он учился здесь, в школе-интернате. Так что теперь я учусь с ним в одном классе.

По правде говоря, это — одна из причин, отчего я все еще так тоскую о старой школе и о своем соседе по парте!

Когда мы впервые встретились с Энту там, у колонн, и узнали друг друга, то покраснели почему-то о б а! Я, конечно, от испуга. А какое солнце его в тот момент обожгло, остается для меня загадкой — если только мне с перепугу это не показалось. Не такой Энту человек, чтобы испугаться при виде меня. А может быть, все-таки? Ведь кто, как не я, знает о нем достаточно много неприятного.

Неужели он и в самом деле считает, что я ни на что другое не способна, как вытаскивать на свет божий ста-рые, источенные молью истории. Я никому даже не за-икнулась, откуда я его знаю. Однажды — это было еще в самом начале — я так, между прочим, спросила, что же собой представляет теперь этот самый Адамсон? Марелле, с которой я сижу на одной парте и живу в од-ной комнате, спросила с любопытством:

— Так ты, оказывается, знаешь Энрико?

Я сразу сделала шаг к отступлению:

— Я знала его давно и не очень хорошо.

Думаю, что лучше я и не могла бы ответить. Я не солгала и в то же время не открыла всю правду. Впро-чем, этот Энту ничем не заслужил моей сдержанности.

Внешне он, конечно, здорово изменился. Только ведь очки в черной оправе и густой чуб, украшающий теперь его лоб, еще не делают человека другим. Уж меня-то он этим не обманет. Впрочем, несколько изменились его повадки и даже поведение. Всеобщее восхищение он за-воевал тем, что считается среди мальчиков одной из спортивных величин. И на коньках, и в баскетболе и даже на лыжах! Удивляюсь, что и лыжи еще могут доставлять ему удовольствие. Неужели они ему ни-когда ничего не напоминают?

Каким-то образом он вылез в сверхсредние ученики. А в мастерской, говорят, непревзойденный мастер. Ру-ководитель-инженер просто не нахвалится на него. Если верить Марелле, то электричество изобрел не кто иной, как Энрико Адамсон. И это еще не все. На школь-ных вечерах он танцует в ансамбле народных танцев!

Если бы в моем дневнике не было записано о неко-торых его похождениях, то, пожалуй, я и сама усомни-лась, уж не придумала ли я всего этого о его прошлом!

Выходит, что ни одна девочка здесь ничуть не бо-ится и не презирает Энту. Даже наоборот, все его ува-жают. Похоже, что я — единственное исключение. Но об этом он сам заботится с завидной последователь-стью.

Потому что именно меня Энту по-прежнему не ос-тавляет в покое. И уже с первого дня в этой школе. Хотя бы такая выходка — на выборах классного орга-низатора он выдвинул мою кандидатуру. Причем он прекрасно знал, что хотя бы потому, что я никому неиз-вестная новенькая, я не могла получить больше, чем те три голоса, которые я получила. Да и это было для меня неожиданно много. Он не добивался ничего другого, как унижить и осмеять меня. Я тогда так на него рассерди-лась, что чуть было не рассказала Марелле о его прежних «геройствах», но потом передумала. Ведь, пожалуй, я сама не особенно обрадовалась, если бы кто-нибудь вздумал здесь рассказать, скажем, о том времени, когда меня звали растрепой.

Мне хочется только одного — чтобы он оставил меня в покое, не обращал на меня внимания. Но как раз на это и нет никакой надежды. Получается так, словно я везде и во всем встаю ему поперек дороги.

И хотя в классе мы сидим — он на первой парте у окна, а я на последней в ряду, что у двери, он все-таки всегда знает, что я делаю и что у меня не сделано, как будто у него

дополнительные глаза на затылке, специ-ально, чтобы следить за мной. У него всегда находится, что сказать обо мне, и обязательно ироническое, прене-брежительное или обидное. И что самое глупое, я каж-дый раз меняюсь в лице. И именно это почему-то до-ставляет ему особенное удовольствие. СУББОТА...

Вот я и описала свои впечатления о новой школе и больше всего оо Энту. О мальчишке, о котором я в са-мом деле и думать-то не хочу. Как будто о нашей школе больше нечего писать. Но это не так. Чтобы написать о самом важном, начну с нашей классной руководитель-ницы — Прямой. Прямая — это, конечно, не настоящая фамилия. Даже прозвище у нее было сначала Прямая-между-двумя-точками, но теперь она зовется просто Прямая, и это имя подходит ей во всех отношениях.

По нашему мнению, она могла и должна была бы уйти на пенсию уже сто лет назад. Возможно, что ее настоящий возраст можно было бы узнать из ее мет-рики, но мы склоняемся к тому, что у нее вообще нет метрики. Для этого ей надо было когда-то родиться и быть ребенком.

По библии, первый человек был сделан из глины и Живого духа. Прямая, несомненно, потомок именно этого человека. Только глина с тех пор совершенно вы-сохла и потрескалась, а о живой душе при ее сотворе-нии просто позабыли.

Разумеется, она преподает алгебру и тригонометрию. Уже на первом уроке Прямая вызвала меня. По-види-мому, хотела проверить как новенькую. Спросила про-стое тригонометрическое уравнение. А мы в старой школе уравнений еще не проходили. Я гак и сказала. Она не поверила. И совершенно спокойно заявила, что программа во всех школах одинаковая. Что мне остава-лось делать? Не могла же я сразу, с первого урока по-казать себя как тупица да еще и лгунья. Безусловно, я начала возражать.

Это было плохо. Ой, как плохо! Теперь-то я знаю, что из всех человеческих слабостей самым большим поро-ком Прямая считает строптивость. Поэтому на мои воз-ражения она ответила с ледяной иронией:

— В самом деле, интересно, что в девятом классе ре-шать уравнения вас научить не успели, а вот вступать в пререкания с учителями — научили. Во всяком слу-чае, прошу вас в нашей школе пересмотреть свое отно-шение к этому вопросу.

А ведь на груди этого айсберга красуется значок за-служенного учителя!

Я едва успела сесть и собиралась уже от злости и обиды прибегнуть к платку, как зазвенел звонок. Без-упречный затылок Прямой еще не успел исчезнуть за дверью, как Энту громко запел какую-то мерзкую пе-сенку:

— Лишь потому, что правду ты сказала, намок от слез твой кружевной платок.

Но самое плохое было впереди. На следующем уроке Прямая спросила то же самое. Она, видимо, решила заставить меня выучить уравнения. А я в простоте ду-шевной подумала, что все уже позабыто.

Таким образом, я начала свой десятый класс двой-кой. Когда Прямая и на следующем уроке алгебры опять принялась за меня, я настолько растерялась, что опять посрамила и себя и свою прежнюю школу. И на четвертый раз получилось немногим лучше, потому что ведь по всем писаным и неписанным школьным зако-нам учитель никогда не спрашивает человека четыре раза подряд, когда в классе тридцать учеников. Навер-но, из-за этого и из-за моей врожденной бездарности я была слабо подготовлена и потому две жалкие тройки никак не исправили ту первую жирную двойку, и, тем более, первое ужасное впечатление обо мне. Я сидела за своей партией, оглушенная житейскими трудностями и, разумеется, не смогла

ответить Марелле, почему Прямая именно меня выбрала своей жертвой. Вдруг Энту прорычал на весь класс:

— Не печалься, дитя. Кого бог любит, того и нака-зывает!

Мальчишки ухмылялись, девочки хихикали. Я, зады-хаясь, бросилась из класса и угодила прямо в объятия исторички. Пришлось вернуться и предстать перед классом. Вот тогда-то я и решила научиться ледяному выражению лица, чтобы каждый раз не выбегать из класса.

И еще. Именно тогда я приняла решение: «Будь что будет, но к урокам Прямой я буду хорошо готовиться!» И я это делала так, словно от этого зависела моя жизнь. Нет, даже больше — моя честь!

Я стала в своем роде центром всеобщего внимания. Даже другие классы стали интересоваться моей карли-ковой борьбой с великаном математического мира. ВЕЧЕР...

Совсем недавно маленькая Марью из нашей группы спросила:

— Кадри, тебя опять вызывали?

Я сразу поняла, о чем она думала. Для нее алгебра и тригонометрия пока еще такие недостижимые поня-тия, что одни названия этих предметов приводят ее в трепет. На мой утвердительный ответ она озабоченно спросила:

— И ты смогла ответить?

К счастью у меня теперь уже хватало ума и гордо-сти не запускать занятия даже и после первой пятерки, которую мне посчастливилось получить на пятом уроке Прямой. И это было правильно. Случилась, пожалуй, самая невероятная история из всех школьных историй. Прямая спросила меня еще, и еще, и еще. Теперь по ее предметам у меня было уже семь пятерок плюс две пятерки за контрольные работы — вот тут-то и случи-лось это величайшее чудо.

Наступил урок, когда Прямая меня не спросила. В конце урока Энту опять зачем-то вмешался в это дело:

— А вы сегодня что-то забыли.

Прямая подняла брови. И Энту добавил предатель-ски:

— А Кадри Ялакас?

По классу пронесся смешок. И тут случилось неве-роятное. Прямая улыбнулась. С ней такое слу-чается не чаще одного раза в квартал и потому подоб-ное явление — необыкновенное чудо. Наверно, так вы-глядят в солнечный день Алеутские острова, где, кстати, пасмурная погода стоит триста шестьдесят три дня в году. Во всяком случае, Прямая вмиг помолодела на целое столетие.

Эта улыбка на мгновение приблизила ее к нам. И за эту улыбку я готова ей все простить (если такое дерз-кое желание вообще разрешено учащимся). Теперь я согласна скорее пропустить обед, чем не подготовиться к ее уроку. Так я решила раз и навсегда.

Получилось, как будто она этой улыбкой открыла дверь в свой класс и для меня. Удивительный неписан-ный закон есть у школьников. Никто не станет смот-реть на тебя косо только потому, что ты получаешь двойки, но и круглые пятерки не могут уберечь от все-общего презрения и насмешек. А если поднимешь знамя борьбы и выкарабкаешься на поверхность — непре-менно завоюешь признание.

Только дело-то не в одной учебе. Кроме нее существует миллион забот и одна из них будет сопровождать меня, наверное, до выпускного вечера — Энту! Все его выходки по отношению ко мне я не могу, да и не собираюсь здесь перечислять, потому что это не имеет никакого смысла, но последняя произошла как раз сегодня, на уроке английского языка. Ему было предложено придумать предложение со словом «вверх». Он совершенно спокойно сказал:

— У Кадри Ялакас нос вверх.

Good morning! Как будто я сама придумала свой нос и немало потрудились, чтобы он смотрел вверх. Прежде всего взглянул бы в зеркало на себя самого.

Честное слово, будь я собакой, я рычала бы каждый раз, когда Энту проходит мимо меня. В КАНУН ОКТЯБРЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ...

Каникулы! Каникулы! Каникулы! Ой, какие каникулы! Какие праздники! Какое счастье снова оказаться дома! Это счастье не может омрачить ничто, кроме сознания, что оно так бесовестно коротко, что скоро праздники кончатся и нужно будет снова уезжать. Но еще сегодня, и завтра, и послезавтра я могу быть так счастлива и рада, как не была уже очень давно.

И ведь это не обычный праздник. В нашей семье он на этот раз совсем особенный. Мачеха в больнице. И не из-за болезни, а из-за моей маленькой сестренки. Прошлой ночью родилась на свет крошечная Ялакас! О, из-за этого маленького человечка я забуду все неприятное, что было между мной и мачехой. И мачеха тоже как будто забыла. На мой букет, который я сразу же с утра послала ей в больницу вместе с папиными розами, она ответила прелестным письмом. В нем даже такая фраза: «У малышки твой м и л ы й! (разрядка и восклицательный знак мои) курносый носик». Ага, это письмо надо обязательно показать Энту.

Вот и настал праздник. Самый большой праздник! Я тщательно прибрала квартиру и приготовила праздничный обед. Это у меня неплохо получается. Мне нравится что-нибудь делать самой — от начала до конца. Эти праздники принадлежат нам с папой. Весь сегодняшний день я бегала и хлопотала так, словно все время занималась чем-то необыкновенно веселым и приятным. И отец тоже счастлив. Это видно по всему. Когда утром мы возвращались из больницы, он купил мне коробку шоколадных конфет, Отец, конечно, счастлив потому, что у нас теперь есть эта малышка, но, может быть, немножко и за меня. Во всяком случае, он обрадовался, когда я приехала домой и показала свой табель, в котором опять были одни четверки и пятерки. Кроме, конечно, пеня.

Отец посмотрел табель и спросил: — Значит, в школе у тебя все хорошо. И тебе там все-таки нравится?

Ой, папочка, милый-хороший, разве я смогла бы тебе сказать, что не нравится? Будь спокоен. Конечно, нравится. Там совсем не так ужасно, как я боялась сначала. А сейчас, издали, мне уже кажется, что там и совсем хорошо. Но лучше всего дома и в праздник. Не-сколько дней не надо рано вставать, можно проваляться в постели хоть до обеда,

А сестренка, моя крошечная, курносая сестренка, сумела же выбрать, когда родиться. Всю жизнь день рождения — в канун праздника. Всю жизнь в день ее рождения вся страна будет радостно готовиться к празднику. И родиться настоящим октябреньком! Это кое-что значит. Это не каждому удастся. Конечно, она будет очень счастливой девочкой.

Ой, как мне хотелось ее увидеть! Но они приедут из больницы, когда мои каникулы уже кончатся. Ничего. Сейчас и так ужасно славно, а на следующих каникулах я ее все равно увижу. Пока лучше буду печь яблочные пирожные. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА...

Утром ходила смотреть демонстрацию. Помахали с папой друг другу. Все в его ряду тоже

махали мне и улыбались, как доброй знакомой. Отец показался мне самым видным человеком в колонне. Он шагает легко и прямо, как юноша. Многие из моих одноклассников могли бы взять с него пример. Там, на заводе, где папа работает, даже самый старый рабочий ходит легче, чем, например, наш Ааду.

А Урмас стал еще выше ростом и причесан теперь по-другому, И пальто у него новое. Он его купил на деньги, заработанные летом. Он выглядит просто красивым. Раньше я этого и не знала. Мы с ним должны были пойти в кино, но не достали билетов, а домой идти не хотелось и мы все гуляли и гуляли. Дошли до моря. Посмотрели салют. Потом стало холодно и захотелось есть. Но это был такой замечательный вечер, что -я его никогда не забуду. А теперь мне надо побыстрее ложиться спать, иначе упаду от усталости. Но если бы Урмас сейчас пришел и позвал меня, и если бы не было так поздно, я бы пошла с ним опять хоть бы пешком до Сааремаа, чтобы вдвоем с ним постоять на берегу моря и вновь ощутить, как прекрасен весь этот огромный мир! А Урмас самый лучший парень в этом прекрасном мире. ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР...

Вот и все. Завтра я снова буду в школе-интернате. Далеко от дома и от здешних друзей.

Анне и Урмас приходили ко мне в гости. Папа был в кино. Мы втроем обсудили все на свете. Теперь я уже не боюсь споров Анне и Урмаса. Сама вмешиваюсь и уже не всегда соглашаюсь с Анне. Бывает даже, что у каждого из нас свое мнение. Но это как раз и здорово, когда каждый высказывает свои мысли. В новой школе я на такое никогда не решилась бы. Там у ребят словно одно мнение, и заключается оно в том, что они и только они умнее всех на свете.

И несмотря на то, что я прекрасно понимаю, насколько они преисполнены самомнения, случилось так, что я сама сегодня оказалась в роли их защитника. Началось с того, что Урмас спросил, сколько у нас в классе комсомольцев. Я ответила, что только один не комсомолец (моя соседка Марелле) и только потому, что верующие родители не разрешают. Урмас на это свистнул. Я добавила, что зато девятый класс у нас стопроцентный. Анне заметила:

— Что за чушь! Разве это дело, если в комсомоле будут все посредственные и даже отстающие! Где же тогда ведущая, передовая роль комсомольцев, как говорится в уставе? Там ясно сказано, что в комсомол надо принимать только молодежь, преданную советской родине.

В глазах Анне, когда она говорила эти слова, появилось то суровое выражение, которое появляется, когда она отстаивает то, в чем уверена.

— Но наш девятый стопроцентно комсомольский класс и в нем уже третий год нет отстающих, — защищала я свою новую школу. — Два года подряд в их классе переходящий вымпел.

Мне не дали договорить.

— Зачем ты говоришь о девятом? Говори о своем классе. У вас тоже вымпел? У вас, может, тоже все комсомольцы? — решительно вмешалась Анне.

— Ну, все равно, — смутилась я, — а скажи, в чем же преданность родине? Как ты ее определишь?

— В том-то и дело, — заявила Анне. — Разве, к примеру, какой-нибудь шалопай и вообще опустившийся тип, уже исключенный из одной школы, может быть преданным? Разве такому можно доверять?

Понятно, куда Анне целит. Я не успела еще ничего придумать в ответ, как вмешался Урмас:

— Я считаю так: если кто-то подает заявление о приеме в комсомол, то этим он уже достаточно подтверждает свою подготовленность. Во всяком случае, ему надо дать такую возможность. Для того комсомол и есть, чтобы воспитывать, влиять, а как ты считаешь? По-твоему, получается, что существует какая-то врожденная, «наследственная избранность».

— Может, и есть, — Анне упрямо подняла голову и ее тон стал вызывающим. — Я скажу одно: если в комсомоле могут быть такие типы, как этот Адамсон, тогда я там быть не хочу.

Крепко сказано. Но в этом было что-то, требующее возражений. Так и получилось, что я начала защищать Энту(!). Я старательно замалчивала его старые недостатки и приводила его новые достоинства. А о тех его качествах, которые больше всего отзывались на мне, я просто не упоминала. В пылу спора всякое может случиться. Но я ни в чем не лгала.

Тут пришел папа. Я накрыла на стол. Мы пили чай и ели яблочные пирожные. Было уютно и весело. Я рассказывала о своей новой школе и товарищах. Не знаю почему, но на словах все выглядело гораздо лучше и веселее. Может быть, дело в празднике.

Когда Анне и Урмас ушли, настал последний вечер вдвоем с папой. В этот вечер папа говорил со мной так серьезно, как, наверно, не говорил даже с мачехой. Он так интересно рассказывал мне о своей работе и заводе. Конечно, я понимала далеко не все, но одно мне было ясно — отец очень любит свою работу. Если признаться совсем честно — я до сих пор немножко боялась за отца. Ведь он несколько лет добровольно прожил за границей. Я думала, вдруг он... ну, вдруг он не преданный. Но теперь я поняла, что мои опасения были напрасны.

Потом разговор опять вернулся к семейным делам. Он рассказал, как он надеялся, что с таким живым и радостным человеком, как моя мачеха, нам будет хорошо и мы все трое прекрасно уживемся.

Разве же я этого не понимала! Ты, папочка, конечно, думал, что если два человека любят тебя и ты любишь их, то они обязательно должны полюбить друг друга. Но хотя ты и здорово разбираешься в алгебре, это не всегда помогает. Логика уравнения совсем не обязательно применима к человеку.

И тут я спросила о том, что уже давно было у меня на сердце:

— Папа, ты можешь ответить мне на один вопрос? Совсем честно. Ты... скажи, ты любишь свою вторую жену больше, чем любил мою маму? Ты с ней гораздо счастливее?

Наверно, отец заметил, как у меня перехватило дыхание, иначе зачем бы он целую минуту смотрел мне в лицо. И только потом заговорил. Отрывисто, перескакивая с одной мысли на другую:

— Как бы тебе обо всем этом сказать? Ты уже как будто взрослый человек и все-таки не совсем. У тебя еще нет своего опыта. Ты воспринимаешь жизнь так, будто читаешь книгу или смотришь фильм.

Ну, что ж. Придется с тобой поговорить и об этих вещах. Во всяком случае, одно я могу тебе сказать с уверенностью: с молодой любовью надо обращаться бережно. Несбереженная в юности любовь может отравить всю жизнь человека. Можно любить несчастливо, но обязательно бережно, не обижая любимого. Поэтому я и тебя, доченька, предупреждаю: будь осторожна со своим сердцем. Время есть. Все еще успеется...

Знаю, ты умная девочка, Иногда слушаю тебя и ты кажешься мне слишком уж разумной для твоих лет. А ведь ты еще не совсем взрослая. Вот тут как раз и случаются ошибки.

Что же касается твоей мамы и меня, то я прекрасно понимаю, почему тебя это интересует. Но, дитя мое, мы ведь с тобой уже говорили об этом. Что же теперь заставило тебя снова усомниться? Мачеха? О, доченька-доченька, как же ты не понимаешь?.. Человеческое сердце, видишь ли, отлито не из одного куска...

Да, вот я весь тут. Человек в годах. Моя почти взрослая дочка ждет от меня ответа. А мне гордиться нечем. Единственное, что у меня есть — эти рабочие руки. Но оказывается, их одних иногда маловато... Не сумел я ими построить счастье твоей мамы, не сумел и твое. Нет, нет, не перебивай. Я ведь и сам кое-что понимаю...

Ты дочь своей мамы. От меня в тебе очень немного. Разве что ты тоже легко прощаешь людям. Ты менее гордая, чем была она. Только, может, я и в этом ошибаюсь. Не так легко узнать человека. Даже самого близкого. С годами я убедился, что слишком много прощать и со многим мириться совсем не хорошо. Постарайся быть похожей на свою маму. Она была прямая и гордая. Борец по натуре, как это теперь называют. Такие нужны сегодня, а тем более завтра. Твоя мама умела в теперешнее время жить и быть счастливой. Она не страдала от противоречий. Жаль только, очень жаль, что все так сложилось...

Отец говорил и говорил, и хотя он не ответил на мой вопрос прямо, все же этот разговор очень меня обрадовал. И я нахожу, что у моего папы, безусловно, есть больше, чем только рабочие руки...

И когда я теперь думаю об отце и мачехе, я понимаю, что сердце и в самом деле не из одного куска и вообще совсем не так просто быть взрослым человеком, когда нельзя ни на кого свалить свою вину, а приходится самой нести бремя ответственности. В особенности же, если твоя юность относится к совсем другому времени. Это тоже надо понять. Мельница раздора ВТОРНИК...

Снова в школе. Так называемая группа и есть наш здешний дом. Дом и семья. Я не знаю, как другим, а мне трудно не заметить, насколько это разные вещи. Дома, даже в самом плохом случае, у каждого есть что-то свое, что-то для себя, и, что самое важное — всегда есть кто-то, кто тебя в самом деле любит и оберегает. А здесь у меня никого нет. Хотя я ни с кем не вражду и у меня имеется все необходимое. Но я попала сюда слишком поздно. Только в десятом классе. А большинство в этой школе с самого ее основания, уже четыре года.

В нашей пятой группе двадцать четыре девочки от семи до семнадцати лет. Староста группы — Веста. Интересно, какой могла быть эта девочка раньше, когда была, так сказать, рядовой? Девочки утверждают, что совсем обыкновенной, даже тихоней. Но с тех пор, как она стала старостой группы, в ней, как уверяет Анне Ундла, проснулся дух какого-то надсмотрщика. Я не могу понять, почему именно Веста должна быть старостой, когда здесь достаточно других хороших и исполнительных девочек.

Помещение у нас плохое. Именно у нашей пятой группы. У других, по крайней мере, умывальная отдельно. А у нас все это тут же, рядом со спальней. И все время пахнет водой, мылом и мытьем. Мы, правда, знаем, что это временно и что за школой строится новое здание интерната, но это тянется уже четыре года и никто не знает, как долго еще протянется, а оттого, что мы знаем это, в наших комнатах не становится ни просторнее, ни уютнее.

И воспитательница у нас тоже временная. Одна на нашу и седьмую группу мальчиков. Наша еще с осени в санатории. Так что воспитательница Сиймсон нам вроде мачехи, ее настоящее место у мальчиков, да там она, наверное, и нужнее.

Я иногда думаю, что у нас тут где-нибудь в уголке притаилась невидимая мельница раздора. И всегда находит кто-то, кому нравится ненароком или умышленно ее запустить. А остановить эту мельницу не так-то просто.

Взять хотя бы сегодняшнюю историю. Сначала мы все сидели спокойно, каждый занимался своим делом. Лики стирала чулки маленькой Реэт. Анне читала. Марелле вязала свитер. Роози вышивала салфетку. Я при-шивала к платью чистый воротничок. Веста сидела за другим столом и что-то писала, а Тинка стояла рядом и накручивала перед зеркалом волосы. Малыши были уже в спальне. Вдруг Веста набросилась на Тинку:

— Чего ты капаешь свою грязь на чужие письма?

— А тебе непременно надо писать письма именно пе-ред зеркалом? За другим столом сколько угодно места. Иди и пиши там, — довольно резонно посоветовала Тинка.

— Еще бы! Пусть остальные забиваются в угол, когда наши барышни завивают свои два волоска в три ло-кона, — еще больше разозлилась Веста.

Тинка очень хорошенькая девочка. Только волосы у нее как пух и если кто-нибудь поблизости чихнет, вся ее старательно уложенная прическа разлетается во все стороны. Можно себе представить, что подобное заме-чание Весты не особенно понравилось Тинке, и она бро-сила через плечо:

— Прошу тебя, оставь свои пошлости.

Веста, хотя и перебралась со своими письмами за наш стол, однако все еще не успокоилась и продолжала ворчать:

— У нас нет другого занятия, как вертеться перед зеркалом. Людям больше не о чем думать, кроме своей внешности.

— Ну, знаешь, и тебе было бы не вредно хоть из-редка взглянуть на себя в зеркало, — огрызнулась Тинка. Насмешка была такой явной и настолько точно попала в цель, что и без того красный нос Весты сде-лался еще краснее.

— Я не удивлюсь, если в один прекрасный день здесь начнется потасовка из-за мальчишек.

— Гм, — полсала плечами Тинка. — Почему именно из-за мальчишек? Ты, право, смешная. По-твоему, че-ловек заботится о своей внешности исключительно из-за мальчишек?

— Не все, конечно, но есть и такие, — презрительно заметила Веста.

— Оно и видно — Тинкин голос звучал уже менее уравновешенно. — Я, конечно, понимаю, ты никак не можешь забыть, что в воскресенье Ааду несколько раз приглашал меня танцевать, вот в чем дело.

— Ах, ее приглашали! А кто сперва пригласил Ааду на дамский вальс?

Похоже, что именно здесь и таился корень зла.

— Подумаешь! Увели у тебя из-под носа, что ли? — Тинка так туго накрутила последний локон, что я, даже глядя со стороны, сморщилась от боли.

— У меня из-под носа?! — хорошо, что горящий не-навистью взгляд не может испепелить. — Смотри, куда нацелилась! Уж я-то за мальчишками бегать не стану!

— Из-за этого можешь не волноваться, за тобой тоже никто не побежит, — в том же тоне ответила Тинка.

Брр! До чего же неприятно присутствовать при таких сценах. По спине пробегают мурашки, словно кто-то скребет ногтями по классной доске. Я беспомощно огля-нулась. Анне

оторвалась от книги, Марелле широко открыла глаза и рот, Роози на мгновение подняла и опять быстро опустила глаза на рукоделие, и на ее мягком, слишком румянном лице не отразилось ничего. Она вообще особенная девочка. Такое впечатление, что она живет среди нас на какой-то своей, крошечной искусственной планете. Хотя она и младше меня почти на три года, и должна бы быть более «ребячливой», чем я. Ино-гда я просто завидую ее способности быть выше всяких пустяков.

На этот раз положение спасла склонившаяся над стиркой Лики:

— Ах, девочки, и что вы ссоритесь из-за таких пустяков. Это просто скучно. Лучше рассказали бы что-нибудь интересное, — она сказала это так естественно и деловито, что ее слова подействовали на нас, как невидимый освежающий дождик.

— Пусть кто-нибудь другой рассказывает интересное, — сказала Веста, остывая. Растягивая чулки над тазом, Лики внесла разумное предложение:

— Анне, почитай что-нибудь вслух.

Анне (как мало эта Анне внешне похожа на мою Анне) обвела нас взглядом, усмехнулась и, листая страницы открытой книги, сказала:

— Подождите. Сейчас.

Немного погодя она начала лукаво:

«Всегда называй по имени того,

На кого намекаешь в своих стихах.

Иначе все стадо серых

Подымает ослиный крик.

Меня ты дразнишь —

Ведь я узнал свои длинные уши...».

Все шесть девочек насторожились. Что же это такое? Я попросила Анне повторить. Она делает это охотно, потому что ужасно любит выступать, декламировать, играть на сцене. И она снова начала с таинственной многозначительностью.

«Всегда называй по имени...»

Конечно, здесь таился намек. Ведь у нашей Весты и вправду есть манера говорить не прямо, а намеками. А такие туманные обвинения часто действуют сильнее, чем откровенные слова, и недоразумения приводят к «ослиным крикам».

Веста, казалось, поняла, что эта басня прочитана неспроста и как-то относится к ней. По ее лицу было заметно, что она не знает, смеяться ли вместе с нами или рассердиться. Наконец она подозрительно спросила:

— Что ты хочешь этим сказать? Что это за ослы?

Весту больше всего испугало слово «осел», а смысла прочитанного, она, пожалуй, толком и не уловила. Но у Анне никогда не поймешь, что она затеяла, когда, сверкая своими белыми зубами, она начинает рассказывать или декламировать что-нибудь на первый взгляд очень забавное, такое, что просто глупо не смеяться со всеми вместе. И только потом вдруг пони-маешь, что смеялся над самим собой.

Анне оторвалась от книги и, приподняв бровь (с какой завидной легкостью она это делает!), ответила Ве-сте:

— Честное слово, Веста, я тут не при чем. Я ничего не хочу этим сказать. Это Гейне. Ты, конечно, знаешь, кто такой Гейне?

— Пожалуйста, не считай всех дураками, — пробормотала Веста, но в ее тоне не чувствовалось уверенности.

Известно, что Веста не слишком сильна в поэзии, тем более слабое представление она имеет о Гейне. Анне кивнула в высшей степени серьезно.

— Так я и думала. Возможно, ты с ним лично знакома. Быть может, у вас в Соометсаском доме куль-туры был организован его творческий вечер?

Я содрогнулась, представив, к чему этот разговор может привести, и быстро вмешалась:

— Я очень мало читала Гейне. Ты не могла бы прочесть что-нибудь еще? Очень приятно тебя слушать.

Анне полистала книгу и начала читать вслух. По-своему, не так, как обычно читают стихи, а легко и ритмично, словно рассказывала волшебную восточную сказку.

«Золотые — и серебряные люди есть на свете...»

Это была удивительная история о поэте Фирдоуси и вероломном шахе. Эти стихи очаровали не только меня. Нас всех словно бы заморозил волшебный сон Бело-снежки, и мы слушали, как зачарованные. Наша хло-потунья, всегда деятельная Лики, так и застыла, опустив руки в воду и наклонившись над тазом. Тинка неподвижно сидела спиной к зеркалу. С лица Весты исчезло выражение превосходства и важности. На румяные щеки Роози упала тень от длинных ресниц, а пальцы лежали теперь у нее на коленях. Марелле спустила петлю на своем вязанье и когда Анне замолкла, спросила чуть дрогнувшим голосом:

— Все это, наверное, так и было на самом деле?

— А ты думаешь, приснилось, что ли? — насмешливо сказала Анне. Марелле, кстати, из всех нас чаще всего видит сны. Она без конца рассказывает всем о своих сновидениях и ищет в них таинственные пред-знаменования. Постоянно надоедает своими утверждениями, что тот или иной сон у нее сбылся, но никто из нас не может уловить связи между ее сновидениями и действительностью. Даже если она рассказывает об этом задним числом.

И правда, до чего же разные люди жили и сейчас живут на свете. Из золота и серебра, и из совсем тонкого алюминия, а иногда вдруг замечаешь, что просто из обыкновенной фольги. С золотых людей наш разговор перескочил на славу и знаменитостей. Кто же из нас когда-нибудь сможет прославиться? Конечно, Анне. Когда-нибудь мы прочтем на афише: «В главной роли заслуженная артистка ЭССР Анне Ундла...». И тогда все мы пойдем в театр и будем вспоминать этот вечер и как Анне читала нам стихи Гейне. С озабоченным видом в разговор вмешалась Марелле: — Ой, Анне, ведь ты это не серьезно? Я всегда считала, что это самая ужасная профессия на свете. Подумать только, прежде всего человек должен выучить наизусть разные слова, а потом на сцене, при всех... О, нет! Сама подумай, тебе придется при всех обнимать чужого мужчину и...

Тут Марелле покраснела и запнулась на слове «целовать».

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялись девочки. «Целовать», — подсказала Тинка. Марелле нахмурилась. Я поняла ее. Она не выговорила этого слова совсем не потому, что не сумела.

А ведь нам здесь не много надо для того, чтобы рассердиться и еще меньше, чтобы рас-смеяться. И долго еще девочки продолжали закатывать глаза и вздыхать: «О, милый, поцелуй меня! Поцелуй меня!»

— Все равно. Во всяком случае, я не пойду в театр смотреть Анне, — совсем по-детски защищалась Ма-релле. Анне усмехалась. Каким-то своим мыслям. Боль-шой мечте о далеком будущем. Тому, чем она могла по-делиться только с лучшим другом, да и то не всегда. Это было видно по ее глазам. Мне-то ведь тоже зна-комы такие мысли, потому что и у меня есть свое, со-кровенное. Только здесь никто и не подозревает об этом.

Тем временем Лики выстирала чулки и, вешая их у печки, заявила:

— А у нас в школе есть еще один кандидат на афишу.

— Ты сама, конечно, — сказала Марелле. — Твое имя всегда в газете.

Дело в том, что у нас в школе Лики самая яркая спортивная звезда среди девочек, и на прошлогодней республиканской спартакиаде школьников она завое-вала по легкой атлетике второе место. Почти половина спортивных дипломов, вывешенных внизу, в школь-ном коридоре, получила Лигия Салус, т. е. Лики.

— Ах, глупости, — засмеялась Лики, — я говорю о настоящих величинах. Ну, о Свене.

— О Свене? — в свою очередь удивилась я. — Ты имеешь ввиду нашего Свена? Свена Пурре?

Какие же у него таланты? Я до сих пор считала, что внешность человека — это еще не талант, а больше за ним ничего выдающегося мне заметить не удалось. На уроках литературы он выглядит довольно бледно, да и по другим предметам не выше среднего. В своем неве-дении я выглядела довольно глупо. Неужели я ничего не слышала? Я осмелилась напомнить, что учусь в этой школе всего около двух месяцев. Так неужели я раньше нигде не встречала имя Свена? Ведь он так много вы-ступал по радио, и в «Ноорте хяэль» было о нем напи-сано. Я приняла всезнающий вид, как Веста относи-тельно Гейне, и понемногу выяснилось, что Свен уже почти зрелый пианист.

— Но почему же он учится в этой школе? Тогда бы ему следовало быть в музыкальном училище, — недо-умевала я.

— Ой, ты, значит, не слышала, что с ним произо-шло? — на меня смотрели почти с сожалением. Ока-зывается, Свен и учился в музыкальном училище. Но у него получилась там с одной девочкой ужасная драма, такая, что он должен был даже жениться(!!!). Но роди-тели Свена в последний момент вмешались в эту исто-рию, тогда-то он и попал в нашу школу. Здесь в районе у него влиятельный родственник, который беспрестанно его контролирует, так сказать, присматривает за ним. Тинка (а она двоюродная сестра Свена) знала, по-ви-димому, гораздо больше, чем изволила сообщить. Од-нако, чтобы удовлетворить наше любопытство, она за-явила, что та девочка была здорово интересная, а дру-гая девочка набивалась к ней, Тинке, в подруги и пишет ей письма и, конечно, исключительно из-за Свена.

Анне вздохнула и закатила глаза:

— Сколько разбитых сердец в одной школе! Такого мальчика следовало бы запретить законом!

— Что ты вздыхаешь? — засмеялась Тинка. — Ведь у тебя сердце огнеупорное и ударостойкое. И от баков тебя тошнит — Тинка подразумевала две «элегантные» полоски на щеках, украшавшие лицо Свена (и многих других мальчиков), как признак их

исключительности.

И Анне опять не нашлась, что ответить. Второй раз за один вечер. А это ведь совсем на нее не похоже. Тем больше болтали о Свене другие девочки. Даже у Роози вырвался протяжный вздох, когда обсуждалась игра Свена. Ну да, ведь совершенно бесспорно, что у Свена Пурре глаза, как у кубинца, костюм словно с демонст-рации мод и вообще для обыкновенного школьника вы-дающаяся внешность. К тому же, как выяснилось еще, и исключительная для десятиклассника анкета.

У нас тут вообще очень много людей с интересными анкетами. Особенно, если подумать, что многие приехали сюда издалека и многие из лучших условий, чем здеш-ние. Большинство, конечно, просто ребята из соседних и этого района, те, у кого дома по той или иной причине какие-либо затруднения. Но возьмем хотя бы Тинку. Я спросила, что ее привело из столицы в эту школу. И ее откровенный ответ просто ошеломил меня.

— Знаешь, — сверкнула Тинка зубами, — я для них дома была просто невыносимой девчонкой. Они больше не могли со мной справиться. У папаши для меня нет времени, бабушка сама хвора, а тетя Эме... Ты пред-ставить себе не можешь, что такое эта тетя Эме. Она и теперь квохчет, как курица, когда я появляюсь дома. Ей бы только держать меня в купальной простыне и греть у радиатора. Просто невозможно было в этих ус-ловиях оставаться нормальной, поверь мне.

— Но если бы ты знала, как я сначала редела и скри-пела зубами, когда папаша меня сюда привез! Целые полгода не писала домой ни строчки. И папашины пе-реводы отправляла назад. Они узнавали обо мне только от Свена. Тогда тетя Эме лично явилась на место и шефство надо мной передала Анне. С тех пор Анне за меня пишет домой. О, какая это задушевная коррес-понденция!

Когда тетя Эме была здесь, я не обмолвилась с ней ни одним словом. Теперь это смешно. Теперь я не ска-зала бы ни слова, если бы они решили забрать меня отсюда. Я бы просто не поехала. Ни в коем случае.

Интересно, на оттаивание уходит полгода. Если уж у Тинки это продолжалось так долго, то боюсь, что у меня вообще ничего не получится. Хотя я никогда не сердилась на то, что приходится быть в этой школе. Но я бы не рассердилась, если бы можно было уйти из нее. ПЯТНИЦА...

По-видимому, в тот вечер в «мельнице раздора» за-стряло одно зернышко недовольства и его пришлось-таки перемолоть. А именно, сегодня я была дежурной. Веста на этот раз провела проверку очень поверхностно и после завтрака вообще не заходила в группу. Я ста-ралась, как умела.

Наконец, когда я собралась сменить домашнее пла-тье на школьное, выяснилось, что кто-то так основа-тельно перевернул все в платяном шкафу, что я с тру-дом разыскала свою форму. На дне шкафа нашла.

Ох, беда! Ничего не поделаешь! Пришлось поставить утюг. В последнюю минуту и в страшной спешке. Все уже ушли, а я еще возилась с утюгом. Только малень-кая Сассь копошилась в спальне.

Кстати, у нас все малыши распределены между стар-шими, которым поручено о них заботиться. Моя под-шефная как раз и есть эта Сассь. На самом деле ее зо-вут Тийна, а Сассь — это фамилия, но Тийной ее ни-кто не называет даже, наверное, и дома. И голова у нее почему-то недавно острижена под ноль и сейчас она ходит, как карманная щетка. Всегда она какая-то надутая и нахохленная и всегда у нее какие-то свои права, которых она самозабвенно добивается и которые по-чему-то никогда не совпадают с правами других.

Я, по правде говоря, просто замучилась. Никак не могу с ней справиться. Вечно она придумывает что-то недозволенное и при этом всегда уверена, что абсолютно права.

Утро у нас обычно начинается со споров. Чаще всего потому, что она сама хочет стелить свою постель. Я бы и разрешила это, но мы уже научены горьким опытом. Постланная ею постель выглядит, как опрокинувшийся на бок верблюд в пустыне, причем обязательно дву-горбый. Потом она ни за что не позволяет проверять ее шкафчик. А я не могу с этим согласиться, потому что отвечаю за чистоту и порядок в ее шкафчике. И чего только там нет. Как-то я нашла там завернутую в папиросную бумагудохлую мышь!

Однажды страшно испугалась, нащупав что-то жид-кое и мягкое. Вскрикнула и быстро отдернула руку. Вспомнив одохлом мышонке, я представила себе что-то еще более противное. Набросилась на Сассь с требова-нием немедленно вытащить на свет эту гадость. Сассь обиженно оттопырила нижнюю губу:

— Сама в десятом классе, а орет из-за какой-то каши, — и, разъясняя мне, что каша — это совсем не гадость и укусить не может, она вытащила из шкафа картонку, в которой была оставшаяся от обеда манная каша. Я так и не дозналась, зачем она притащила ее в спальню. Кормят нас здесь очень хорошо. И запасы де-лать нет никакого смысла. Особенно такой малышке, как она.

От нее никогда не добиться толку. Тем более правды. Так и сегодня, когда утром я крикнула ей из своей спальни: «Скоро девять, что ты копаешься?», она про-бормотала в ответ что-то вроде «сама ты копаешься», а потом более внятно: «ищу носовой платок».

Теперь-то я совершенно уверена, что никакой платок она не искала, а просто ей во что бы то ни стало надо было задержаться в комнате, пока все уйдут. В тот момент мне некогда было об этом задумываться. Я очень спешила. Где уж там с ней разбираться.

Так, платье более-менее отглажено! Быстро надеть! Застегнуть кнопки! Передник! Взглянуть в зеркало! Кое-как причесаться!

Но это еще что? В зеркале отражается стенная полка, на которой в ряд стоят наши стаканчики с зубными щетками и коробки с порошком. Все щетки на верхней полке смотрят в разные стороны. Как же я этого не за-метила? Быстро-быстро выстроить их в ряд, как это полагается. Сегодня можно ждать проверки. Вот исто-рия — когда и без того некогда, вечно случаются всякие неожиданности. Ну, теперь порядок! Поскорее убрать на место утюг и одеяло. Так. Оглядеть комнату. Поря-док!

— Сассь, нашла? Если нет, возьми из ящика мой.

— Иди, иди! Я сейчас догоню, — слышалось из со-седней комнаты. — Не беспокойся, я свет всегда гашу. Честное слово.

Я махнула рукой. Первый урок — алгебра. Еще опо-здаю! На всякий случай погасила свет в умывальной и, крикнув Сассь: «Скоро девять. Поторопись!» — пу-стилась бежать. Во время урока я вдруг стала беспо-коиться. Поди знай эту Сассь! Погасила она свет в спальне или нет, а вдруг в спешке включила свет в умывальной? Ведь каждая лампочка, которую забыли . погасить, на целое очко снижает оценку дежурства.

На большой перемене я на всякий случай побежала проверить. Запыхавшись, открыла дверь в нашу ком-нату и... обмерла.

Стенная полка (та самая, которую я утром привела в образцовый порядок) свисала со стены, держась на одном крючке. Зубные щетки разлетелись по всему полу. Большинство коробок раскрылось и зубной по-рошок рассыпался. Тут же валялись стаканчики и ос-колки.

Было уже не до вздохов. Схватила швабру и совок. Как раз, когда я занималась побелкой (потому что, как только я стала мыть пол, порошок размок и образовалась густая смесь), дверь отворилась и санитарная комиссия во всем своем величии пожаловала в комнату.

Никакие мои объяснения не помогли. По правде говоря, что тут было объяснять, когда факты громоздились друг на друга и достаточно убедительно говорили сами за себя. Никто из всей комиссии, казалось, не желал считаться ни с какими чрезвычайными обстоятельствами. Меньше всех, конечно, Веста, которая тоже входит в комиссию. Она фыркала и кипела в справедливом и праведном гневе. Я тоже слегка кипела, только ведь эти наши душевные кипения ни одного минуса не могли превратить в плюс.

Я ничем не могла опровергнуть факт — пол был действительно грязный. Хотя и белый. Но им нужен был не белый, а просто чистый пол, и я получила два жирных минуса. Не могла я опровергнуть и тот факт, что мусорная корзина была полна — ведь я сама только что выбросила туда пустые коробки и осколки, и за это появился еще один вполне законный минус. Беспорядок в уголке игр? Конечно, опять минус!

Тряпка, которая в это время должна была сохнуть на крючке, хорошо выполосканная и отжатая, сейчас, вопреки всяким правилам, была судорожно зажата у меня в руке, и с нее капало на пол, разумеется, это тоже привлекло внимание Весты. И, конечно, нашли еще многое, раз уж принялись искать.

Одним словом, это был небывалый для нашей группы поток минусов! Со своего обычного второго-третьего места мы скатились на последнее.

Но больше всего возмутила меня Веста вечером, когда мы вместе с воспитательницей обсуждали эту историю и искали следы главного виновника. Хорошо, я понимаю, что честный человек, каковым Веста является и каким обязан быть каждый староста группы, не может по своему положению особенно горячо вступаться за свою группу. Земной поклон за такую честность и принципиальность!

Но морщить нос и заявлять:

— Я сама тоже виновата. И в первую очередь. Я, как староста группы, обязана уходить последней. (Подумаешь, какое открытие!) Но сегодня мне необходимо было быть в школе пораньше. Один единственный раз положила на других — и вот результат. Известное дело: если сама не проверяешь, то дело пускается на самотек...

— А кто же сегодня ушел последним? — прервала ее воспитательница.

— Должно быть, дежурная, — ответила Веста. Неужели она не может хоть раз просто, по-человечески сказать «Кадри». Не знаю, почему, но сегодня все в ней раздражает меня.

И вдруг я вспомнила, что после меня здесь еще оставалась Сассь. Тут только я сообразила, что ведь полка не могла сама по себе так перевернуться. В этот момент маленькая Айна шепнула мне:

— Но ведь Сассь еще была здесь, когда мы уходили в школу.

Сассь опять пришлось выйти на середину. До чего же обычной стала эта картина в нашей группе по вечерам. Сидим все в кружке — кто на стульях, кто на табуретках, а кто и на столах, словом, где придется, а посередине стоит Сассь, заложив руки за спину, переминаясь с ноги на ногу. Она смотрит своими глазами-пуговками куда-то поверх наших голов. Так и сегодня.

На вопрос воспитательницы: — Ты можешь что-либо рассказать об этом? — Сассь приняла

крайне обиженный вид.

— Может, это тетенька-истопник.

Глупости, тетя-истопник, конечно, сама убрала бы, если бы у нее случилось что-либо подобное, но сегодня она к нам вообще не приходила. И вдруг лицо Сассь слегка просветлело: — А может быть, было землетрясение! — Она, мол, даже почувствовала, как во время урока пол в классе словно бы покачнулся. Наши усмешки ничуть не смутили ее.

— А, может, в каком-нибудь порошке были атомы.

— А, может, это духи?

Одним словом, могло быть все, что угодно, только не Сассь. Она здесь совершенно не при чем, она и к полке-то не подходила.

— И зачем мне это? — заявила Сассь, еще выше задирая остренький подбородок. — Не стану же я по ут-рам два раза подряд чистить зубы.

— Хорошо. Но скажи, Сассь, откуда у тебя на затылке такая шишка? — неожиданно спросила воспитательница. Казалось, этот вопрос на минуту привел Сассь в замешательство, и она ощупала рукой шишку на своем затылке. Но тут же овладела собой и выпалила:

— Выходит, и шишек уже получать нельзя?

Ну, в самом деле, неужели человеку нельзя иметь на затылке здоровенную шишку, если ему этого так хочется?

Воспитательница встала, подошла к злополучной полке, которая к этому времени уже обрела свое равновесие, и просто сказала:

— Видишь, вот здесь, под полкой, ты чем-то занимаешься. Резко поднялась, ударила головой о полку и она соскочила одним концом с крючка — (воспитательница все это наглядно продемонстрировала) — и полка с грохотом упала. Ты же подумала, что это духи и убежала, как зайчонок.

— Не подумала, — запротестовала Сассь. Взрыв смеха еще больше рассердил ее.

— Чего вы, дураки, смеетесь. Я же знаю, что духов не бывает.

Только теперь она, казалось, поняла, что все-таки выдала себя, и замолчала. Сассь велели в наказание Десять дней подряд каждое утро убирать полку и на месяц отобрали разрешение выходить в город.

Но это, конечно, не исправит Сассь. Во-первых, я давно поняла, что она и не хочет ходить по субботам домой, хотя живет тут же, в городе, а во-вторых, теперь я уже совершенно твердо знаю наперед, что, если полка и будет содержаться в порядке, то делать это за Сассь буду я.

В конце концов, этим маленьким ручонкам трудно справиться с такой работой, да Сассь и не дотянуться до полки. ЧЕТВЕРГ...

Сегодня нам выдали зимние пальто. Тем, конечно, кому они нужны. И теплые шапки. Сколько тут было примеривания, да и недовольства.

Получилось, что Тинка случайно не присутствовала при раздаче и ей пришлось выбирать из двух оставшихся шапок. Ни серых, ни бежевых уже не осталось — только две черные. А

Тинка считает, что черное ей со-всем не к лицу. И, конечно, она тут же помчалась к вос-питательнице. Но воспитательница ничем не могла помочь, потому что на складе уже ничего не осталось.

— Раз не поспела вовремя, придется смириться.

Но Тинка не собиралась смиряться. Она забросила свою шапку на шкаф и капризничала, как трехлетний ребенок, которого заставляют есть на завтрак геркуле-совую кашу. Я попыталась ее утешить тем, что боль-шинству девочек достались черные шапки, и мне, кстати, тоже и, кроме того, черные даже практичнее и очень подходят к ее темным глазам. Но это не помогло. На Тинку опять нашло упрямство.

— По-твоему, мне и рубашку надо черную? Папка платит за меня каждый месяц полную сумму, а мне тут дают этот черный колпак! По ком этот траур?! Это все проделки Сиймсон. Нарочно. Ведь она знала, что я еще не получила. Почему же она оставила для меня именно черную? Она терпеть меня не может, я знаю. Опять заявила, что я, мол, самая избалованная мод-ница. Модница? Как будто в нашей школьной казенной форме вообще можно модничать. Ее послушать, так мы все должны носить такой, как у нее, дореволюцион-ный костюм. Ничего не поделаешь, придется обо всем написать папе. Уж он-то их всех разнесет по кочкам.

Тут вошла Анне и спросила Тинку подчеркнута участливо:

— В чем дело? Здесь кто-то, видимо, собирается пи-сать доносы? Уж не ты ли?

Тинка резко повернулась к Анне спиной, но даже по ее спине было видно, что все эти угрозы никогда осу-ществлены не будут.

Анне спросила с наигранным сочувствием:

— Чем же они тебя опять обидели?

Энергичным шагом Тинка направилась к шкафу, сняла с него свою шапку, нахлобучила ее до бровей и уставилась из-под нее, словно кошка из-под корзинки.

— Ну, ты бы решилась в таком виде показаться на улице? — вызывающе спросила она Анне.

С сосредоточенным лицом Анне ходила вокруг нее, наклоняя голову то вправо, то влево и изучала свою подругу так, как учительница Вайномяз изучает наши рисунки на занятиях художественного кружка.

— Н-да... это точно! — наконец заявила Анне дело-вито.

— Что точно? — насторожилась Тинка.

— Точно как обезьяна в скафандре во время меж-планетного полета. Я тебе могу принести картинку из этого фильма.

Тинка сорвала с головы шапку и хотела запустить ею в Анне. А у самой глаза смеялись. У нее эти при-ступы упрямства проходят хотя и бурно, но быстро. Вообще она была бы ничего девчонка, если бы не носи-лась со своей внешностью и если бы сумела забыть, что она дочка такого важного папаши. Может, здесь беда и в том, что она совсем малюткой лишилась мамы.

Тем временем две подружки затеяли дикую возню, которая закончилась тем, что, гоняясь друг за другом, они сбили с ног маленькую Айну, поднявшую дикий рев. Обе они пытались успокоить пострадавшую, но та твердо придерживалась принципа, что никакая боль не утихнет, пока о ней не узнает воспитательница.

Вдруг Марелле спросила:

— Тинка, хочешь серую шапку?

— Нет, парчевую, — ответила Тинка, улыбаясь.

— Нет, серьезно, хочешь серую? У меня ведь серая. Поменяемся, если хочешь. — Это так похоже на Марелле. Прежде всего думать медленно, гораздо медленнее, чем другие, и потом удивить своим благородством, которое в общем-то всегда остается неоцененным, И на этот раз Тинка без зазрения совести надела шапку Марелле, которая, кстати, и в самом деле была ей больше к лицу, и, не дожидаясь, подойдет ли ее шапка Марелле, подхватив Анне, выскочила из комнаты.

Необыкновенная девочка эта моя соседка Марелле. Такая же необыкновенная, как ее имя. А получила она его вот как. Обе ее крестные непременно хотели, чтобы ее назвали в их честь. Одну из них звали Маре, вторую — Хелле. А мать, не желая обидеть ни ту, ни другую, назвала дочку Маре-Хелле, так и образовалось новое имя — Марелле.

Анне, когда сердится на Марелле, каждый раз пере-именовывает ее по-новому — то Пиретелле, то Анни-Манни, то Вийутийу. Но Марелле никогда не вступает с ней в пререкания. Скорее наоборот. Вообще, когда кто-нибудь острит на ее счет, она всегда улыбается как-то униженно, заискивающе. Пожалуй, именно из-за этого и я в чем-то не могу принять ее, и между нами пролегла какая-то пустота, хотя мы и сидим за одной партой. ПОЗДНЕЕ...

К тому времени, когда Тинка и Анне вернулись из города, мы уже успели позабыть о них. Еще из прихо-жей было слышно, что они о чем-то спорят.

— За кого ты меня принимаешь? Что я, дурочка, что ли? Ведь я тебе сказала, что паспорт всегда у меня в сумке. Я никуда не могла его засунуть, понимаешь?

— Дитя человеческое, рассуждай логически. Кому понадобился твой паспорт? И зачем? — возражала Анне.

Выяснилось, что Тинка вместе с Анне ходила на по-чту за деньгами, присланными отцом на карманные расходы. Но денег не получила, потому что вдруг оказалось, что у нее нет с собой паспорта. Сама Тинка была убеждена, что он должен быть в сумке, и вдруг — нет. Поиски в спальне не дали никаких результатов. Тинка засунула свой паспорт в такое место, где ни она сама, ни Анне, ни мы все, помогавшие ей искать, не сумели его найти. Даже малыши азартно включились в поиски. Сассь, очень расстроенная всем этим, спросила серьезно:

— Тинка, если паспорт совсем пропал, то ты так и не получишь свои деньги?

— Конечно, нет. Их вернут папе, — и, обращаясь к нам: — вот увидите, тетя Эме примчится сюда, потому что она убеждена — раз человек даже за деньгами не явился, значит, он умер или по крайней мере лежит без сознания.

Дело и впрямь было не шуточное. Тревога малышей была тем более понятна, что Тинка в дни своей по-лучки никогда не забывала угостить их. А покупала она, главным образом, сладости или какую-нибудь ерунду — фотографии артистов, открытки, словом, то, что очень нравится малышам.

Действительно, странная история! Куда же мог деть-ся из сумки паспорт, если все остальное спокойно лежало в ней по-прежнему? Разговоров об этом хватило на целый вечер. Веста сделала из всего этого глубокомысленный вывод:

— Я считаю, что у нас выдают паспорта слишком рано, совсем еще детям. И вот теперь

видите, что из этого получается. Теряют, а потом... (надо сказать, что Веста на год и три месяца старше Тинки). Делая эти многозначительные намеки, она разбирала вещи в своем чемоданчике. И вдруг осеклась на полуслове и стала панически рыться в чемодане.

— Девочки! — крикнула она почти плача, — мой паспорт тоже исчез!

Так оно и было. Паспорт действительно исчез. Анне смиренно заметила на это:

— Я тоже не раз думала, почему у нас паспорта вы-дают пожилым людям, совсем старцам. Теперь убеди-лись, что из этого получается. Теряют и... — Анне раз-вела руками.

Раз уж два паспорта исчезли, то нам с Лики ничего не оставалось, как проверить, не пропали ли и наши. К счастью, они оказались на месте. Но куда девались те два? Значит, кого-то интересовали именно те два паспорта. Мы терялись в догадках. Заподозрили маль-чиков. А раз дело касалось только Весты и Тинки, то многие из нас подумали об Ааду. Кто знает, что может прийти ему в голову. Было решено, однако, поначалу не посвящать в это дело нашу воспитательницу. ЧЕТВЕРГ...

Сегодня дело осложнилось. За ночь в сумке Тинки сам по себе появился паспорт, но зато бесследно исчез паспорт Лики. Я радовалась про себя, что по крайней мере мой был по-прежнему в моей запирающейся шка-тулке, которую папа подарил, чтобы я могла хранить в нем дневник и письма.

Случись вся эта история в четвертой группе, никто бы особенно не удивился, потому что у них то и дело что-нибудь пропадает. А в нашей группе хотя и бывают всякие неприятности, но пропадать ничего не пропа-дало. К тому же паспорта, которые, казалось бы, никому, кроме их владельцев, не могут понадобиться.

И вдруг Лики позвала: «Сассь, поди-ка сюда на ми-ноточку!»

Сассь моментально надула губы и звонко и оскорб-ленно заявила:

— Я не брала твой паспорт!

— Ага, — усмехнулась Лики, — а что ты сегодня с утра делала в нашей комнате?

— Я? — глаза Сассь расширились от праведного возмущения.

— Да, ты. Именно ты. Я же видела, как ты выходила из нашей комнаты, — улыбаясь, настаивала Лики.

— Ах, да, — вспомнила Сассь, — я заходила посмот-реть на часы.

— Почему ты подозреваешь Сассь? — спросила я беспечно.

Лики задумчиво сощурила глаза.

— Ты не обратила внимания, как Сассь вчера допы-тывалась у Тинки, сможет ли она получить деньги без паспорта? Поэтому-то она и положила ее паспорт на место, а взяла мой. Мне пока не ясно только одно — зачем они ей? Или, вернее, кто ее подбил на такое дело?

Началось следствие. Сассь все отрицала с поразительным упорством. Если бы кому-нибудь из нас при-шло в голову спросить, зовут ли ее Тийна Сассь, она, несомненно, стала бы отрицать и это.

Веста была совершенно уверена, что это ее работа. По правде говоря, я тоже стала склоняться к тому, что здесь не обошлось без ее маленьких, поцарапанных рук. Я в свою

очередь обратилась к ней, стараясь говорить как можно ласковее:

— Скажи же, наконец, совсем честно: ты знаешь что-нибудь обо всем этом?

— О чем? — с невинной миной спросила эта упря-мица.

— Скажи откровенно, ты была сегодня в Ликиной комнате и взяла ее паспорт? Мы тебе ничего не сде-лаем, если ты честно признаешься.

Сассь стояла у стола, маленькая и какая-то сгорб-ленная, но на мой вопрос она прямо взглянула мне в глаза и ответила подчеркнуто убедительно:

— Честное слово родины, я не брала Ликин паспорт.

— Честное слово родины?! Как она сумела найти та-кие слова? Видно, и в ее маленькой душе Родина — это что-то великое, такое, в чем никогда нельзя усом-ниться.

И мне вдруг вспомнился один давний, несчастный день из моего прошлого, когда и меня, ни в чем не ви-новатую, так же подозревали и обвиняли, и как мне нужна была защита кого-то более сильного.

— И чего вы постоянно мучаете Сассь, — сказала я, — ведь не может она быть всегда во всем виновата. Подумайте сами, на что ей нужны ваши паспорта?

Лики сразу согласилась со мной:

— Ну, конечно. И раз Тинкин паспорт вернулся, зна-чит, вернется и мой. Стоит ли так долго обсуждать та-кие пустяки. Надо собираться на тренировку. Пошли, девочки!

— Кого-то, видимо, заинтересовало, когда наши ста-рые девы родились, — уходя, бросила через плечо Анне.

— Увидим, — недоверчиво пожала плечами остав-шаяся в комнате Веста. — Только я уже давно хочу тебе сказать, Кадри, — будь осторожнее с этой твоей Сассь. По правде говоря, ей следовало бы задать хоро-шую трепку.

И хотя мне самой не раз хотелось оттащить ее за вихры, все же слова Весты сильно задели меня, и я увидела также, что Сассь, прикрыв рот рукой, показала Весте язык. ПЯТНИЦА...

Снова вечер. Воспитательница отправила малышей умываться, а сама пошла на половину мальчиков. От взгляда Весты ничто не ускользает. И я никак не могу сосредоточиться на книге и все поглядываю на свою «подопечную». Хотя только что поддалась на ее «чест-ное слово родины» и старалась защитить ее от нападков, все же у меня нет к ней настоящего доверия.

Я заметила, что она опять раз-другой потерла своей ручонкой шею, а до ушей и не дотронулась. Знакомая картина. Я тихонько подошла к ней сзади, взяла ее маленькую, мокрую руку, намылила и помогла вымыть уши и шею. Ручонка, которую я направляла, была жест-кой и упрямой. Мне пришлось приложить усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Отходя от Сассь к столу, я слышала, как она что-то ворчала себе под нос. Я сделала вид, что ничего не заметила. Но тут ма-ленькая Айна, умывавшаяся рядом с Сассь, восклик-нула с нескрываемым возмущением:

— А-а, Сассь сказала «черт»!

— Не сказала, — с привычным спокойствием возра-зила Сассь.

— Сказала, да, сказала!

— Не сказала!

Они спорили все громче и громче, повторяя каждая свое, и когда, наконец, достигли самых высоких и звонких нот, Сассь вдруг схватила свой таз и прежде, чем кто-либо из нас успел опомниться, молча выплеснула всю воду на маленькую Айну.

— Но-н-оо, Сассь! — дружно ахнули мы. — Что ты наделала?

Сассь стояла, как маленькая богиня мщения, непоколебимая и величественная в своей правоте.

— А чего она вечно жалуется!

Айна всхлипывала и кричала, захлебываясь от обиды.

— Вот и пожалуюсь! Теперь-то уж обязательно пожалуюсь. Как только воспитательница придет, я все расскажу. И то, как ты каждый день таскаешь из столовой хлеб! Тебя еще и из школы выгонят!

— Жалуйся! Кто твоих жалоб испугается. Беги, жалуйся. Беги, беги! — и, подняв кулачки, Сассь стала наступать на Айну с таким видом, что я быстро заслонила ее собой.

— Ты сама ворует, дурочка! — не отступала Сассь, — хлеб может каждый брать, сколько душе угодно. И никого это не касается. Бери тоже, если тебе завидно. Завидующая! Ябеда!

Я принялась поскорее вытирать Айну, а сама не спускала глаз с Сассь. Что-то она уж очень разволновалась, просто вышла из себя. Ее подбородок и плечи тряслись, как в лихорадке. Такой я ее еще никогда не видела. Я накинула ей на плечи полотенце.

— На, вы-трись хорошенько!

Мне показалось, что она изо всех сил мужественно борется со слезами. И ее узкие, худенькие, как у птички, плечи так жалко сгорбились, что я протянула руку, обняла ее и хотела притянуть к себе. Но она резко вырвалась, словно моя рука жгла и колола ее. При этом она так дико взглянула на меня из-под своих черных бровей, что я просто похолодела. Своенравная и строптивая, уж такая она и есть. Может быть, Веста и права — и Сассь надо просто как следует всыпать, а добрые слова и ласка на нее не действуют — так я, рассерженная, думала в ту минуту.

А тем временем Марелле, внимательно наблюдавшая за событиями, видимо, успела сделать свои выводы и вдруг спросила удивленно и испуганно:

— Сассь, так ты все-таки сказала «черт?»

— Черт! Черт! Черт! — закричала Сассь. — Да, сказала! И что вы можете мне сделать? Все ругаются. И вы ругаетесь и говорите глупости. Веста сказала, что мы соплячки...

— Сассь! — попыталась перебить я, хотя Сассь и была в чем-то права, все же нельзя было ей позволить продолжать в том же духе. К тому же здесь была маленькая Айна. Я уже надела на нее сухую ночную рубашку и сейчас старалась отправить ее спать. Уже в дверях она заявила:

— Завтра все расскажу, тогда увидите!

— Иди уж, иди! — я тихонько подтолкнула ее в коридор и закрыла за ней дверь. Сассь и

другим малышам тоже надо было идти спать. Я стала вытирать пол. Без-условно, тут я допустила ошибку. Потому что Веста не замедлила поучительно заявить, что Сассь должна была это сделать сама. Словно я этого не понимаю! Только ведь Сассь своими маленькими ручонками просто раз-везет грязь, и потом все разнесут ее по всему полу, что уже и случилось, и комната будет похожа на хлев. При-мерно так я возразила на замечание Весты, продолжая вытирать пол.

— Конечно, некоторые считают, что здесь не что иное, как хлев, — не отставала Веста. Я решила следо-вать примеру Роози и промолчала. Впервые в жизни я попробовала на всякий случай засвистеть. Но и это не получилось, потому что, оказывается, правильно сви-стеть еще труднее, чем петь. К тому же Веста опять истолковала это по-своему.

— Ох, до чего же мы высокомерны. Нам абсолютно наплевать на то, что говорят люди!

И снова вмешалась Лики. Своим чуть насмешливым тоном она сказала примирительно:

— Оставь Кадри в покое. И чего ты придираешься ко всем по любому пустяку.

— Ах, значит, я придираюсь! Благодарю! Выходит, что и правду сказать уже нельзя. Обидели твою Кадри, не так ли? Только скажи-ка мне, кто это говорил про эту самую Кадри, что она задается. Воображает о себе больше всех! И к тому же носится со своими запи-сьями и...

— Хватит, хватит, — покраснела Лики, — может, в начале и говорилось что-то в этом роде, точно не помню. Ну, а если даже когда-нибудь и сказала, что из этого? Ошиблась — вот и все. И в тебе, наверное, тоже ошиб-лась. Ты лучше объясни, что с тобой творится?

— Это со мной-то? — казалось, Веста искренне удив-лена и возмущена. — В группе царит полный хаос и беспорядок. Мебель срывают со стен, пропадают пас-порта, девчонки выливают друг другу на головы помои, а если об этом заикнешься, слышишь в ответ — что, мол, ты придираешься? Что с тобой творится? И по-чему бы не рассуждать тому, кто сам ни за что не от-вечает, кому не попадает за чужие проделки...

— Тебе-то, бедняжке, на этот раз здорово доста-лось, — вмешалась Тинка.

— Ах, ты-то уж молчала бы. Таких, как ты, всюду берегут и ублажают. Видишь, тебе и паспорт вернули. Может, и мне вернуть? Я заявляю одно — если к завт-рашнему утру мой паспорт не будет на месте, я тут же отправляюсь в милицию. В конце концов, нельзя пре-вращать наш дом в притон для хулиганов.

— О-о, зачем же сразу в милицию? — запричитала Марелле. — Кому это нужно? Еще посадят кого-ни-будь. Я недавно видела такой ужасный сон. Две черные собаки ворвались к нам в спальню и стали срывать одеяла, а с твоей кровати песок так и посыпался на пол. Поверь, Веста, это не к добру. Подумай сама, вдруг из-за тебя человека посадят в тюрьму.

— И пусть посадят. Чтобы не было повадно...

Мельница раздора заработала вовсю, словно надо было выполнить норму. И Анне с ее Гейне не оказалось рядом. Единственным человеком, не сказавшим пока ни слова, была Роози. Она сидела, перебирала свою светлую косу и вдруг встала, молча пошла в спальню малышей и плотно закрыла за собой дверь.

Я, как зачарованная, смотрела ей вслед. И пошла за ней.

— Роози, как у тебя это получается? — спросила я.

— Что именно? — В ее ясных глазах светилось не-доумение.

— Ты всегда остаешься в стороне от неприятностей и вообще никогда не выходишь из себя?

Роози пожала плечами и принялась стелить постель. Я решила, что это и есть ее ответ и тоже собралась лечь. Прошло немало времени, прежде чем Роози ответила:

— Дедушка научил.

— Чему? — я уже и забыла о своем вопросе, потому что мучительно обдумывала те несколько фраз, кото-рые вечером были сказаны обо мне.

— Не сердиться. Мой дедушка в молодости побывал в Индии. И научился этому у йогов.

— У йогов? — И того не легче! Ну разве какие-то индийские йоги, к тому же дедовских времен, могут помочь нашей современной девушке, да еще в тесной умывалке школы-интерната?

— Именно йоги. Я, собственно, не совсем представ-ляю себе, кто они такие. Философы, что ли. Но де-душка научился у них самообладанию с помощью ды-хания. Вот так, посмотри. — Роози села в кровати и продемонстрировала: — Смотри, семь глубоких вдохов и выдохов. Не надо торопиться, и начинать надо с вы-доха. Каждый раз надо задерживать дыхание, иначе не поможет.

Я рассмеялась:

— Это же просто дыхательное упражнение. Его надо делать у открытого окна или в хорошо проветрен-ной комнате.

Роози ничего не ответила.

— Ну, рассказывай дальше. И в этом-то вся пре-мудрость йогов?

— Не знаю.

Я, видимо, задела ее. И тут же извинилась.

— Ты попробуй, если не веришь, — посоветовала Роози. — И еще одно: не стоит говорить, если тебя не спрашивают.

Так вот в чем дело! А у нас-то Роози считают просто заикой. А она, оказывается, вдыхает и выдыхает и ждет, когда ее спросят. Это, может быть, и очень по-лезно для того, чтобы вообще попытаться чего-то до-стигнуть, если, конечно, в тебе самой есть что-то от йогов.

Я решила попробовать в тот же вечер. Когда ночная дежурная разогнала девочек из общей комнаты и когда, наконец, водворилась тишина, я вдохнула так, что лег-кие зашкрякали, но почему-то не заметила, чтобы мне от этого стало особенно радостно. Наоборот, я почувст-вовала такую тоску и уныние, что тихонько вылезла из кровати и вот сижу теперь здесь и пишу, а написать надо бы еще очень много, только вот усталость одо-левает. Кроме того, я, наверное, уже в несколько раз превысила свои дополнительные полчаса, выторгован-ные когда-то у воспитательницы для моего дневника. Несмотря на усталость, мне не хочется идти в спальню. Мало радости узнать, что тебя считают пустой вообра-жалой. Нет, лучше уж я сделаю семь глубоких вдохов и выдохов и по примеру йогов буду каждый раз задер-живать дыхание. СУББОТА...

Когда я вчера вечером в конце концов улеглась в по-стель, мне все равно долго не удавалось заснуть. Мысли все время возвращались к одному — задается! Вообра-жает, что лучше других! Ну как можно так неправильно понимать человека! В своей жизни я пережила столько унижений, что мне и в голову не могло прийти обидеть кого-то своим превосходством.

Даже мой дневник стал здесь камнем преткновения. Правда, Лики дала понять, что ее мнение обо мне те-перь изменилось в лучшую сторону, но кто знает, мо-жет, это было сказано только потому, что я была ря-дом? Почему же все-таки я произвожу такое впечатле-ние? Ведь я же... И вдруг у меня мелькнула неожи-данная мысль: а сама-то я что сделала для того, чтобы приобрести здесь друзей? Я всегда говорила и думала, как о своих, только о тех, с кем мне пришлось рас-статься, а здешних считала чужими. И не удивительно, что мне платили тем же.

Правда, я всегда страдала от вынужденного одиноче-ства и мне хотелось иметь друзей, но почему же первый шаг должны были сделать другие, а не я сама? Ко-нечно, немалую роль тут сыграло и то, что, когда я при-ехала сюда, между нами уже сложились определенные взаимоотношения. Нет, я не могу сказать, что они меня избегают. Не больше, чем я их. И мне нечего обижаться. Но как я ни старалась утешить себя, меня не поки-дало чувство одиночества и тоски по старым друзьям. Урмас! Лежа с закрытыми глазами в этой темной комнате, я старалась вспомнить его последнее письмо. Повторяла самую важную строчку. «Милая Кадри!» Сердце несколько раз быстро отстучало тук-тук и я радостно и взволнованно произнесла про себя в раз-рядку: милая! Еще он пишет, что считает дни, остав-шиеся до следующих каникул, когда я снова приеду домой. Что же мне еще сказать! Я вздохнула и повер-нулась на другой бок. Решила уснуть.

И вдруг — что это? Я приподняла голову с подушки. Неужели это мои грустные мысли отделились от меня и самостоятельно плачут здесь в темной комнате? Нет, в самом деле, что же это такое? Кто-то плачет. Приглу-шенно всхлипывает. Я попыталась определить, кто же это в темноте потихоньку проливает слезы. Веста? — Нет, оттуда доносится ровное дыхание и легкое посапывание. Марелле? — Нет, она, верно, и во сне рас-суждает о сновидениях, во всяком случае, слышится тихое бормотание. Роози? О, нет, только не она, потому что у нее есть надежные средства самозащиты. Сассь? Уж она-то никак не станет бодрствовать и плакать по ночам.

Плачет... господи, да ведь это не кто иной, как ма-ленькая Марью! Я приподняла голову. Прислушалась. Никто не плакал. Но теперь мне было ясно, что кто-то здесь в комнате тоже прислушивается и старается не выдать себя. Я тихонько позвала:

— Марью!

Ответа не было.

— Марью, ты не спишь?

— Нет, — испуганно и робко прозвучало в ответ. Я встала и подошла к ее кровати. Присела. В темноте нашла ее щеки. Они были мокрые от слез. И подушка была влажная. Я наклонилась к ней.

— Марью, Марьюшка, что с тобой? Ты больна? У тебя что-нибудь болит?

Щечки девочки и правда горели.

— Нет, — шепотом ответила девочка и снова горько заплакала.

Я бережно приподняла ее, прижала к себе и стала гладить ее горячую, влажную головку. А она вдруг об-хватила меня за шею тонкими ручонками и, уткнув-шись мне в шею, всхлипывая, стала горячо и быстро что-то шептать. Я не могла ничего понять. Ясно было одно — малышка была в беде, и ее маленькое сердечко, колотившееся совсем около моего сердца, было перепол-нено каким-то своим горем, и эта малышка была так несчастна и беспомощна.

Я почувствовала к этому маленькому, беззащитному существу такую нежность и жалость, что

у меня сжалось сердце. И опять стало стыдно за себя. Вот я, большая, думаю только о себе. И еще жду ласки от других. И еще требую внимания и любви, а сама не замечаю, что рядом со мной тот, для кого я уже совсем взрослая, и кому так необходима ласка.

Я старалась вложить в свои руки, гладившие головку и плечи Марью, всю ту нежность, которой не хватило на мое детство, и о которой я в глубине души все еще тоскую. Обняв ее, я тихонько покачивалась в такт колыбельной песне, которую напевала про себя. По-немногу она успокоилась. Я чувствовала, как мало-помалу расслабляются ее напряженные мышцы и как спадает жар, вызванный волнением. И шепот ее стал более связным.

— Кадри, скажи, меня посадят в тюрьму?

— В тюрьму?! — воскликнула я почти громко. — В тюрьму? Откуда ты взяла такие глупости? В нашей стране маленьких девочек никогда не сажают в тюрьму, в этом ты можешь быть совершенно уверена. И как тебе пришла в голову такая нелепость?

— Но ведь Веста сказала, — испуганно шепнула девочка, уткнувшись мне в шею.

— Что Веста сказала? Что тебя посадят в тюрьму? — спрашивала я в недоумении.

— Нет. Но я слышала из-за двери, как она сказала, что завтра пойдет в милицию и расскажет в паспорте и тогда того, кто его взял, посадят в тюрьму, чтобы другим было неповадно.

Я начала смутно догадываться, в чем дело:

— Так разве ты взяла эти паспорта?

— Не-ет, двух-то я не брала. Сассь... я... я взяла только один.

— А зачем же ты вообще их брала? Зачем тебе чужой паспорт? — осторожно спросила я.

— Кадри, дай честное слово родины, что ты никому не расскажешь.

Честное слово родины? Знакомый термин!

— Нет, Марью, я не дам тебе честного слова родины. Видишь, Сассь дала, но, как я теперь понимаю, сказала неправду.

— Но Сассь не соврала, — пыталась Марью защитить свою подружку. — Она ведь сказала, что она не брала паспорт Лики. Она его и не брала, ведь это я его взяла.

— Так или иначе, — продолжала я серьезно, — имя родины нельзя упоминать по любому пустяку. Даже в игре.

Когда я говорила это, я вдруг открыла в себе нечто совсем новое. Мне показалось, что во мне есть что-то такое, уже не детское, и что теперь я сама могу что-то дать им.

О родине нам говорили много — что мы должны любить ее, что она для нас священна. Мы пели об этом песни и учили стихи, но теперь, когда я впервые хотела объяснить это другому человеку, который был гораздо младше и неопытнее меня, теперь я высказывала это не как услышанные и заученные слова, а как свое убеждение. Я говорила то, что сама чувствовала. Я наклонилась к уху Марью и прошептала:

— Родина — это что-то настолько великое и святое, что перед ее лицом не может быть ни тени лжи, даже в мыслях. И никакой игры. Понимаешь?

Я знала, что она не понимает, как и я сама сейчас, и все-таки она шепнула: «Да!». И я подумала, что, может быть, когда-нибудь ей вспомнится эта ночь, как вспомнились сегодня

мне те песни и слова обещаний, кото-рые я давала в серьезные минуты своей жизни перец лицом Родины.

— Но что же все-таки стало с этими паспортами? — вернулась я опять к разговору о паспортах.

Молчание.

— Ты не можешь сказать?

— Нет.

— Ну что ж. Не можешь, так не можешь. Только я считаю, что нет ничего хорошего в том, что вы с Сассь натворили. Видишь, ты и сама не можешь уснуть и плачешь.

Малышка вздохнула. Меня мучило любопытство, но настаивать было нельзя.

— Ты обещала Сассь, что никому не скажешь об этом.

— Да!

— Тогда мне придется завтра спросить у самой Сассь, — решила я. И тут я чуть не вскрикнула от ис-пуга, потому что кто-то вдруг зашевелился в темноте, у самых моих ног. Я сразу догадалась, что это была Сассь. Значит, и она не спала или проснулась от на-шего шепота и незаметно забралась под нашу кровать.

Когда я в темноте притянула к себе Сассь, она уже больше не вырывалась, как накануне вечером, а довер-чиво прижалась ко мне, как Марью. Так мы и сидели втроем, согревая друг друга.

Я узнала о причине исчезновения паспортов. Сассь задумала побег и уговорила Марью. Побег! И к тому же за границу. Сассь слышала, что для поездки за границу нужен какой-то паспорт.

Пищей они стали запасаться уже давно (хлеб и каша в коробке). Тайник находился под матрасом, и потому-то мое вмешательство встречало такое сопротивление.

Слушая эти признания, я вспоминала, как я сама ко-гда-то в детстве, обиженная чем-то, тоже задумала убежать из дому. Наверное, такое случалось со мно-гими людьми. Вдруг захочется уйти в какую-то неизве-стную «страну, где-все-гораздо-лучше». Я ограничи-лась только мечтами. Сассь в своей горячности сделала шаг к осуществлению. Как же я могла настолько не понимать Сассь и как несправедлива бывала, когда мне подчас хотелось оттащить ее за вихры.

Я узнала многое и о жизни этих двух девочек, кото-рые всегда держались вместе, несмотря на то, что были такими разными. Чего не хватает у одной, того с из-бытком у другой, а биография у обеих печальная. Соб-ственно, какая там биография может быть у семи-восьмилетнего ребенка?

Слушая Сассь, я вдруг словно бы со стороны увидела свое детство, которого я до сих пор все-таки немного стыдилась, в каком-то новом, чистом свете. А Сассь ее рассказ, казалось, вовсе не смущал. Деловито и по-своему, по-детски логично она говорила о жестокой не-логичности жизни своих родителей.

— Я была еще маленькая, когда милиция нашла у нас в печке две шубы, только они были совсем новые и не мамыны и вообще ничьи и потому папу увели в тюрьму. Мама тогда сказала, что она от этого дела умы-ваает руки. Понимаешь?

Потом к нам пришел новый папа, и бабушка увела меня к себе. Ну, потом настоящий папа вернулся и увел меня от бабушки и прогнал нового папу, и тогда мама убежала и больше не вернулась. Потом папа привел новую маму, а у бабушки теперь больше не было де-тей, потому что ведь ее ребенок была моя мама, и она не хотела меня отдавать папе и новой маме. Папа тогда очень рассердился, и бабушка сказала ему «негодяй». А папа сказал: «Кто в этом виноват?» Тогда бабушка сказала еще, что «тебя слишком рано выпустили». А папа сказал: «Ты сама знаешь, кто там должен был сидеть вместо меня...».

Тогда бабушка сильно плакала и сказала, что она любит ребенка. Этот ребенок — я. Папа сказал, что бабушка уже погубила одного ребенка. Понимаешь, не совсем. Ведь совсем-то бабушки детей не губят, да? Это только так говорится, что портят или как там. И папа еще сказал, что своего ребенка он не позволит сделать несчастным. Тогда бабушка обещала меня по-требовать судом, а папа сказал, что этого не будет, лучше он согласен, чтобы ребенка воспитывало госу-дарство, и тогда новая мама привезла меня сюда.

А бабушка каждую субботу приходит сюда плакать и жаловаться воспитательнице, что папа не позволяет мне жить у нее. Я совсем и не хочу у нее жить. Даже ходить туда не хочу, потому что из этого всегда полу-чаются одни только скандалы. И вообще, я уже больше не ребенок. Если бабушке так уж нужны дети, взяла бы и нянчилась с папиным и новой мамы ребеночком. Только они, наверное, не позволят, да? Из-заэтих столкновений (Сассь именно так и сказала — столкно-вений) я и решила лучше бежать. Убегу, как мама убе-жала, и начну новую жизнь...

Эта последняя, конечно, тоже услышанная у взрос-лых и такая многозначительная фраза, была произне-сена как гордый вызов человеческой подлости и делала историю Сассь вдвое печальнее. Я растерялась. Трудно было что-то ответить на этот рассказ. С сочувствием тоже надо было быть очень осторожной. И потому я перевела разговор на Марию. Но здесь я услышала еще меньше утешительного. По крайней мере, тон, в кото-ром вела свой рассказ Сассь, позволял предположить, что своими детскими глазами она видела жизнь роди-телей как бы со стороны, а Марию все плохое пережи-вала очень болезненно.

— Это знает только Сассь, но Сассь не скажет. И ты не рассказывай. Мой папа... Ну, он страшно пьет. — В эту минуту мне опять вспомнился Урмас и его испо-ведь, и я уже раскаивалась, что вообще вызвала Марию на откровенность. Но она продолжала быстро и преры-висто шептать мне на ухо:

— Другой раз его приносят домой, а другой раз он лежит под дверью на полу как мертвый, и тогда он весь грязный и страшный и воняет, и тогда я ужасно боюсь его. Когда он встает, тогда он страшнее всего. Ой, Кадри, ты не знаешь, какой он страшный. Он... он столько раз бил маму...

Опять слезы! Слезы отчаяния, стыда и горя.

Как тяжело, должно быть, этому маленькому сердцу сносить позор своих родителей.

Я еще крепче прижала к себе Сассь и Марию, и мы тихонечко отправились в ту удивительную страну, ко-торая нас всегда так влечет, когда вокруг что-то нехо-рошо, когда нам обидно и грустно и мы беззащитны против «мировой несправедливости». Обычно это путь одиноких. Но бывает, что человек берет с собой близ-кого, верного друга.

Я рассказала девочкам свою историю. Как я когда-то встретила на своем пути лебедя мечты и как с ним всегда можно улететь в любую даль, и для этого совсем не обязательно брать чужие паспорта и устраивать другие неприятности.

Конечно, это была длинная сказка, с множеством приключений и чудес, такая, как любят дети. Такая, какие и мне нравились в их возрасте. Маленькая Ма-рию, сидевшая у меня на коленях,

уходила из мира сказки в мир сновидений. Я чувствовала это потому, что она все тяжелее и тяжелее прислонялась ко мне. А вторая сосредоточенно сопела, захваченная моим рас-сказом и, когда я кончила, сказала:

— Расскажи еще что-нибудь.

И тут между нами произошел такой разговор:

— Тебе понравился этот рассказ?

— Понравился, — последовал решительный ответ. — Почему ты раньше никогда не рассказывала? Расскажи еще.

— Но теперь надо спать, скоро утро.

— Мне ничуть не хочется.

— Видишь, Марью уже спит, и все остальные спят. Я тоже устала.

— А завтра расскажешь?

— Ты хочешь, чтобы я рассказывала?

— Хочу.

— Тогда ты больше не будешь устраивать побег?

— Не буду, — в этом ответе уже слышалась на-смешка над собственной глупостью. — Только, Кадри, ты не должна никому рассказывать, да? Если ты рас-скажешь, я все равно убегу и уже никогда не вернусь.

Я рискнула поцеловать ее в упрямый лобик:

— Не скажу. Будь спокойна. Ты лучше позаботься о том, чтобы вам самим не проболтаться. Только — что же я хотела тебе еще сказать? Ты не торопись с этим побегом. Подожди хотя бы до тех пор, когда сама по-лучишь паспорт. Обещаешь?

— Обещаю, — прозвучало после короткой заминки.

— А чужие паспорта сразу положишь на место?

— Положу.

Тут-то и выяснилось, что именно пряча паспорта в щель за полкой, Сассь заработала свою шишку и все остальные неприятности.

Когда, наконец, я уложила обеих девочек, хорошенько укрыла их одеялами и убедилась, что теперь и мне ни-чего не остается, как лечь в постель, я вдруг почувство-вала такую усталость, что готова была улечься тут же, на полу, около их кроватей. И уже в полусне я сделала еще один вывод: оказывается, совсем не так уж невоз-можно утешить плачущего ребенка, отговорить от по-бега и поставить все на свои места. И, пожалуй, в этом помогла мне ночь и тишина, не нарушаемая треском мельницы раздора.

И еще — выходит, что у меня есть и другие сестры, кроме той малышки, которая осталась дома. У меня большая семья. Странно, многих вещей мы не заме-чаем, хотя они существуют и нам о них говорят, и даже часто говорят. Но они как-то проходят мимо, пока мы их по-настоящему не почувствуем. А как хорошо их чувствовать! ВОСКРЕСЕНЬЕ...

До чего же трудно было вчера вставать! Мне показало-сь, что едва я успела закрыть глаза, как раздался голос Весты и надо было просыпаться. Труднее всего было поднять Сассь. Я старалась разбудить ее, но мои увещевания действовали, как колыбельная песня. Она только посапывала, не открывая глаз. Веста подошла и молча сорвала с нее одеяло. Сассь в своей светло-зеле-ной ночной рубашке лежала в постели, как маленькая гусеница и, сжавшись в комочек, старалась сохранить сонное тепло. У меня было сильное желание снова укрыть ее одеялом и дать ей еще поспать.

Но следя уголком глаза за Вестой, я поняла, что у нее по отношению к Сассь были совсем другие, гораздо более энергичные планы. Поэтому я подошла к Сассь, взяла ее на руки и, сопровождаемая смехом девочек, направилась к умывальнику. Я сделала всего несколько шагов, как Сассь выпрямилась у меня на руках и со-скользнула на пол. Первое, что она мне сказала, было:

— Кадри, ты обещала рассказать сегодня дальше.

Так что это совсем не пустяк — давать в темноте щедрые обещания! Вынь да положь, и непременно се-годня. Из-за банного дня и вечернего киносеанса вчера у нас ничего не вышло, но сегодня я постаралась пол-ностью выполнить свое обещание. Утром я ходила с ними гулять. Теперь, вечером, рассказала им половину своих историй. Кроме того, успела справиться с таким делом, как шитье платьев для кукол.

У нас тут почему-то совершенно забывают, что ма-ленькие девочки играют в куклы. И на всю группу у нас есть только кукла Айны — красавица с закрываю-щимися глазами — и тряпочная лысая матрешка нашей Реэт. Я на практике доказала малышам, что некраси-вую головку можно скрасить шапочкой и даже тряпоч-ная кукла в платье с воланами выглядит вполне при-лично.

Когда Анне, уходя на танцы, спросила меня, как это у меня хватает терпения возиться с детскими тряп-ками, я совершенно напрасно притворилась снисходи-тельной. Мне и самой доставляло удовольствие приду-мывать и шить крошечные платьица. Жаль только, что лоскутков у нас было маловато. Но у меня появилась очень хорошая мысль. Посмотрим, решусь ли я ее вы-сказать.

В общем, нам с малышами было очень весело, осо-бенно, когда все остальные ушли на танцы. И девочки пионерского возраста с удовольствием играли с нами. Какими милыми и славными становятся дети, когда играют. Это видно даже по Айне. Она забыла о своем воображаемом руководящем положении, и с Сассь они даже особенно не ссорились. Я каждый раз успевала во-время вмешаться.

Я как раз отправила малышей умываться, а некото-рых успела даже уложить спать, когда девочки верну-лись с танцев. Обычно после вечеров оживленно об-суждаются впечатления. Под какую пластинку лучше танцевать, какой танец, кто с кем чаще танцует, у кого это лучше получается и т. д. Но сегодня обсуждалась совсем необычная сенсация.

Наверху, в зале, сегодня дежурила воспитательница Сиймсон. Все было спокойно, и танцы проходили как обычно, как вдруг воспитательница встала и, торопливо пробираясь между танцующими, подошла к Энту и Мелите. Что там произошло и что было сказано — ни-кто не знал. Во всяком случае, они оба стояли посреди зала, один с высокомерным, другая с равнодушным видом. Потом Энту что-то ответил. Эта историческая «реплика» не дошла до свидетелей из-за громкой му-зыки и шума в зале. В ответ на нее воспитательница крикнула: «Вон!» так громко, что иголка соскочила с пластинки, а потом Сиймсон подняла руку, словно хо-тела ударить Энту. Выражение лица Энту несколько изменилось и, пожав плечами, он нарочито медленно вышел из зала.

Я так живо представляю себе эту сцену, словно сама ее видела, и если я в этой истории

кого-либо обвиняю, то, несомненно, прежде всего Энту. Поэтому я совершенно не согласна с девочками, которые единодушно изливали свой гнев на воспитательницу.

Тинка была так рассержена, словно кто-то пытался учинить над ней телесное наказание. Она с шумом ото-двинула платяной шкаф от стенного и зашвырнула свои вечерние туфли на полку с такой силой, что они стукнулись об стену.

— Эта Сиймсон — просто мерзкая старуха. И что она, собственно, собой представляет? Мало того, что она вечно тиранит малышей, так теперь и за нас принялась. Ну, пусть только попробует! Ааду тоже сказал, что, в конце концов, для таких вещей существует закон. Надо поговорить с мальчиками и что-то предпринять. Так это оставлять нельзя. Надо идти к директору или...

Я уже ждала, что теперь вступит в игру папа, как Марелле, которая только что вернулась из дому и была в курсе события не больше, чем я, перебила Тинку:

— Вот именно. Напиши своему отцу. Разве это дело! Посмотрите, как она бережет мальчишек своей группы. Защищает их, как лев, а теперь Энрико... Ах, как это можно! Бедный Энрико!

Я смотрела на Марелле, как на какое-то библейское чудо, полное вопиющих противоречий. Так, значит, бедный Э н р и к о! Но и Анне и на этот раз даже Лики считали, что воспитательница вела себя оскорбительно. И что она вообще очень злая и ужасно нервная и по-стоянно сердится и кричит.

— Подумайте, что она делает. У ребят ее группы полный уют — диваны, ковры, новые занавески, радио и тому подобное, а если мы вздумаем попросить лиш-ний кусок мыла — тут сразу начинается — а куда вы деваете мыло? Так и в эту субботу. Я до того разозли-лась. Идешь в баню, просишь у нее кусок мыла, а она тебе проповеди читает. Как будто мыло нужно для чего-то еще, кроме мытья!

Тинка метала молнии.

— Что же ты не сказала, что мы в полночь закусы-ваем мылом, а обмылки используем для подхалим-ства! — перебила Анне.

— Но у нас постоянно забывают мыло в бане или оставляют мокнуть в тазу, — проснулось в Весте ее пристрастие к порядку.

— Опять твои вечные проповеди. Сиймсон и ты — одного поля ягоды, — сердито бросила Тинка.

— Девочки, девочки, ну что вы опять, — вмешалась я. — По-моему, вы сейчас несправедливы к Сиймсон. Ведь сами вы терпеть не можете Мелиту. Всегда гово-рите, как противно она вертится перед мальчишками и вообще... Уж наверное у Сиймсон была какая-то при-чина. Почему она подошла именно к этой паре? И к тому же Энрико умеет так разозлить и обидеть чело-века, что нет ничего удивительного, если... Ну, ударить человека, конечно, нельзя. Но ведь никто и не ударил. Только я должна сказать — нет ничего удивительного, что Сиймсон такая нервная. Помните, как она расска-зывала нам, что пережила за войну. Мне до сих пор жутко об этом думать. А ведь такие вещи не забы-ваются. Да и у нас тут далеко не санаторий...

Мне хотелось напомнить им еще и о том, как часто и по каким пустякам мы сами выходим из себя, но я не рискнула. Ужасно трудно спорить одной против девяти.

— У нас тут вообще так танцуют, что тошно смот-реть. Особенно некоторые девочки, — в

какой-то мере присоединилась ко мне Веста.

— Что ты хочешь этим сказать? — возмутилась Тинка. — Какие это «некоторые девочки»?

— Во-первых, подвинь шкаф на место, а не жди, пока это сделают другие. — Веста не сочла нужным ответить на Тинкин вопрос.

Тинка подвинула шкаф с таким скрежетом и скрипом, что он чуть не развалился.

— И чего ты постоянно крутишь. Говори сейчас же, кого ты подразумеваешь?

— Чего уж тут крутить. Каждый сам знает, как он танцует.

— Нечего попусту волноваться, — примирительно сказала Лики. — Конечно, Веста не имела в виду тебя. В нашей группе, к счастью, ни одна девочка так не танцует. Вы ведь понимаете, о чем я говорю. Можно танцевать плохо, но не противно. Как раз перед тем, как Сиймсон вмешалась в это дело, Свен сказал мне, что Мелита танцует так, словно у нее под ногами мечется угорелая кошка. (Ага, успела я подумать, значит, Свен танцует с Лики!) И это действительно так выглядит. Иногда не знаешь, куда деваться от неловкости, когда такие танцуют с тобой рядом. Многие девочки из четвертой группы пытаются подражать Мелите. Тут действительно надо что-то предпринять. Может быть, по-могли бы настоящие курсы танцев. Наверняка. Ведь на курсах учат не только танцевальным па... Мы обязательно должны снова поднять этот вопрос. Почему же в Таллине в каждой школе устраивают курсы танцев, а у нас? Ничего нет! Какую-то часть денег на оплату курсов мы прекрасно можем сэкономить, если будем сами топить печи, как это делают мальчики.

Лики всегда вносит разумные и деловые предложения и всегда своевременно. Вот и теперь новая тема вытеснила старую, и в комнате снова воцарилось единодушие. И вдруг Лики обратилась ко мне:

— Послушай, Кадри, Свен очень интересуется, почему ты никогда не ходишь на танцы?

— И правда, Кадри, почему, когда мы все танцуем, ты обязательно исчезаешь? — полюбопытствовала Анне.

— Я? Я... мне просто не нравится танцевать.

— Скажи уж лучше, что тебе не нравятся наши мальчики, — засмеялась Тинка.

— У тебя, наверное, в Таллине есть какой-то мальчик. Ты так часто получаешь письма.

Я была даже рада, что разговор принял такой оборот. Может, теперь никто не догадается, почему я покраснела. Ах, значит, почему я не хожу на танцы? Этого я не стану здесь никому докладывать. ПОНЕДЕЛЬНИК...

Утром я пошла в столовую последней. Проходя через гардеробную, задержалась, чтобы причесаться, и вдруг увидела в зеркале Свена, который широким шагом приближался ко мне. Мне показалось, что он как-то странно посмотрел на меня. Я вспомнила, о чем он спрашивал Лики вчера вечером, и быстро опустила глаза. Когда я вновь взглянула в зеркало, он стоял уже за моей спиной, слегка поклонился и поздоровался со мной в зеркале. Я кивнула в ответ. Это было очень забавно. Я не смогла сразу отвести взгляд от того места, где в зеркале отражались большие, темные и чуть насмешливые глаза Свена. Потом резко повернулась и, не оглядываясь, побежала вверх по лестнице. Я слышала, как Свен окликнул меня: «Кадри! Кадри!» В два прыжка он догнал меня на узкой лестнице. Наклонился ко мне и сказал тихо, так, что у меня слегка зазвенело в ушах. Я и раньше замечала, что со мной так бывает, когда я слышу очень низкие звуки. — Кадри, я хотел бы поговорить с тобой.

— Ну, говори, — растерянно ответила я.

— Нет, не сейчас. Сейчас не успею. Я не хочу, чтобы об этом узнали другие. Знаешь, приходи сегодня во время третьего подготовительного урока в музыкальный класс. Придумай что-нибудь. Я там буду упражняться. И нам никто не помешает. Ты придешь?

Для меня это было так неожиданно, что я ничего не сумела ответить. Только спросила:

— Разве это так важно?

— Да. Так ты придешь? — Свен провел рукой по своим темным волосам.

— Это касается меня? — на всякий случай спросила я.

— И тебя.

— А кого еще?

— Всей вашей группы. Ага!

— Хорошо, тогда я постараюсь прийти.

В классе я старалась незаметно наблюдать за Свеном. Как всегда! Совершенно такой, как всегда. На литературе он опять не ответил на половину вопросов. И все-таки у него такой вид, словно он знает гораздо больше чем изволит отвечать. Что-то он, конечно, знает. И что-то такое, о чем он почему-то решил рассказать мне! Что же это может быть? ПОЗДНЕЕ...

Я была там... Во время третьего подготовительного урока я осторожно пробралась к двери музыкального класса. Еще в коридоре услышала, как Свен играет! Очень тихо отворила дверь. И остановилась в темной пионерской комнате. Дверь в музыкальную комнату была открыта. Лампочка, горевшая над пианино, освещала Свена.

С первого дня в этой школе я заметила, что у Свена необыкновенные глаза. Такие огромные, с девчоночьими ресницами. Но что они могут выражать! Это что-то совсем другое, чем пошлые шуточки ребят из нашего класса и насмешки над всем высоким и пре-красным.

Наверное, Свен играл что-то о любви и сновидениях. Я ведь совсем не знаю музыки и если мне не сказать, какая вещь исполняется, то я ее никогда не узнаю, про-сто представляю себе, о чем она. Но спрашивать я стесняюсь. Особенно Свена.

Стоя там и слушая Свена, я вдруг почувствовала ка-кой-то новый, особенно радостный мир и во мне словно бы растаяла та щемящая грусть о том, чего я все равно не могу изменить, от чего мне пришлось отказаться...

— Входи, Кадри! — Свен со стуком захлопнул крышку пианино. Я вздрогнула. Значит, он все время знал, что я стою здесь, в темноте. Я вошла.

— Ты чудесно играешь, Свен.

— Ты так считаешь? — он улыбнулся. — Ничего. Сегодня удалось. Я знал, что ты слушаешь.

Это прозвучало почти ласково. Я не знала, что мне делать. И поэтому быстро спросила:

— Что ты хотел мне сказать?

— Ах, да! — Пауза, в течение которой мы смотрели друг на друга. Голос Свена прозвучал не совсем обычно:

— Это вопрос доверия. Дай слово, что не пробол-таешься.

— Честное слово! — в эту минуту я абсолютно не думала о том, что я делаю. Обещать молчать, когда ты и понятия не имеешь, в чем дело.

В глазах Свена мелькнул хитрый огонек, и он спро-сил:

— Скажи, Кадри, вы и правда в полночь закусываете мылом?

Вряд ли в эту минуту я выглядела особенно умной.

— Почему в полночь? Какое мыло?

— И ты, Кадри, всегда берешь бедных нервно-боль-ных воспитательниц под защиту?

Что-то знакомое послышалось мне в этих словах. Свен явно говорил о вчерашнем разговоре у нас в группе. И я, естественно, спросила:

— А откуда ты это знаешь?

— Вот именно об этом я и хотел поговорить с то-бой, — деловито ответил Свен. — Вчера вечером, когда вы у себя в комнате разбирали Сиймсон по косточкам, она как раз искала в нашем шкафу тренировочный ко-стюм Яана Ласся. Случайно я оказался тут же. Сквозь стенку шкафа мы слышали весь ваш разговор от слова до слова.

Ой, ужас! Что теперь будет?

— Значит, у вас слышно все, что у нас говорится?

— Не всегда. Наверное, только тогда, когда открыты дверцы обоих стальных шкафов.

Ну, конечно, Тинка с ее туфлями, брошенными в стальной шкаф! Обычно у нас перед стальным шкафом стоит обычный платяной шкаф, но именно во время этого разговора его, как назло, отодвинули.

Я мучительно старалась припомнить все подробности нашего вчерашнего разговора. Во всяком случае, для учительских ушей там не было ничего подходящего.

Я на этот раз, пожалуй, очутилась в роли защитника, но это дела не меняет. Эту кашу вряд ли так просто удастся расхлебать. Будь еще кто-нибудь другой, а тут Сиймсон.

О, как мне хотелось, чтобы это сорное зерно никогда не попало в колеса мельницы раздора. Чтобы воспитательница вообще никогда ничем не выдала того, что она случайно узнала. Не знаю, смогла бы я удержаться! от этого, будь я на ее месте. Боюсь, что нет. Пожалуй, ни одна из наших девочек не сумела бы. Хоть бы наша воспитательница сумела! Тайник ВТОРНИК...

Все это время я беспрестанно твержу про себя бабуш-кину мудрость: «Если тебе что-то доверено, то храни это в себе, и будь уверена — от этого ты не лопнешь!»

А я все время боюсь лопнуть. У нас тут подряд слу-чают такие вещи, что мне очень трудно не выдать тайну. Например, сегодня вечером Веста все еще очень раздражена, потому что обложка ее паспорта в несколь-ких местах оказалась сильно поцарапанной. Я знаю, как это случилось, но вынуждена молчать. А Анне возьми, да и начни поддразнивать Весту (при этом она искала в стальном шкафу свои шерстяные носки):

— Из этого ты можешь сделать только один вывод: твой паспорт долго лежал в кармане у Ааду. И его пламенное сердце стучало по твоему паспорту — от-сюда и царапины.

Меня бросило в жар. Кто знает, что еще может на-болтать Анне, стоя у открытой дверцы шкафа. Я вско-чила. Оттолкнула Анне и начала судорожно рыться в шкафу. Я старалась производить как можно больше шума, бросая вещи об стенку. Анне удивленно устави-лась на меня:

— Ты что, заболела?

Пусть думает, что хочет. Главное, мне удалось отта-щить ее от шкафа. Как же я, давая Свену слово, не сообразила, в какое глупое положение могу попасть. А я-то была ужасно тронута и польщена, что самый интересный мальчик в нашей школе доверился именно мне. И к тому же еще его музыка!

Таким образом, я попала в ужасно глупое и, по правде сказать, мерзкое положение.

Мне постоянно приходилось слушать, как наши де-вочки, сами того не подозревая, то и дело компромети-руют себя! А я, из-за своего необдуманного обещания, не смею даже предупредить их!

Нет. Свен не мог хотеть этого. Ведь если бы было наоборот, разве он не предупредил бы своих ребят? Но ведь я бы и не потребовала, чтобы он молчал.

Надо просто взять свое слово обратно. Непременно. Но я уже знаю себя. Стоит Свен посмотреть на меня тем, особенным взглядом, как я начну заикаться, и все получится совсем не так, как я задумала.

Может быть, я смущаюсь при нем потому, что он говорит и держит себя так, словно предпочитает меня другим, или уж не знаю. Во всяком случае, когда он спросил:

— Кадри, скажи честно, почему ты никогда не ходишь на танцы? — и не получив от меня ответа, добавил:

— В следующий раз придешь? Приходи обязательно, я жду, — у него было такое выражение лица, словно бы и в самом деле он только того и ждет, чтобы я появилась на танцах.

А я? Ни на что у меня не хватает смелости — ни правду сказать, когда надо, ни солгать. Я умею только краснеть и заикаться и производить впечатление круг-лой дурочки. Что мог Свен подумать, когда я вдруг бросила его на полуслове и убежала?

Теперь, когда я знаю, что наши разговоры слышали и могут еще услышать за стенкой, я не только замечая, что именно и как у нас говорится и можно ли все это слушать тем, кто, может быть, слышит это сейчас, но, стараюсь припомнить наши прежние разговоры, и в пер-вую очередь, конечно, то, что я сама когда-нибудь говорила.

Сколько глупых и даже совсем недопустимых или уж во всяком случае не предназначенных для чужих ушей, лишних разговоров, может человек вспомнить задним числом. Это даже трудно себе представить. Я всегда считала, что разговариваю довольно вежливо. А теперь, глядя на все это со стороны, я понимаю, что очень многого можно было и не говорить. Получается, словно мы живем сразу несколькими жизнями или мы артисты, которые играют одновременно несколько ролей.

Ученик перед учителем, воспитанник перед воспи-тателем; одно — это девочки между собой, другое — девочки среди мальчиков и так далее.

Не знаю, возможно ли вообще жить так совсем-сов-сем просто. Чтобы никогда не надо было притворяться? Наверное, для этого нужна прежде всего смелость. То, чего мне больше всего не хватает. Я слишком многого в себе стыжусь. Например, не решаюсь сказать, что я такая невежда в музыке.

Но это, пожалуй, не самое страшное. Ведь я не решаюсь даже возразить девочкам, когда думаю иначе, чем они.

А если и возражаю, то как-то наполовину.

Сколько раз, когда в душе мне хотелось вмешаться в чужие споры, я не делала этого. У меня, конечно, не хватит решимости высказать даже свои идеи про на-ших малышей.

В чем же дело? Разве я не уверена, что права? Или я просто малодушна и труслива, потому что совсем не так легко противопоставлять свое мнение мнению дру-гих.

Но и молчать нелегко. СРЕДА...

Занятие в группе. Тема — хорошее поведение. Сна-чала лекция воспитательницы. Потом — главный пункт: Сассь! Айна, разумеется, пожаловалась. Кажется, ди-ректору. На то, что она не будет поднимать эту исто-рию, конечно, нечего было надеяться, хотя последнее воскресенье у нас прошло дружно и мирно. Жалоба ребенка известных и важных родителей — это не пу-стяк! Так считает прежде всего сама Айна. Иначе она не стояла бы рядом с воспитательницей с высокомер-ным видом победителя! Она рассказала всем нам хо-рошо знакомую историю о том, как Сассь ругалась, как вылила на нее «помои», как Сассь постоянно всем про-тиворечит, как таскает в спальню хлеб, и декларативно заключила: она не хочет учиться с такой девочкой в одной школе, быть с ней в одной группе. Ее мама и папа, конечно, тоже этого не хотят.

Лицо Сассь было презрительным и равнодушным.

— Тогда пусть твои папа и мама возьмут тебя из нашей школы, если тебе не нравится. Все равно тебе от школы мало толку. Уже в третьем классе, а читаешь плохо, и ночная дежурная должна тебя будить, чтобы ты сходила пописать...

— Сассь! — предупредила воспитательница. Сассь слегка повернулась и продолжала бубнить:

— И вообще, какие же это помои? Я, что ли, помоями умываюсь? И почему эта капля чистой воды вывела ее из себя?

— Значит, ты считаешь, что воду, которой ты умывалась, можно выливать на других? — многозначи-тельно спросила воспитательница.

— Нет, почему же на других, — искренне удивилась Сассь. — Я ведь только на Айну. Чего она по всякому пустяку бегаёт жаловаться и постоянно доносит.

— Подойди сюда, — воспитательница притянула к себе упирающуюся Сассь. — Посмотри мне в глаза. Вот так. Я с тобой согласна, что жаловаться и доносить — некрасиво. А разве ругаться — красиво? Ты не отве-чаешь? Значит, тебе самой это не нравится. Не понра-вилось Айне, не нравится и мне. Но как ты думаешь, что получилось, если бы каждый, кому что-то не нра-вится, стал выражать свое недовольство таким обра-зом? Потоп, не так ли? И разве ты не боишься, что в таком случае больше всего воды будет вылито на тебя?

При упоминании о потопе в уголках рта Сассь по-явилась усмешка. И может быть, все обошлось бы — Сассь, слушавшая воспитательницу, уже готова была извиниться, — если бы Айна не пришла к выводу, что ее опять обижают. Она была глубоко возмущена, что ее же еще осуждают за жалобы и никто не собирается выгонять Сассь из школы. Собралась было заплакать, видя такую вопиющую несправедливость, но тут же раздумала, так как в разговор вмешалась Веста, не-ожиданно в какой-то мере вставшая на ее защиту.

— Что правда, то правда. Поведение Сассь невоз-можно. Она огрызается по всякому поводу,

и в группе из-за нее вечные неприятности. Особенно в последнее время. И в этом нет ничего удивительного. Те, кому положено смотреть за Сассь и призывать ее к порядку, вместо этого защищают ее и балуют. Даже постель за нее стелят и носят на руках в умывалку. Не хватает еще, чтобы кормили с ложечки.

Я уже знала, раз будет обсуждаться поведение Сассь, то отвечать придется и мне. Я кое-что обдумала, но теперь вдруг струсилa. Я заметила, что глаза Сассь вдруг стали настороженными и почувствовала, как вто-рая маленькая заговорщица, сидевшая рядом со мной, словно напоминая о себе или ища защиты, прижалась ко мне. Я положила руку ей на плечо. Не бойтесь, я ни за что не предам вас. Честное слово родины! Я буду защищать вас, как только сумею.

Я встала. Начала бессвязно:

— Вот уже целый час мы говорим здесь о поведении маленькой девочки. Можно подумать, что мы, все остальные, ведем себя образцово. Ну, ладно, пусть Сассь выражалась некрасиво и недопустимыми сло-вами. И, к несчастью, еще в присутствии Айны. Но от-куда у Сассь эти слова? Она их сама, что ли, придумала? Самое интересное, что сейчас, перед воспита-тельницами, мы все вдруг делаем вид, будто никогда в жизни не слышали таких слов и будто между собой мы изъясняемся только в изысканных выражениях и ве-дем себя образцово. У нас никогда не бывает неприят-ностей и ссор, не так ли? Давайте лучше признаемся честно: разве мы, большие девочки, подаем нашим младшим сестрам, а они ведь нам все-таки сестренки — настолько хороший пример, что имеем право их обли-чать и обвинять?

Раз начав, я не могла остановиться. Я так разгорячи-лась, что мне даже жарко стало, но вскоре мой пыл был охлажден.

— Меня во всем этом интересует только одно, — про-тянула Веста со своим обычным кислым выражением лица, — почему эти наши маленькие сестрички (как язвительно это прозвучало!) — как здесь только что было очень трогательно сказано — не берут примера с тех своих старших сестер, которые не ругаются и ве-дут себя во всех отношениях безупречно? Почему именно у наших прекрасно воспитанных дам такие плохо воспитанные подопечные? Быть может, при всей величайшей мудрости, которая здесь в последнее время процветает, найдется ответ и на этот вопрос?

Итак, как говорится, камень в мой огород. И до-вольно внушительный булыжник. Это, конечно, правда, что именно у меня — а ведь я, пожалуй, ни разу в жизни не ругалась и не собираюсь этого делать и впредь — именно у меня оказалась такая подопечная, как Сассь, которая ругается и вообще плохо ведет себя, и что, на-пример, у Весты, без лишних раздумий употребляю-щей, если придется, совсем не изысканные слова, ее подопечная Марью — самая скромная и хорошая де-вочка в интернате? Что я могла возразить против этого факта? Хотя мне все это и показалось очень неспра-ведливым и подействовало на мои добрые намерения, как ушат холодной воды.

И вдруг помощь подоспела оттуда, где я меньше всего могла ее ожидать.

— Что ты, Веста, говоришь, — вскочила Сассь, — ты думаешь, я не понимаю, что ты думаешь. Ты сама не понимаешь! Кадри, что ли, велела мне ругаться? Дура. Кадри, наоборот, всегда запрещает, и тебе тоже. Если хочешь, я докажу — ради Кадри, что больше никогда на свете не скажу... ну, такого слова. А ты постоянно не пили других. Что из того, что ты староста группы. Как старосте-то и нельзя. И Кадри оставь в покое, вот что. Она все равно в сто миллионов раз лучше тебя, и Кадри надо бы быть нашим ста...

Я потянула Сассь за подол к себе, так что она запну-лась на полуслове, но рядом со мной тут же зазвучал звонкий голосок Марью:

— Кадри рассказывает нам сказки и играет с нами и не задается ничуть, и вообще она никогда на нас не кричит...

От смущения я готова была убежать из комнаты. Похвала очень приятная вещь, но незаслуженная по-хвала хуже осуждения.

— Кто же это на т е б я так страшно кричит? — резко спросила Веста.

— Ты-то, правда, не кричишь, — испуганно отступила Марью. — Только ты...

Девочка прикрыла рот обеими руками. В комнате послышался смешок.

— Ты не кричишь, нет, — вдруг смело добавила Тинка, — только ты иногда так скажешь, что жить тошно.

Веста презрительно бросила:

— Еще вопрос, кому от кого тошно жить.

— Довольно! — голос воспитательницы прозвучал так, что стало ясно — никакие дальнейшие споры не-допустимы, и все же Тинка рискнула:

— Когда-то мы все-таки должны выяснить это положение. Это становится невыносимым. Мы рабы, что ли? По крайней мере, я считаю, что нам надо поднять во-прос о старосте группы.

Воспитательница мельком взглянула на Тинку и сказала деловито:

— Хорошо. Только нетеперь. Посмотрите сами, ко-торый час. Маленьким пора спать. Ну, а теперь быстро! Умываться — и марш спать, Айна! Сассь! Резт! Ну, чего вы ждете. Быстро! Быстро. Раз, два, три!

Указания воспитательницы сопровождались энергич-ными жестами и хлопаньем в ладоши. Затем она снова обратилась к нам:

— Если у вас такое срочное и, как я понимаю, неот-ложное дело, то давайте завтра же проведем новое, чрезвычайное собрание, — в ее голосе слышались чуть насмешливые нотки.

Малыши торопливо собирались укладываться спать. У нас, больших, пока не было никаких дел. Было про-сто как-то неловко. Особенно мне. Опять я не справи-лась с тем, что задумала. Я, правда, уже начала, но, видимо, не с того конца, и сразу заблудилась в трех соснах, а из моих добрых намерений получилось какое-то бессмысленное недоразумение. Главное же так и не было высказано. Я злилась на себя. Неужели я так всегда и буду эдакой беспомощной мямлей, которая мо-жет чего-то достигнуть только в собственных мечтах?

Остальные занимались своими делами. Воспитатель-ница, проводив малышей в спальню, уже вернулась к нам, когда я, неожиданно для себя, выпалила:

— Но мне не дали договорить. Я хотела еще кое-что сказать. Даже лучше, что малышей здесь нет.

Я заметила, что все посмотрели на меня — кто во-просительно, кто удивленно, кто выжидательно. Хотя от этого я стала волноваться еще больше, все же мне удалось взять себя в руки:

— Мне наших малышей просто жаль. Бранить их и командовать — мы все мастера, а в остальном — пусть живут, как умеют! Подумал ли кто-нибудь из нас, что у детей должны быть

детские игры? Хорошо, я понимаю, что у нас здесь пока тесно и что это временное явление, пока еще не готов новый дом. Но ведь это может продлиться еще года два. А до тех пор? Почему же от этих временных обстоятельств больше всего страдают малыши? Неужели мы не можем ничего для них сделать? Хотя бы самой малости.

Мне очень хотелось добавить, что старшие, например, ходят по воскресеньям на танцы, а малыши тем временем в этой тесноте предоставлены самим себе, но я благоразумно умолчала об этом. Мне не пристало об этом говорить. Вместо этого я рассказала, какое удовольствие доставило ребятам в воскресенье шитье кукольных платьев. Они так благодарны, хотя это совсем пустяки. Это было и сегодня по ним видно.

Нельзя ли доставлять им побольше радостей? Взяться всем вместе, раздобыть несколько кукол и сшить им красивые вещички. Не кое-как, а со вкусом, хорошо. Так, чтобы и самим было интересно. Это могло бы быть новогодним подарком малышам от старших. Может, и мальчики согласятся смастерить им какие-нибудь там кукольные кровати, столики, стулья...

— Ну, уж мальчиков-то на это не заманишь. И не мечтай, — уверенно заявила Тинка.

— Безусловно, — подтвердила Анне, — да и не удивительно. Я, кстати, тоже не согласна. Я, конечно, не спору, что это очень милое и трогательное начинание, только все же есть одно маленькое препятствие: где взять на все это время? Тренировки, соревнования, лекции, вечера встреч, всевозможные кампании, постоянные крупные и мелкие мероприятия. Благодарю. Сердечно благодарю. Между прочим, мы все же учимся в школе. Иногда надо бы и учиться. И даже есть и спать, моя дорогая. А ты хочешь открыть еще какое-то кукольное ателье. Я возражаю. Категорически. Во всяком случае, без меня.

Я знаю по опыту, что спорить с Анне не имеет смысла. В особенности, когда она говорит вот в таком серьезном и решительном тоне. Конечно, и Марелле поспешила горячо поддержать Анне.

— Анне права. Ведь времени-то не хватает. Прежде всего надо шить платья самим малышам. До кукол ли тут.

— Ну, да чего только тут не придумают, — протянула Веста, — теперь дошло до кукол! Я сама никогда в жизни не играла в куклы, а выходит, что в десятом классе придется заняться и этим.

Меня удивляет Веста. Сегодняшний вечер должен бы заставить ее задуматься. Я бы на ее месте определенно надолго умолкла. А она — тот же сердитый тон, как ни в чем не бывало!

И не одна Веста. Тут они все вдруг проявили полное единодушие и возражения посыпались со всех сторон.

— Неужели вы и теперь не заметили, какие вы? — вмешалась в наш спор воспитательница. — Быть недовольными и ворчать и обвинять все и всех — это вы прекрасно умеете.

Я поняла, о чем сейчас думает воспитательница. Отдать столько лет своей работе и столкнуться с такой неблагодарностью, как это пришлось нашей воспитательнице, должно быть, не очень приятно. Наверно потому она говорила так громко и ее голос срывался.

— То, что родители, учителя, воспитатели, вся страна и народ должны беспрестанно заботиться о вас, все отдавать вам — для вас это само собой разумеется. Но как только вам самим надо добровольно что-то сделать для других, тут у вас не хватает ни умения, ни времени. Не могу, не умею, не хочу!

— Ну кто же говорит, что не хочет, — начала оправдываться Веста. — Ведь шьем же мы им

платья. Это тоже для них. Только я не считаю, что если с ними так уж нянчиться и возиться, то из них получатся образцовые малыши. Наоборот. Свои кукольные тряпки пусть шьют сами. От этого будет куда больше пользы и...

— Нет, — резко прервала Лики разглагольствования Весты, — сами они, конечно, могут шить, да и шьют. Но сейчас дело не в этом. Кадри права. Мы слишком мало занимаемся ими. То, что предложила Кадри, для начала не так плохо. Даже хорошо. Лучше всего, когда есть возможность сделать что-то конкретное. У меня было бы еще только одно предложение: надо привлечь по возможности все возрасты. Организуем с пионерами, скажем, из старших отрядов, что-то вроде бригад. Будем работать вместе с ними. Им интересно, и нам легче. В каждую бригаду выделим от себя, например, двух руководительниц. Будем помогать выбирать фасоны, рисовать, делать выкройки, подбирать и рассчитывать материал... одним словом, будем учить их всему, чем сами занимаемся на швейной практике. Только, конечно, проще и в меньшем объеме. Нет, знаете, мне кажется, что это может быть очень интересно. У меня уже руки чешутся. Можно даже устраивать соревнования бригад. За лучшие комплекты выдавать призы...

Ах вот она значит какая, наша Лики! А я-то до сих пор считала, что ее популярность объясняется прежде всего спортивными достижениями и успехами в танцах. И только сейчас я впервые заметила, какая Лики изящная и стройная девушка, как хорошо, спокойно и уверенно она держится. И ее руки, часто красноватые и слишком крупные для ее роста, вызывали у меня хорошее теплое чувство. Эти руки всегда умеют во-время и к месту найти себе приложение, и поэтому даже такие обреченные мероприятия, как сегодняшнее, вдруг оживают. Тинка тоже увлеклась:

— Вот это оригинально! Давайте устроим демонстрацию мод. Рабочая одежда, костюмы для улицы, пальто, шубы, спортивные платья, вечерние туалеты и т. д. Разница только в том, что моделями будут куклы. Ой, надо написать бабушке и тете Эме. Напиши ты, Анне. Ты умеешь. Пусть будет жалостно! О малы-шах там и прочее. Важно, чтобы они прислали нам все, что у них лежит в старых чемоданах. Вы ведь не знаете, что у бабушки до сих пор хранятся лоскутки от ее подвенечного платья и всякие там кружева и парча. Все это мы здесь прекрасно используем. Во всяком случае, я беру себе бригаду вечерних туалетов.

Идеи посыпались со всех сторон. Наконец, и Анне уступила, пообещав завтра же поговорить о «мебели» с Андресом, который пользовался в классе влиянием. А Анне в свою очередь лучше всех могла повлиять на Андреса. Неожиданную находчивость вдруг проявила Марелле: создать бригаду маленьких вязальщиц.

Лики продолжала развивать свои планы.

— Все эти вещи можно распределить между малы-шами по выбору или по конкурсу. Скажем, хотя бы так: лучшему октябренку из каждой группы — первый приз и т. д. Нужно разработать условия соревнования. Та-ким образом, одним ударом убиваем сразу двух зайцев. Как вы думаете не обсудить ли нам этот вопрос на следующем собрании? Тогда узнаем и мнение мальчи-ков. Ты, Кадри, сделай короткий доклад. Его можно сформулировать примерно так: забота комсомольцев об октябрятах и работа с пионерами или что-нибудь в этом духе. Там посмотрим.

Воспитательница обещала поговорить с директором и с преподавательницей ручного труда об использовании помещения, инвентаря и материалов. Во время нашего разговора она подошла к шкафу, отодвинула его от стены. И теперь с серьезным видом стояла у открытой дверцы.

— Скажите, что это за беспорядок?

Ее тон не предвещал ничего хорошего. Я вскочила, чтобы навести в шкафу хотя бы какой-то

порядок. Ведь я последняя в нем рылась и все перевернула. Я все время представляла себе, что Свен с другими ребятами может быть, сейчас стоит там, за стенкой и все слышит. Мне хотелось только одного: чтобы воспитательница больше ничего не говорила, не делала никаких замечаний.

И вдруг она, словно между прочим, сказала:

— Девочки, я хотела вас предупредить. Отсюда, от шкафа, видимо, только когда дверцы открыты, в умывальную к мальчикам слышно все, что вы между собой говорите. Учтите это в будущем!

О да, как же можно было этого не учесть! Я уверена, что на всех это открытие произвело такое же впечатление, как на меня, когда я о нем узнала. Каждая мучительно припоминала, что здесь когда-либо было сказано такого, что мальчикам нельзя было слышать.

И хотя как только воспитательница ушла, мы удосто-верились, что с половины ребят не было слышно ни-чего, кроме приглушенных неясных голосов и постарались успокоить себя тем, что, мол, неужели ребятам больше нечего делать, как дежурить у шкафа и под-слушивать наши разговоры, тем более, что дверцы шкафа у нас редко бывают открыты, а теперь мы пре-дупреждены, осторожность никогда не помешает.

А у меня от всего, что случилось сегодня вечером, очень хорошо и легко на сердце. Весь этот сложный узел воспитательница разрубила одной фразой, и во-обще люди прекрасны. Только мы не всегда это заме-чаем, и у нас друг для друга никогда не хватает вре-мени.

Когда я сегодня вечером думаю о воспитательнице, о Лики и о других наших девочках, мне представляется, что каждая из них таит в себе сокровища. Только обычно они тщательно скрыты. И все-таки есть какая-то тайная пружинка, которая может вдруг раскрыть их, и тогда так чудесно!

Хотелось бы знать, у каждого ли человека есть такой тайник? И сколько в нем сокровищ?
ЧЕТВЕРГ...

Наш вчерашний необычный план, говоря по правде, провалился. Во всяком случае, в том виде, как был за-думан первоначально. И может быть, мы вообще отка-зались бы от этой идеи, если бы воспитательница не напомнила о ней.

Мы сидели и не знали, с чего начать. Может быть, и не хотели. По крайней мере, мне уже ничего не хоте-лось. Поглядывали друг на друга, а Веста хмурилась. Я уже собралась было предложить перенести обсу-ждение этого вопроса, как вдруг воспитательница спро-сила:

— Ну, так как же? Вы недовольны своей старостой группы?

Мучительная пауза.

— Может быть, я вас неправильно поняла? Может быть, как раз очень довольны?

— Конечно, нет, — в голосе Тинки слышались бое-вые нотки, и она упрямо подняла голову.

— Почему у нас должен быть именно такой староста?

— Чем же ваш староста нехорош? — деловито спро-сила воспитательница.

— Только и знает, что с утра до вечера ворчит на кого-нибудь из нас, — храбро заявила Тинка.

— И так уж совсем без причины? — допытывалась воспитательница таким тоном, что Тинка сначала даже смутилась.

— Ну, ладно, — согласилась она. — Если у нее и бы-вают причины, все же можно было бы разговаривать повежливее. Зачем постоянно ворчать? Почему она го-ворит с нами так, как будто мы ее подчиненные или рабы? Разве так уж трудно говорить нормально?

Теперь вмешалась Анне:

— Еще чего захотела. Если с вами говорить как с равными, то кто поймет, где же староста группы.

Анне так здорово изобразила Весту, что та, наверно, и вправду узнала себя.

— Во всяком случае, у меня нет другого голоса, как тот, что мне дан, и если он не нравится, то...

Веста пожала плечами.

— Почему же нет! — возразила Тинка. — А как ты умеешь разговаривать с учителями и воспитателями?

— Может, ради тебя мне следовало бы заняться по-становкой голоса? — не сдавалась Веста.

— Это бы твоему голосу не повредило, — поддела ее Анне.

— Довольно пререканий! — решительно прервала воспитательница. — Кто-нибудь из вас хочет сказать по существу?

— Самое существенное в том, что нам надо выбрать нового старосту, — прямо высказалась Тинка.

— И тогда ваши отношения сразу улучшатся? — спросила воспитательница. — Как считают остальные?

Но остальные не знали, как они считают. Если так ставить вопрос, то... Но оставить Тинку в беде тоже не годилось. Она ведь говорила от имени всей группы и, в общем, правильно. Даже Лики молчала.

— Предположим, что вы выберете кого-то другого. А у нее разве не может быть недостатков? — спросила воспитательница. — Скажите сами, кто для вас доста-точно хорош? Ну, например, кто-нибудь из учителей или воспитателей в наших глазах заслуживает пощады? Подумайте об этом. Разве есть хоть кто-то, о ком бы за спиной вы никогда не говорили плохо? Теперь вдруг вам не подходит выбранная вами староста группы. Я при ее выборах не присутствовала. Но, если ваша воспитательница и, главное, вы сами ее выбрали, то для этого у вас несомненно были основания и не следует об этом забывать. Со своей стороны, я могу сказать одно: пока я выполняю обязанности вашей воспита-тельницы, у вас не будет никаких перевыборов. Вы мо-жете опять ошибиться в вашем выборе. Да и я пока не могу сказать, что хорошо знаю каждую из вас. Но я обещаю вам одно: поскольку каждый считает, что знает себя лучше всех, то та из вас, которая думает, что будет лучшим старостой, чем Веста, может сразу занять ее место.

Мы, конечно, молчали, опустив глаза.

— Я жду... Таких, значит, нет? Ну, тогда не стоит терять времени. Будем расходиться.

Все это было еще вчера. А сегодня вот что произо-шло. Анне, изучавшая список дежурных, вдруг стала бурно протестовать:

— Послушай. Веста, что ты тут опять наделала? Оду-рела, что ли? Опять в воскресенье я на кухне! Простой раз я была в субботу. Ты что, боишься, что я от-правлюсь в церковь? Честное слово, тебя следует све-сти к врачу.

— Извини, но с л ы ш у я пока еще нормально. Нельзя ли чуть потише? — при этом Веста бросила многозна-чительный взгляд в сторону шкафа и продолжала: — Кого же я должна была назначить? Очередь Марелле, но у нее мама заболела, ей непременно надо в воскре-сенье побывать дома. У твоей подруги, как ты знаешь, билет на дневной концерт. У Лики — соревнование, Роози только сегодня...

Честное слово, услышав голос Весты, я на мгновение настолько растерялась, что добровольно вызвалась от-дежурить, хотя на этой неделе уже дежурила на кухне.

Вообще в последнее время, после того, как мы узнали, что наши разговоры можно услышать со стороны, в комнате словно бы появился маленький глушитель. Мо-жет быть, потому, что каждая из нас за эти дни обду-мала, что и когда она говорила. Если это так, то тут, пожалуй, будет к месту привести знаменитую фразу Анне, которую она обычно произносит по утрам, при-ступая к молочному супу (а в последнее время поче-му-то это случается слишком часто):

— Мы извлекли пользу и из этого печального собы-тия. ПЯТНИЦА...

Итак, сегодня состоялось официальное «кукольное» собрание. Конечно, все было так, как Тинка предска-зывала с самого начала. Мальчики в таком деле не по-путчики. Разве же таким молодым людям годится во-зиться с куклами. До чего же я все-таки простодушна!

Притворно-внимательный вид Энту и приподнятая бровь Свена с самого начала привели меня в такое за-мешательство, что я заикалась и запинаясь, словно подбивала ребят на ограбление госбанка. Спасая поло-жение, я использовала Ликины доводы:

— Кроме того, нас постоянно упрекают, что в ком-сомольской работе мы не проявляем инициативы. Это была бы одна из возможностей и...

— Ур-ра! — заревел Энту. — Кадри Ялакас наконец-то выступила с мощным патриотическим почином — семилетка кукольных тряпок.

У Энту в отношении меня почти всегда прямое попа-дание. Все остальное я высказала уже скороговоркой. Самую последнюю фразу, кажется, даже не договорила. Мне и самой было ясно, до чего все это наивно. Пред-ложить мальчикам снизить до интересов октябрят! О, если бы Урмас все еще был бы моим однокласни-ком! Уж он-то все понял бы!

Конечно, если все это представить себе со стороны, то... в то время, как другие комсомольцы поднимают целину, а на заводах передовики и новаторы своими руками помогают строить коммунизм — я здесь при-зываю делать кукольную мебель! От неловкости я была готова захныкать, как октябренок.

Ну вот, теперь взяла слово Веста! Что-то будет?

— Не стоит торговаться. Не хотят и не надо. Это дело добровольное. И какие уж там мастера и специалисты для этого требуются. Что-то выпилить из фанеры и сколотить. Просто надо найти деловой пионерский отряд, который заинтересуется этой работой. Это я беру на себя. Поговорю с начальником мастерской и...

— Послушай, у нас тут не какая-то столярная ма-стерская, — со своим обычным превосходством заявил Ааду.

— Пока еще точно не установлено, что там у вас есть и что в этой вашей мастерской делается, — пари-ровала Веста. — Пара отремонтированных пробок, какие-то обрезки

проводов — и уже задираете носы! Сами ни с чем по-настоящему справиться не можете, где уж тут другим помогать.

— Почему ты, Веста, говоришь неправду? — прозвучало совсем рядом со мной. Конечно же, только Марелле может таким образом устанавливать истину. — Как же так? Они делают такие красивые лампы, а Энрико починил измерительный прибор, чего даже инженеры не могли сделать...

Сами мальчишки громче всех смеялись над своей простодушной защитницей. Это заставило Марелле замолчать, и Веста продолжала:

— В прошлом году были приняты здорово большие обязательства: радиофицировать всю школу и интернет. Свой радиоузел — чего только не написали! Где все это? Теперь опять — оборудуйте господам специальную мастерскую, если хотите, чтобы они смастерили что-нибудь из обрезков фанеры.

Что и говорить, если Веста возьмется, то обязательно доведет дело до конца. Конечно, совершенно по-своему и не отдавая себе отчета, правильный ли путь выбрала. СРЕДА...

Я уже несколько раз собиралась написать о новом увлечении Анне, но мешали другие, более важные события. Дело в том, что у Анне все карманы полны записок. На одной стороне написаны разные иностранные слова, на другой — их значение. Уже довольно давно она использует каждую подходящую и неподходящую минуту, чтобы зазубривать их.

Сегодня вечером она опять занималась этим делом так старательно, что я устала смотреть на нее. Слышала, как она бормочет:

— Баркарола, баркаролы — песня венецианских лодочников, а также лирическое музыкальное произведение... Послушай, Тинка, назови мне какое-нибудь лирическое музыкальное произведение.

— Какое лирическое произведение? — удивленно спросила Тинка.

— Какое! Какое! — рассердилась Анна. — Если бы я знала какое, зачем бы тогда спрашивала? Ты когда-нибудь слышала слово баркарола?

— Баркарола? Почему же нет? Это песня у итальянцев... Нет, постой, да, правильно — и в музыке тоже. Например, у Чайковского есть прелестная баркарола во «Временах года». Июнь, знаешь... — Тинка даже промурлыкала немножко, а потом, оборвав мотив, спросила лукаво:

— С каких это пор тебя так интересует музыка?

В этом был явный намек. Но Анне, казалось, не обратила на него внимания. С деловым видом вынула из кармана следующую записочку, мельком взглянула на нее и, демонстративно повернувшись к Тинке, которая в этот момент поставила одну ногу в раковину и старательно поливала ее холодной водой из крана, так, чтобы Тинка слышала, громко повторяла:

— Гиббон — длиннорукая, бесхвостая обезьяна!

— Знаешь, брось ты эти дурацкие бумажонки! — стараясь перекричать плеск воды, крикнула Тинка.

— Говори по-эстонски, тогда, может, и сама поймешь, — добавила она, смеясь, любимую фразу Анне, которую та произносит всегда, когда кто-нибудь пытается выразиться слишком вычурно и изысканно.

Анне спокойно продолжала заниматься своим делом:

— Дебют — первое или пробное выступление... — Заглянула в бумажку: — Точно, дебют. — И даже за-крыла глаза. Затем, посмотрев на другую бумажку, сказала неожиданно громко:

— Ужасное фо па, девочки, но соревнование мы про-играем. Ясно как день.

— Честное слово, ты вылитая тетя Эме! — засмея-лась Тинка, ставя в раковину вторую ногу.
— У той тоже нет других слов как фо па да фо па.

— Анне права. Безусловно, проиграем, — попыта-лась Марелле подхватить слова Анне. — Я как-то но-чью видела именно такой сон. Девочки из второй школы были в нашей столовой и выбрасывали из супа куски мяса прямо на пол. Я еще хотела их подобрать, но ты, Анне, не позволила.

— Очень хитро придумано. Словом, все мячи поле-тят в пол. Только уж ты не бойся, что я тебе не поз-волю их брать, — иронически возразила Анне и тут же обратилась к своему «карманному словарiku».

— Граль — что-то вроде святого горшка или бу-тылки. Ну, правильно, легендарный чудотворный кубок в древних сагах.

— Скажи все-таки, почему ты так уверена, что мы в субботу проиграем? — в свою очередь допытывалась Лики.

— А так. Совершенно логичный вывод. Я вам сове-тую, девочки, все-таки научиться мыслить логиче-ски. — Анне поразительно точно изобразила Прямую, которая неустанно повторяет, особенно, нам, девочкам, что логика у нас хромает на обе ноги.

— А чего ты хочешь при молочном квантуме, кото-рым нас пичкают ежедневно?

— Но какое отношение имеет молоко к соревнованиям? — удивилась Марелле. По ее мнению, одно стоя-щее сновидение может, пожалуй, гораздо сильнее по-влиять на человеческую судьбу, чем какое-то пошлое молоко. Однако и остальные девочки не совсем по-няли, что Анне хотела сказать. Анне бросила на Ма-релле соблезнующий взгляд.

— Ох, голова-головушка, ты и впрямь иногда го-дишься только на то, чтобы шапку носить.

Не знаю, но, пожалуй, было бы лучше, если бы Ма-релле не выражала такой готовности рассмеяться на любое замечание Анне.

— Ладно, Анне, голову Марелле оставь лучше в по-кое, и скажи, наконец, что общего между молочным супом и соревнованием по волейболу? — в свою оче-редь спросила я.

— а о чем же я по-твоему говорю? — умничала Анне. — Именно об этом самом. Неужели не понятно? Молоко, со всеми его ценными калориями, предназна-чено природой в качестве горючего, главным образом, для телят. Отсюда вывод: если наше меню и в даль-нейшем будет состоять только из молочных супов, то на волейбольной площадке мы непременно будем вы-глядеть, как телята.

Тинка прыгала на одной ноге, вытирая вторую и чуть не упала от смеха.

— Ох и скажет же эта Анне!

— Несчастные, сами же смеются, — развела руками Анне. — По существу, это не что иное, как логический вывод.

Когда позднее мы с Анне остались в умывалке вдвоем, и она продолжала заучивать свои иностран-ные слова, я спросила, зачем она этим занимается. Анне смерила меня особенным, словно бы оценивающим взглядом, усмехнулась и ответила:

— Хочешь, я расскажу тебе одну забавную вещь. Только смотри — ни звука. Ой, если бы ты слышала, как я засыпалась в то воскресенье, когда была вся эта заварушка с Мелитой и Энрико! Ты бы просто лопнула от смеха. Я, как всегда, танцевала с Андресом. Вообще этот наш Андрес странный тип. Слишком много разго-варивает. Ты ведь знаешь. Здесь, в школе, все торже-ственные речи поручаются ему. А когда танцует со мной — только сопит. Между нами говоря, я опасаясь, что он про себя отсчитывает такт, чтобы не сбиться с шага. Безусловно, ему следовало бы стоять у стенки и там отсчитывать такт, так ведь нет! Первым мчится через весь зал и обязательно ко мне. Против самого Андреса я, в общем-то, ничего не имею, но иногда хо-чется потанцевать с кем-нибудь другим. Я чувствую, что перенимаю его дурацкий стиль. Пожалуй, уже и не сумею танцевать с другими. И о чем бы я с ним во время танца не заговорила, он все сводит к науке, а когда сам начнет говорить — получается чистейшая политинформация. Как будто я сама не могу прочесть газету!

Но в тот раз мы говорили о Мелите и Энрико. Я уже не помню, по какому поводу Андрес сказал, что Мелита инфантильна. И представь себе, я почему-то ре-шила, что инфантильная — значит что-то привлека-тельное, красивое и почетное. Откуда-то из истории или литературы мне запомнилось, что инфанта — значит принцесса. Одним словом, я ужасно влипла. Прежде всего, конечно, разозлилась и налетела на него. — «Ка-кая там инфантильная! Едва отличает фокс от танго. Посмотри лучше, как отвратительно она танцует — а ты сразу — инфантильна! Скорее уже я или любая из нас инфантильна, чем эта...» Больше я не успела ска-зать. Андрес прямо обессилел от смеха.

Я подобрала с полу его очки и вежливо усадила его на стул. Чуть ли не книксен ему сделала.

Хорошо еще, что у Андреса есть одно великое досто-инство — он умеет молчать. Об этом деле он никому не разболтал и не разболтает. Надеюсь, и ты тоже.

Можешь себе представить, что я пережила, когда на другой день прочитала в словаре, что значит слово ин-фантильный. Во всяком случае, еще раз никому не придется так смеяться надо мной. Понимаешь? Вот по-тому-то я и учу иностранные слова. Есть люди, которые самостоятельно изучили латынь. Почему же я не могу выучить все иностранные слова, которые встречаются в нашем языке, тем более, что большинство из них ла-тинского происхождения. Я уже добралась до «д». К весне обязательно пройду весь словарь. Кроме всего, это интересно и поучительно...

Все это я прекрасно понимаю. Совсем не весело, ко-гда тебя высмеивают. В особенности такой умнице, как Анне. Она взялась за трудное дело, но я уверена, что осилит его. Я предложила заниматься вместе. У меня самой выписана целая куча разных иностранных слов, встречавшихся мне в книгах или в разговорах. Анне охотно приняла мое предложение. ЧЕТВЕРГ...

Когда сегодня вечером воспитательница вызвала меня к себе, я была уверена, что ничего хорошего это предвещать не может. Я мысленно перелистала самые черные страницы своего «черного прошлого», но не могла догадаться, в чем же, собственно, дело и зачем все-таки она меня вызывает. Все остальные уже там побывали, а теперь, значит, настал мой черед.

Успеваемость у меня не снизилась. Сассь тоже за последнее время ничего особенного не выкинула. Я по-пыталась уличить себя в самом смертном с точки зре-ния воспитательницы грехе — в заигрывании с маль-чиками. Но как я могла с ними заигрывать? Во-первых, я, по своему характеру, просто боюсь их, а из-за Энту стала их даже слегка презирать. Кроме того,

я сопри-касаюсь с ними гораздо реже, чем другие девочки, по-тому что не хожу даже на танцы.

И вдруг меня осенило — а что, если...? Ой, а вдруг Сиймсон пронюхала о моей тайной встрече со Свенном, там, в музыкальном классе?

Не могу сказать, чтобы мне было особенно радостно, когда вечером я отправлялась к воспитательнице. На всякий случай начесала волосы на лоб и на щеки, чтобы не так бросалось в глаза, если придется краснеть.

И конечно же, воспитательница встретила меня сло-вами:

— Это еще что за маскарад? Сейчас же причешишь прилично.

Тяжело вздыхая и чувствуя себя совсем плохо, я исполнила это приказание. Однако свет лампы под розовым абажуром действовал успокаивающе, и даже черные глаза Сиймсон казались сейчас немного мягче. Когда я вошла, по радио как раз передавали отрывок из «Лебединого озера». Это, по-моему, самое лучшее место.

Мы обе прислушались. Потом воспитательница спро-сила:

— Ты была на «Лебедином озере»?

Не знаю, умышленно или случайно она спросила об этом, но вопрос прозвучал как-то очень серьезно и значительно. Да, я думаю, что была на «Лебедином озере»! Я ответила не совсем так, но при этом расска-зала ей гораздо больше, чем нужно. По радио уже давно передавали последние известия и сводку погоды, а мы все еще не могли уйти от художественных выставок, хороших концертов, театров и кино, разделяли судьбы наших любимых героев и даже побывали на берегу моря. Вообще везде, где было что-то прекрасное и вдох-новенное. Конечно, опыт воспитательницы был куда богаче, чем мой, но я говорила о своем гораздо больше. Даже слишком много. Я уже открыла все свои карты — кажется, так говорится, как вдруг она спросила:

— Тебе, Кадри, здесь у нас не нравится?

Я почувствовала себя так, как может чувствовать человек, нечаянно севший не в тот поезд. Хорошо еще, что я сумела вовремя остановиться, а то ведь могла бы сгоряча рассказать все. К счастью, я сообразила, что говорю с человеком, работа которого главным образом в том и заключается, чтобы мы здесь чувствовали себя хорошо, чтобы нам нравилось, чтобы мы были совсем как дома, и я пожала плечами.

— Видишь ли, Кадри, ваша группа по существу очень хорошая группа. Только у вас одна беда: вы все из очень разных семей. Возьмем хотя бы Весту. О том, как она жила раньше, вы едва ли что-нибудь знаете. Сама она, конечно, об этом не говорила, а если и гово-рила, то одной только Лики. Это и правильно. Чем меньше о таких вещах знают и помнят, тем лучше. Понимаешь? Я знаю о ее детстве. Мы из одних краев. Несомненно, бывали дни, когда ей ни разу не прихо-дилось поесть, но вряд ли проходил хоть один день без побоев. Я сама добилась, чтобы она уехала оттуда. Вот и попробуй мерить одной меркой жизнь Весты и Тинки.

И тут, без всякого перехода, воспитательница обрати-лась ко мне с новым вопросом:

— Скажи, Кадри, твои родители верующие?

Я глотнула воздух. Верующие? Я вспомнила мачеху и почему-то в сверкающем, серебристом, очень открытом платье. И ее чудесные зубы тоже сверкнули в па-мяти. Словно какая-то языческая богиня, красивая и властная. Такая, что даже отец ей словно бы покло-няется. Но

в этом нет ничего общего с религией. Даже моя бабушка, прекрасно знавшая Библию, совсем не была верующей. Я осмелилась усмехнуться:

— Откуда вы это взяли?

— Так, Я ведь ничего не знаю о твоих родителях. Но скажи, Кадри, почему ты не ходишь на танцы?

Опять! Неужели мне никогда не избавиться от этого вопроса? Нужно было что-то ответить, и я вдруг ска-зала чистую правду:

— Я не умею танцевать.

— Ну? — Этот единственный слог вмещал столько, что я была вынуждена защищаться или хотя бы оп-равдываться. Рассказала, как много я болела в детстве (правда, я не упомянула при этом, как ко мне в то время относились), как у меня случилось несчастье с ногой, но как раз когда нога поправилась и все уже стало налаживаться, мне пришлось ухаживать за боль-ной бабушкой. Мне тогда было не до танцев, а позднее мне уже и самой не хотелось.

— А теперь?

Теперь? Теперь уже поздно. Куда уж мне теперь выставлять себя на посмешище? Нет, спасибо! Всем этим я переболела в детстве. Сыта по горло. Конечно, этого, последнего, я не стала говорить воспитательнице. Вместо этого плела что-то о сверхблагородных, высо-ких мотивах и высокомерно заявила:

— Честно говоря, я совсем не в восторге от танцев. Что это, собственно, такое? Просто дикарский обычай. За это время можно успеть сделать что-нибудь толко-вое. Например, почитать хорошую книгу или послушать музыку. А танцевальная музыка такая... Ну, просто глупая и пошлая. И вообще, вы заметили, кто именно больше всех увлекается танцами? Обычно те, кто...

Хорошо, что в этот момент я подняла глаза и взгля-нула на воспитательницу. У нее было сейчас как раз такое выражение лица, которого я больше всего боюсь. И от этого я, со своими высокими духовными интере-сами, показалась себе просто маленькой смешной при-творщицей.

— Ну, так, — сказала она после короткой паузы, — значит, виноград-то зелен.

Хорошо и то, что я поняла, что она хотела этим ска-зать.

Когда я потом докладывала девочкам, о чем мы там с воспитательницей беседовали, и когда я с соответст-вующими купюрами добралась до того места, когда вос-питательница сама обещала позаботиться, чтобы в бу-дущем полугодии у нас были курсы танцев, началось всеобщее ликование и восторг.

Я сижу сейчас и потихоньку про себя думаю: разве на этих курсах все остальные не будут выглядеть куда лучше меня. Но я хочу попытаться. Ведь когда-то я научилась даже кататься на коньках. ПЯТНИЦА...

Дежурной по кухне вчера была Тинка. Анне сначала исчезла куда-то вместе с ней, но немного погодя вер-нулась наверх и еще в дверях объявила, преисполнен-ная горечи:

— Девочки, опять молочный! Честное слово, это уже злит. Да еще и пригорел. Здесь, по-видимому, счи-тают, что у нас телячье пищеварение. Неужели ни в чем, кроме как в молоке, нет этих знаменитых кало-рий? Я просто не понимаю, что это такое. Двадцатый век, самая передовая в мире страна, а у нас в школе-интернате, словно в диккенсовском

рабочем доме. Честное слово, у меня от этого однообразия скоро начнется желтуха. Посмотри, Кадри, у меня еще не пожелтели белки?

Она повернулась ко мне и широко раскрыла глаза.

— Слегка лимонного оттенка, да? — спросила она и продолжала, не дожидаясь ответа. — Заявляю, что я не съем сегодня ни одной ложки. И советую всем сделать то же самое. Если мы все не будем есть, им придется немножко призадуматься. Нет, девочки, совершенно серьезно. Так и сделаем. Ни одна из нас сегодня не будет есть молочный суп. И не притронемся к нему. Правильно? Так мы и сделаем!

С каждым словом Анне все больше и больше входила в азарт. В самом деле, а почему бы так не сделать? Жалобы классной руководительнице не дали никаких результатов, кроме разве лекции о том, сколько калорий содержит та или иная пища и как вычисляется весь наш рацион питания.

Анне уже прикинула, сколько девочек из нашей группы присоединится к ней. В наших одноклассницах из других групп она была почти уверена.

— Не есть! Дружно продемонстрировать свой протест!

— Девочки, единомышленницы, теперь или никогда! — с пафосом воскликнула Анне. — К тому же сегодня нет Сиймсон. С ней было бы посложнее. Итак, все складывается удачно.

Конечно, совсем не сразу все пошло гладко. Во-первых, Веста выступила со своими условиями: она готова участвовать в этой истории только в том случае, если суп действительно пригорел. Анне сверкнула зубами:

— Послушай, я не успеваю и правду-то всю до конца высказать, с чего бы мне еще лгать.

Веста не настаивала.

— Я и не говорю, что именно ты лжешь. Но у нас тут принято всегда все преувеличивать. Ведь и молочный суп у нас бывает совсем не каждый день.

Хотя и не каждый день, но достаточно часто. Это верно. Настолько часто, что на него больше и смотреть не хочется. Почему бы не попробовать протестовать. Нам, девочкам, надо начать. Прежде всего уже потому, что мы завтракаем раньше мальчиков. Лики думает, что большинство наших десятиклассниц присоединится к нам. Разве что за редким исключением. Высказывая это предположение, она многозначительно взглянула на Марелле, а та уже заняла:

— Ой, боже, не делайте вы этого. И ты, Лики? Тебе бы надо других остановить. Бросьте вы это. Я сегодня видела во сне, что директор ел булку. А такой сон обязательно не к добру. Ой, как я боюсь. Чем все это кончится? Что-то будет?

— А что же будет! И почему? — возражала Анне. — Будет то, что тебе придется полдня поголодать. Пищеварение отдохнет и голова прояснится. И Прямой первый раз в жизни ответишь на чистую пятерку, помани мое слово. Оно сбудется и без сновидений. А в итоге ты станешь на двести граммов красивее!

Марелле продолжала причитать:

— А что, если позовут директора?

— Дурочка! Как раз директор-то нам и нужен. Довольно дипломатических переговоров с классным руководителем в своей группе. Прекрасные лекции о питательности и

калорийности молока я и сама могу про-читать. Нам нужна разнообразная пища, а не лекции.

И вдруг, остановившись перед самым носом Марелле, она выпалила:

— А ты, толстуха Ламме и сновидица, послушай, дезертир, ты все равно выпадешь из игры. Плетешься в хвосте. Будешь сидеть за столом с малышами и тру-сами. С тобой покончено! Понятно?!

Марелле захлопала ресницами, ее мягкий подбородок слегка задрожал.

— Что ты на меня ругаешься своими иностранными словами. Я что ли придумала этот молочный суп? И что поделать, если у меня сны? Просто у меня такая внутренняя жизнь, я чувствительнее других. И я не понимаю, за что ты меня так страшно ненавидишь...

С отчаянием всплеснув руками, Анне обратилась к нам:

— Слышите? Вы все слышали? Вот какая внут-ренняя жизнь проявляется. Ну, что с ней делать? И вообще — ты ей говоришь о восхождении на гору, а она тебе почему-то о вставных зубах!

Анне махнула рукой и тут же перешла к более сроч-ным вопросам. Как все устроить, какой «удар» кому поручить. Анне горела и бушевала и мы все, одна за другой, загорались, как куча хвороста. Маленькая Сассь, вертевшаяся тут же, была охвачена волнением до самого хохолка на затылке. Она беспрерывно пры-гала словно бы через невидимую скакалку и, наконец, не удержавшись, перебила Анне:

— Мы тоже! Правда, Анне, и мы тоже! Марью и так никогда не ест молочный суп. И я не хочу. Реэт всегда оставляет полтарелки. Мы тоже с вами. Да? Да, Анне?

Анне кинула на Сассь быстрый, оценивающий взгляд.

— Ведь вы уже через час начнете пицать от голода!

— Ну что ты выдумываешь? Когда это я пицала? Ведь я не Айна. Что мы тебе сделали, что ты нас не принимаешь? — На воинственном лице Сассь явно бо-ролись два чувства — восторг и обида.

— Хорошо. Пусть так! Наша группа в полном со-ставе. Ты, Кадри, возьмешь малышей под свое покровительство. Ты лучше всех справляешься с ними. Сассь тебе поможет. Только чтобы потом ни единого писка! — Анне погрозила пальцем. Потом хлопнула себя по лбу. — А ведь, верно — Айна? Где она? Неужели уже успела убежать жаловаться?

Мы бросились искать Айну.

— Нет, Айна еще и не вставала, — сообщила Реэт.

— Это хорошо. Ее бы надо по возможности вообще держать от этого дела подальше, — беспокоилась Анне, как полководец по поводу возможного предателя.

— Не бойся, — успокоила ее Сассь, гордая значи-тельностью доверенной ей задачи. — Об Айне позабо-чусь я. Уж я-то с ней справлюсь.

Лицо Анне осветилось мимолетной улыбкой:

— Смотри только, не вздумай ее опять утопить в тазу, — и вдруг воскликнула: — А лозунг? Девочки, как же я об этом позабыла! Который теперь час? Ага! Остается еще полчаса. Успеем. Вполне, — и, повернув-шись к Лики, скомандовала: — Ты останешься здесь и

быстренько сделаешь лозунг. Поначалу я тебе помогу.

— А мне можно остаться? — угодливо предложила Марелле. — Ты гораздо нужнее внизу.

— Ладно, — приняла Анне предложение Марелле. — Останемся втроем. Надо придумать текст лозунга. А все остальные немедленно вниз! Занимать места.

Когда мы уже выходили, Анне крикнула нам вдо-гонку:

— Только не трусить! Ни с кем ничего не случится. Поверьте. А если потом спросят, кто зачинщик, то гово-рите прямо — Анне! Анне Ундла!

Что-то необычайно гордое и победное было в том, как она назвала нам свое имя.

За дверью столовой было всего несколько человек. Переговоры с ними оказались успешными. Приходив-шие вновь в большинстве случаев попадали в наши сети, только очень немногие держались пока в стороне. Я сосчитала. Нас набралось пятьдесят два человека, а чтобы заполнить один зал столовой, требовалось восемь-десят. Целых восемьдесят единопдушных девочек!

Понемногу небольшими группами подходили осталь-ные девочки. Скоро нас стало восемьдесят три, потом сто. Мы обошли всех, ряд за рядом.

— Согласны? Ясно?

— Присоединяемся.

Больше всего суетилась, конечно, Сассь, которая вдруг куда-то исчезла, а теперь опять появилась около меня. Она сновала по рядам, как ткацкий челнок. Даже маленькая Марью, судорожно уцепившаяся за мою руку так, что я чувствовала, как ее испуганное сердечко бьется в горячей ладонке, — даже она ни разу не ска-зала, что не хочет или не может участвовать в этом деле. Когда я ей тихонько шепнула, что она может прийти под конец и ей совсем не обязательно участво-вать, она решительно покачала головой и еще крепче ухватилась за мою руку.

Но в то мгновение, когда дежурная учительница от-крывала дверь, среди нас послышался испуганный шелест. То здесь, то там слышалось:

— А где же сама Анне?

Это сама насторожило меня. Словно мы и в самом деле всю ответственность за то, что здесь происходит, переложили на одну Анне.

Я еще раз торопливо обошла ряды.

— Если спросят — нельзя называть ни одного имени! Вместе решили — вместе и отвечать будем. Это совер-шенно добровольно. Кто не хочет участвовать, кто очень хочет есть — пусть сразу идет в конец очереди. Послед-ние столы, те, что ближе к двери, предназначаются для них.

Я не заметила, чтобы кто-нибудь вышел из ряда и перешел в конец очереди. В последнюю минуту шумно ворвалась Анне, за ней следом Лики и Марелле. Ма-релле была бледная, как известка, и выглядела совсем больной. Она вошла последней.

Дежурная учительница, видимо, заметила в нас что-то особенное, потому что спросила:

— Что с вами сегодня?

Этот вопрос был, конечно, вызван необычной тишиной, царившей сегодня в столовой. Это было короткое затишье перед бурей.

Я со своими малышами оказалась в середине. Так мы и прошли во второй зал — Марью за руку со мной, а Сассь гордо, как знамя борьбы — впереди. Горький запах пригорелого супа, встретивший нас на пороге, укрепил наши силы.

В мертвой тишине дежурные разносили на столы миски с супом. Из первого зала еще слышалось, как девочки, садясь за стол, отодвигали и придвигали стулья и доносился характерный утренний шум. Когда расселись последние восемь человек (у нас за каждым столом восемь мест, и соответственно этому нас отсчитывают, впуская в столовую), в соседнем зале тоже наступила тишина. Вдруг все стали вести себя образцово. Все! Не слышалось даже шепота. Во всяком случае, в нашей комнате ни одна большая или маленькая рука и не пыталась взять ложку.

В этом было что-то очень тревожное. Что-то настолько необычное, что просто перехватывало дыхание. Когда дежурная учительница стала взволнованно ходить взад и вперед среди столов, предвещая этим возможные неприятности, меня охватило какое-то двойственное чувство. Конечно, не было ничего привлекательного в мысли о том, что я, как не соответствующая требованиям школы-интерната, вскоре опять могу оказаться дома и предстать перед удивленными глазами мачехи, но именно эта грозная опасность укрепляла мою решимость. Будь что будет. Мы так решили. Вместе.

Честно говоря, сам по себе молочный суп не имел для меня никакого значения. В своей жизни я много лет питалась очень скромно, и молочный суп, нередко гораздо жиже здешнего, часто бывал у нас на столе — хорошо, если и его хватало — но то, как мы все вдруг сплотились, очень меня радовало. И плохое оборачивалось хорошим.

Я оглянулась. Анне и Лики стояли у стены и держали в поднятых руках какой-то лоскут, на котором несколько нетвердыми буквами было выведено:

«Просим давать нам калории не в виде молочного супа».

Потом я узнала, что больше всего времени отняло первое слово, потому что в тексте Анне, конечно, было «требуем», а две другие девочки настаивали на «просим». Анне несомненно и одна могла бы справиться с целой группой, не говоря уже о Марелле, но вступилась Лики. Так они и стояли теперь у стены, две наши самые решительные девочки.

Общее дело и такое разное выражение лиц. На лице Анне — гордый вызов и радость победы. А в чуть раскосых глазах Лики едва заметная легкая тень ее обычной естественной улыбки. Но почему-то я ясно чувствовала, что именно эта едва заметная улыбка лучше всего спланивала нас. Лики стояла на своем месте, и мы все тоже.

И вдруг ко всеобщему удивлению посреди зала появилась наша Сиймсон. Кто и что привело ее сюда, хотя у нее сегодня должен был быть выходной день — никому не известно. Но она была тут.

Даже у Анне дрогнули ресницы. Но тут же ее взгляд стал еще более вызывающим и упрямым. Атмосфера накалялась, как это всегда бывает перед тем, как разразиться грозе.

И тут произошло нечто необычайное. Воспитательница не стала кричать. Она даже не повысила голоса. Наоборот, она говорила тихо, почти шепотом, когда, переходя от стола к столу, время от времени обращалась к девочкам с вопросами. Не получая ответа, она слегка качала головой, словно чего-то не понимала и удивлялась. Так она приблизилась к нашему столу и тихо, как это могла бы сделать мать, обеспокоенная отсутствием аппетита у своего ребенка, спросила, обращаясь к Марью:

— Марью, почему ты не ешь?

До чего мне было жаль мою маленькую, беспомощную подружку. Она не смогла овладеть собой настолько, чтобы ответить хоть что-нибудь. Я ясно видела, как она старалась, как судорожно глотала и как украдкой потянулась дрожащей ручонкой к ложке. Но едва она успела погрузить ложку в суп, как Сассь быстрым движением толкнула ее под локоть так, что обрызгала их обеих.

— Вытри, — только и сказала воспитательница ти-хим, каким-то очень слабым голосом. Мне показалось, что она больна. настолько странно она выглядела.

В том же необычном тоне она обратилась и к Весте:

— Почему же ты не кушаешь?

Веста ответила ей как всегда спокойно:

— Говорят, суп сегодня опять пригорел.

Воспитательница подняла брови:

— Говорят? А может быть, и не пригорел. Значит, ты сама в этом не убедились.

— В этом каждого убеждает его собственный нос, — вставила Анне.

Но воспитательница прервала ее на этот раз тоном, не допускающим возражений:

— Анне Ундла, у т е б я сейчас ничего не спрашивала. Спокойно дождись своей очереди.

Я заметила, как густо покраснели у Анне лицо и шея, что было для нее совершенно необычным. Воспитательница опять обратилась к Весте:

— Веста Паю, ты мне можешь ответить на один во-прос? Предположим, что кому-то из вашего класса не нравится какой-то предмет, ну, скажем, химия (химию в нашем классе ненавидят все девочки, в особенности Веста). И случилось, что по этому предмету несколько раз подряд получена плохая отметка. Как, по-твоему, быть? Может быть, следует исключить этот предмет из программы, как ты считаешь?

Веста только сощурилась и еще не успела ответить, как опять вмешалась Анне:

— Но это же совсем не то...

— Я уже сказала — подожди своей очереди. Твое мнение я могу прочесть над твоей головой.

И тут же она обратилась ко мне.

— Кадри Ялакас, ты можешь мне сказать, что было у вас на обед вчера?

— Гороховый суп и блинчики с вареньем.

— Вкусные?

— Да...

— А позавчера?

— Картошка, мясной соус, салат из капусты и ком-пот, — вспомнила я.

— Ну и как? Есть можно?

— Да-а. Я... мне...

Я опустила глаза. Не хватало еще, чтобы я призна-лась, что больше всего люблю ягодные кисели и ком-поты. Ведь упомянуть об этом именно сейчас было со-вершенно невозможно.

— А в воскресенье вечером у вас была ватрушка, а днем почти каждая из вас попросила вторую порцию мусса, — продолжала воспитательница. — Интересно, почему тогда вы не выступили с лозунгами и демонстрациями. Думаю, что нашей поварихе, пожилому человеку, у которой от постоянного стояния у плиты опухают ноги, а от кухонного чада развилась астма, было приятно, если бы вы хоть раз, в полном составе, вот как сейчас, пришли в кухню и поблагодарили за вкусную пищу.

В этих словах ни разу не прозвучали обычные для нее насмешливые нотки, а, наоборот, словно бы удив-ление и раздумье...

Вдруг она наклонилась к Сассь:

— Тийна Сассь! — Пожалуй, впервые в жизни Сассь назвали так официально, полным именем. Сассь надула губы еще до того, как воспитательница заговорила с ней. — Скажи, почему ты сама не ешь и другим не разрешаешь? Ведь у тебя обычно прекрасный аппе-тит.

Но прежде чем упрямая Сассь успела что-либо отве-тить, в разговор неожиданно вмешалась Марью.

— А Сассь и не запрещала. Я с а м а не хочу есть. Я вообще никогда не ем молочный суп. И дома не ела.

Ох ты маленький, храбрый друг! Как мужественно ты умеешь сдерживать слезы, хотя они вот-вот готовы затопить тебя! Воспитательница, явно желая успокоить Марью, погладила ее по голове, и сказала:

— Тогда нам с тобой придется сходить к врачу. Если ребенок по утрам не хочет есть и именно молочный суп, значит, с ним что-то не в порядке. Как ты ду-маешь, Сассь, не сходить ли и тебе к врачу? Может быть, у вас глисты?

Сассь стояла отвернувшись, так что мы видели только ее затылок и мочку маленького уха. Она явно реши-лась на что-то необыкновенное. А именно — молчать. Но это оказалось выше ее сил. И она пробормотала:

— Глисты бывают от молока! А у нас тут как в тикесовском работном доме!

И тут произошло сверхнеожиданное. Воспитательница неудержимо засмеялась. Засмеялась, как человек, долго сдерживавший смех. Я заметила усмешку и на лице дежурной учительницы — глядя на Сассь, действи-тельно, трудно было удержаться от смеха. Было что-то невозможно забавное в том, как она стояла, ма-ленькая упряmica, самоуверенная и сердитая, и погля-дывала на воспитательницу с таким видом, словно вот-вот готова сказать свое обычное: «чего вы, дураки, сме-етесь, ведь я-то знаю...».

Смех воспитательницы, казалось, отразился на всех лицах. Словно теплая вода журчала вокруг нас и поне-много смягчала нашу скованность. Неловкость, царив-шая во время вопросов учительницы, сменилась чувст-вом облегчения. Послышался шепот и голоса. Воспи-тательница перестала смеяться и, энергично хлопнув в ладоши, сказала:

— Ну, хорошо! Кто хочет продолжать голодовку — пожалуйста! Только тогда вставайте и уходите. Я не препятствую. Но во всяком случае, от первого до пя-того класса все будут кушать. Сейчас же. По крайней мере, хлеб с маслом. Я не могу позволить, чтобы дети начинали рабочий день голодными. Старшие пусть по-ступают, как находят нужным. Только

быстро, маль-чики уже ждут у дверей. Может быть, и они задумали забастовку. Когда же мы тогда сможем начать занятия? Ну, марш, марш!

Большинство глаз вопросительно устремились к Анне. Малыши искали поддержки у меня. Забастовка забастовкой, но ведь и я не имею права позволить ма-лышам идти в школу голодными. Я посоветовала им выполнить приказание воспитательницы.

Мы, старшие, одна за другой направились из столо-вой. Впервые в четырехлетней истории нашей школы мы начинали день с бурчанием в желудках, и к тому же у всех было очень смутно на душе. ВТОРНИК...

За это время кое-что случилось. Прежде всего, ко-нечно, неизбежные для нас посещения директора. Потом бурное собрание педагогического совета, где, как мы слышали, наша Сиймсон играла главную роль, но — на стороне защиты, а не обвинения. У нас не все верят этому. А я все-таки убеждена, что это именно так и было и что именно благодаря ей мы так легко отдела-лись.

Из всех нас труднее всех пришлось Лики. На нее легла двойная ответственность. И вторая по организационной линии. Споров было много. Все-таки удалось добиться, чтобы никто не был наказан в отдельности. Поэтому мы относительно спокойно восприняли сооб-щение о том, что никакой надежды на обещанные курсы танцев у нас больше нет. В результате этого решения совершенно невинно пострадали, конечно, мальчики, но все же создается впечатление, что они немножко вос-хищаются нами. Второе решение, принятое в отноше-нии нас, и которое по существу не является наказа-нием, разозлило ребят гораздо больше.

Дело в том, что для трех старших классов создаются специальные хозяйственные комитеты. Что это значит, мы пока точно не знаем. Во всяком случае, нам при-дется практически знакомиться с составлением меню, заказом продуктов и даже с денежными расчетами и с бухгалтерским учетом расходов на питание.

Вся история с забастовкой на этом бы и закончилась, если бы не было этой Айны и вдобавок чрезмерного усердия нашей Сассь. Ведь именно Сассь было пору-чено в то утро следить за тем, чтобы Айна не вмеша-лась в это дело. Мы все были настолько заняты, что никто не успел проверить, как она выполняет пору-чение.

В тот памятный «день забастовки» классная руково-дительница спросила у третьеклассников, не больна ли Айна, раз она отсутствует на уроке. Никто в классе ничего не знал. Стали искать Айну и наконец нашли ее в полуобморочном состоянии в нашей уборной. Чем вся эта канитель закончится, пока неизвестно, потому что в четверг приезжает Айнина мама. До тех пор Айна засунута в изолятор, где она коротает время в полном одиночестве. Единственное развлечение — жажда на-ябедничать.

Естественно, Сассь утверждает, что сделала это со-вершенно неумышленно. Никакая педагогическая власть пока не смогла вынудить у Сассь признание в том, что, мол, дело было не совсем так, или что ее на это дело подбили старшие девочки.

— Что ты врешь, — истерически кричала Айна. — Ты мне сама сказала, что там на стенке что-то напи-сано, и когда я пошла посмотреть, сразу закрыла за мной дверь на щеколду и сама убежала.

— Может быть, я случайно и задвинула щеколду, —

почти печально соглашалась Сассь, — Я уже больше не помню, потому что очень тогда торопилась, а потом за-была...

— Но ведь ты наврала, что на стенке что-то напи-сано.

— Не наврала.

— Конечно, наврала, там ничего не было.

— Как же не было. А эта записка о спускании воды и гашении света и соблюдении чистоты, ты этого не видела, что ли?

— Так это там всегда было, с самого начала.

— Конечно, было. А ты думала, что там еще может быть? Чудачка ты, разве я говорила, что там висит записка, которой раньше не было?

— Но зачем же мне надо было на нее смотреть?

— А я не знаю, зачем ты пошла, — в недоумении пожимала плечами Сассь. ЧЕТВЕРГ...

Итак, мать Айны, известная пианистка Ренате Вилльман, была сегодня у нас в гостях. Невероятно, что у такого человека такая дочь! Если человек может так играть всякие там грезы любви, вальсы и фантазии, то у него должна быть совсем другая дочь.

Хорошо, что воспитательница прежде всего попро-сила мать Айны что-нибудь сыграть для нас. Я думаю, что именно это сказалось на решении, принятом относительно Сассь. Было решено поручить Сассь особой, усиленной заботе коллектива, иными словами, нашей группы. Как же это будет выглядеть в действительности? Неужели теперь все будут помыкать Сассь? Сначала ее даже хотели перевести от нас в другую группу, но вступилась воспитательница. Даже в глазах Сассь мелькнуло что-то вроде благодарности.

И вообще, воспитательница в нашей группе с каж-дым днем «покоряет» все больше сердец. Она, правда, качала головой, когда говорила: «Вот что вы умудри-лись натворить!» Но все же было не совсем ясно, было это только порицание или еще что-то, потому что она тут же добавила: «Как все-таки вы все разом очутились под одной шапкой?» А в этом вопросе звучало что-то, похожее на признание.

— А Марью-то вы у меня скоро совсем вышко-лите, — сказала она в заключение, протянула руку и с особенной, необъяснимой улыбкой обняла маленькую смущенную Марию. ПОЗДНЕЕ...

И еще об одном нельзя умолчать, хотя другие собы-тия уже стремятся заслонить это, и вообще было бы лучше совсем забыть об этом. Во всяком случае, ни-чего хорошего в этом нет. Итак, знаменитое и обречен-ное на провал соревнование со второй средней школой состоялось у нас в субботу.

Все было именно так, как предсказывала Анне. Об этом и писать-то нечего. Настолько убогим выглядело выступление нашей команды. И только блестящая игра Лики спасла нас от полного разгрома. Как Анне, так и Тинка играли ниже своих возможностей, но осо-бенно мазала Мелита, которая вообще-то считается одной из лучших волейболисток. Они с Анне с порази-тельной последовательностью забивали мячи в сетку. Потом, когда девочки из второй школы начали пере-одеваться, а мы обменивались впечатлениями и обо всем расспрашивали, в их разговоре с нами чувство-вался какой-то странный тон.словно богатый разго-варивает с бедным родственником. Они спрашивали, есть ли у нас возможности тренироваться или нас застав-ляют без конца скрести пол и стирать, и все в таком духе. Когда же их лучший игрок спросила: «Скажите, как вам тут живется? В городе говорят, что вы каж-дый день получаете только манный отвар?». — Анне, сверкнув глазами, резко бросила в ответ: «Нет, что вы, разве вы не слышали, что мы питаемся только водой из крана? Утром холодной, вечером горячей. А по вос-кресеньям — газированной».

На что высокая девочка из их команды заметила, обращаясь к своей подруге: «Ну, теперь слышала?»

— Что? — пожала та плечами. — Ведь не я же по-падала только в сетку... Выходит, и впрямь они живут на одной воде.

И уже из-за двери донесся ее громкий голос:

— Ну, кто же этого не знает. Ведь в этой школе учатся те, кого из других выгнали, хулиганы и недораз-витые... Знаешь, из сомнительных семей...

Я поймала Сассь буквально на лету. И может же человек производить такие звуки! Это было похоже на вой. Она царапалась, отбивалась, кусала меня за руку и отчаянно кричала вслед уходившим девочкам:

— Кто обзывается, тот сам и называется! — и рас-плакалась. Мы впервые видели, что Сассь плачет. Сердито, всхлипывая, и в то же время так жалобно. Ее бессильное отчаяние и горько-соленые слезы, казалось, жгли нам щеки. ЧЕТВЕРГ...

«Ведь болезнь не спросит срока, а беда придет не-жданно», вздыхала моя бабушка, когда была больна и ей приходилось лежать в постели. Так теперь взды-хаю и я. Именно теперь, когда жить стало настолько интереснее и дел по горло — именно теперь надо же было, пробегая через двор в одном платье и с непокры-той головой, подхватить какой-то вирус!

Конечно, я не единственная жертва. В своей группе, правда, я была первая, но недолго. Через несколько дней ко мне сюда привели Марью и Сассь. Теперь, го-ворят, по утрам у дверей в столовую стоит медсестра и все, кто приходят без пальто и без шапки, тут же получают «первую помощь» — т. е. ложку какой-то горькой микстуры. Для меня это, конечно, уже поздно.

Того, что я пережила за первые две ночи болезни, я не пожелала бы злейшему врагу, если бы у меня такой и был. Даже Энту не пожелала бы.

Из первой ночи помню только, как я беспрерывно старалась проглотить какую-то резину и никак не могла ни проглотить, ни выплюнуть ее. А на вторую ночь я пережила состояние невесомости. Это было совсем не страшно. Во всяком случае, я собираюсь, ко-гда поправлюсь, записаться на полет в космос, когда туда будут брать пассажиров. Конечно, сначала будет огромная очередь, и чем раньше записаться — тем лучше.

Днем, в промежутке между этими двумя ночами, я ничего не ела, много пила, немножко плакала и очень хотела, чтобы бабушка была жива и пришла ко мне, или чтобы я умерла и встретила с ней.

К счастью, последнего все-таки не случилось. А на следующее утро на меня, по всем признакам, снизошло вдохновение, нет, конечно, не такое высокое, как у Пушкина или у Толстого, но все-таки как раз такое, как требуется для школьной самодеятельности.

Я придумала вещь, которую мы с малышами можем исполнить на новогодней елке. Они давно ко мне при-стают. Им тоже хочется выступать. Почему всегда только взрослые! Они, все без исключения, рвутся иг-рать на сцене. Даже в общем-то очень застенчивая Марья. Но она, конечно, прежде всего потому, что Сассь этого хочется. Она и заболела-то наверно потому, что Сассь была больна.

К счастью, им не так плохо, как было мне сначала. И к тому же я им немножко помогаю, когда им ка-жется, что одеяло давит, а чтобы они не так тосковали по материнской ласке, я рассказала им все сказки, какие только знаю, и постаралась увлечь их предстоя-щей пьесой.

Она их заинтересовала больше всего. То и дело — а что потом и кто это будет? И когда ты ее закончишь? и т. д.

Фактически же дело в том, что я просто переделала на новый лад старые истории. Красивая мачеха наряжается и красуется перед зеркалом. Приходит ее под-руга, которой она жалуется на свой первый седой волос и на то, что старость подкралась слишком быстро. Она объясняет это своими заботами. У нее, мол, недавно умер муж, который не оставил ей в наследство ничего, кроме почти взрослой дочери. Мачеха хочет выйти за-муж. На заводе, где она работает лаборанткой, ей очень приглянулся молодой талантливый инженер, правда, он много моложе ее, но мачеха надеется на свою кра-соту. Единственное препятствие — падчерица. В те дни, когда мачехе удавалось заманить его к себе в гости, он был к девушке гораздо внимательнее, чем к ней.

Мачеха затем и позвала к себе подругу, чтобы та, использовав свои знакомства, как можно скорее, среди учебного года, отправила ее падчерицу в другой город, в школу-интернат. Подруги придумали план действий.

Зовут падчерицу. Объясняют ей, в чем дело. И мачеха с подругой уходят. Девушка остается одна. Выполняя приказания мачехи, она начинает укладывать свои вещи. Разбирая книги, она случайно находит старинную песню и взволнованно читает вслух:

Была я в доме радостью,

Любимицей и ягодкой,

Пока жива была моя матушка...

Заканчивая чтение, она горько плачет и опускает го-лову на стол. Она всхлипывает и затихает. Сцена посте-пенно темнеет... Почти в сумерках словно бы издали доносится тихое, как колыбельная песня, пение:

Приходите, сон и дрема,

Ты, забвения сестрица,

Утешитель, тихий братец!

Сон придет к постели мягкой,

Приласкает, как родная,

От ненастия укроет.

Нет у сна забот печальных,

Не солжет он, не обманет.

В нем переплелись с мечтами

Сказки детские и песни,

И чудесные напевы,

И заветные сказанья...

К падчерице-сиротинке

Сон приходит от порога.

И ее уносит в поле,
Где цветут под солнцем травы,
В синих волнах отражаясь.
Нет без матери дороги,
Нет сиротке в мире счастья.
Тяжело она вздыхает
От сиротской, горькой доли.
Вдруг откуда ни возьмися
Перед нею мост хрустальный
Над широкою рекою,
Словно радуга сверкая,
Семицветной встал дугою.
Робко подошла сиротка,
И пошла она тихонько
По сверкающему мосту
На другой, прекрасный берег.
Что же там, за светлой речкой
Увидала сиротинка,
Унесённая мечтою?
Там темнеет лес еловый,
Шелестят вокруг березы
И звенят, дрожат осинки.
А за ними в свете зорьки
Засияла гора счастья!
Что там видится на склоне,
Все яснее и яснее
Различается в тумане?
Это крошечная хатка,
И к дверям ведет тропинка,
А крылечко расписное.

И к нему спешит девица,
Все быстрее через речку,
Словно крылья вырастают,
И летит она как птица,
Позабыв свои печали,
Злые мачехины козни,
Прямо к домику у склона,
Прямо в сказочные земли.

Эта народная песня, прочитанная падчерицей в книге, мне всегда очень нравилась. Мне кажется, что только так сироты и могут разговаривать со своей покойной матерью. По-моему, я сумела правильно и даже хо-рошо пересказать ее. Уж очень она мне близка. Всю пьесу я прочувствовала так глубоко, потому что во-ображаю себя героиней этой сказки, сиротой. И именно эта песня натолкнула меня на мысль о пьесе.

Мне захотелось самой написать что-нибудь в подоб-ном духе. Эта вторая песня, которую я здесь полностью написала — мой собственный опыт. Я просто счастлива, что она у меня получилась. По-моему, она совсем уж не так плоха, хотя учительница литературы, конечно, нашла бы в ней много ошибок. Вряд ли наши девочки поймут, что это не настоящая народная песня... но сочинить ее оказалось совсем не просто. Прежде всего я прочитала триста восемьдесят шесть страниц старин-ных народных песен. Во что бы то ни стало я хотела понять, почему наша народная поэзия такая чудесная и откуда в ней такая мечтательная и убаюкивающая прелесть. Пожалуй, теперь я все-таки поняла это, хотя и не умею объяснить.

Беспрерывное чтение народных песен так меня за-хватило, что в конце концов мне даже стало трудно говорить обычным языком. Сассь и Марью просто ва-лились от смеха, когда я им отвечала что-нибудь в стиле народной песни. А я, чтобы доставить им удовольствие, иногда говорила так и умышленно.

Один раз я даже медсестре сказала:

— И когда минует горе,
Я опять с постели встану,
Выберусь из карантина?

Медсестра взглянула на кривую температуры и понимающе улыбнулась.

Сейчас я работаю над вторым действием пьесы. Дела еще много. Но кое-что совсем готово. Во всяком случае, Сассь и Марью свои роли уже выучили, и у них они получаются очень забавно.

Еще нужно доработать сцену о раскопках на горе Счастья. Каждый из гномов добывает драгоценные камни своего цвета, а каждый цвет символизирует семь самых лучших качеств человека — честность, трудо-любие, смелость, верность, товарищество, чуткость и скромность.

Над этим, на первый взгляд, простым делом, при-шлось немало поломать голову. Раз гномов семь, то и качества, которые приносят человеку счастье, при-шлось распределить на семь

драгоценных камней. Че-стность и трудолюбие без всяких раздумий сразу нашли свое место.

А вот смелость. Знаю по себе, что отсутствие этого качества не раз мешало моему счастью. Бывает, что и честность требует смелости. И если бы не было сме-лости, то не было бы и революции, и люди томились бы в вечном бесправии.

Насчет верности я колебалась. Определяет ли это слово то, о чем хочу сказать? Хотела было назвать это чувством долга. А потом решила, что верность все-таки больше. Верность благородной идее, коммунизму, своей родине и народу — именно она заставляет честного, смелого и трудолюбивого человека в любых условиях исполнять свой долг. Хорошо исполнять.

А товарищество, по-моему, как раз и есть качество, определяющее, хороший человек или плохой. Яснее всего это видно на примере нашей Лики. Товарищество объединяет друзей, пробуждает любовь и вообще рож-дает коллектив, а ведь это для каждого отдельного человека самое главное.

Чуткость и скромность я бы объединила в одном дра-гоценном камне, потому что все семь очень уж быстро заполнились.

Может быть, скромность и не стоит того, чтобы упо-минать о ней отдельно? Ведь не всегда это и доброе-делье. Например, если она от робости или беспомощ-ности (что не раз замечала за собой), но если подумать о наших мальчиках, то выходит, что никак нельзя не упомянуть о скромности. Скромность нужна такая, в основе которой лежит человеческое достоинство.

Чуткость тоже совершенно необходима. Если бы найти для двух этих качеств одно определение. Потому что, конечно же, каждый чуткий человек скромен и, наверно, скромный — чуток. Первая, как цветок, кото-рый мы посадили в саду соседа, чтобы доставить ему радость, а вторая, как бубенчик, который мы снимаем, чтобы он своим звоном не мешал другим. Все-таки они близнецы.

Но когда я думаю о Весте, то никак не могу разоб-раться, чего же ей больше всего не достает.

Нельзя сказать, что она не честная или не смелая. Свое мнение, то, что она считает правильным, она всегда смело высказывает всем — будь то учительница, воспитательница или все равно кто. О ее нечестности не может быть и речи. И таких трудолюбивых, как она, надо поискать, и в ее верности никак нельзя усомниться. Что касается товарищества, то здесь, на первый взгляд, дело сомнительное, однако факт, что мало кто менее эгоистичен, чем Веста. Ее личные интересы — всегда лишь интересы старосты группы. Таким образом, инте-ресы коллектива. В отношении своей личности она скромна. И даже ее «безличная» манера говорить обус-ловлена какой-то странной, поставленной с ног на го-лову скромностью или своеобразным чувством такта. А может быть, ей просто не хватает воображения? Во-ображения, которое должно быть врожденным свойст-вом человека, как, скажем, разум. Конечно, нет людей, совершенно лишенных воображения. Если бы не было воображения, то разве человечество прошло бы путь от каменного топора до первого искусственного спутника? И разве была бы тогда на свете красота? А что за жизнь без красоты? Тогда не стоило бы и родиться человеком. С тем же успехом можно было бы быть бараном, кошкой или моллюском.

Нет, теперь я знаю, какого качества больше всего не достает Весте. Жизнерадостности. Чувства юмора. Оп-тимизма! Боюсь, что именно это выбили из нее в дет-стве. Как ужасно, ужасно грустно! Но может быть, это еще вернется?

Оптимизм совершенно необходим. Иначе о каком же счастливом человеке может идти речь!

Я еще должна придумать, какого цвета все эти драгоценные камни, которые гномы добывают в горе счастья.

Во всяком случае, оптимизм — золотисто-желтый и сверкающий, как солнце. А честность — самый чистый, прозрачный хрусталь.

Смелость лучше всех цветов — огненно-алая!

Трудолюбие — самого важного для существования жизни цвета — зеленого. Как трава, как все растения, вечно обновляющиеся и связывающие землю и солнце!

Для товарищества, конечно, больше всего подходит цвет безбрежного моря!

Верность должна быть как алмаз — самый прочный из камней, которым можно шлифовать все другие само-цветы.

Для чуткости и скромности я тоже кое-что нашла. Когда недавно воспитательница зашла нас навестить, я спросила, бывают ли драгоценные камни двух цветов, не очень броские, но красивые. Воспитательница отве-тила — опал, или лунный камень. В основе он белый, но искрится огненными лучами.

Гномы обещают дать все семь драгоценных камней в приданое сироте, если она поможет им работать и не станет общаться с мачехой.

Конец пьесы, когда падчерица лежит в гробу и гномы стоят в кружке и оплакивают ее и тут появляется принц (тот самый избранник ее мачехи) и, преклонив перед ней колено, прекрасными словами говорит о своих чувствах, у меня уже готов. Об этом месте я много думала. Пока гномы стоят вокруг меня и поют свою печальную песню (или говорят хором), я бы пробралась за кулисы и переоделась. Вот где я наконец смогла бы использовать во всем блеске свое «маленькое вечернее платье»! Когда же гномы удалятся, прекрасные слова коленопреклоненного принца разбудят меня (принца мог бы играть Свен). Представляю себе, какой захватывающе красивой могла бы быть эта картина.

Сирота смущается и просит принца не говорить о своих чувствах. Но принц отвечает, что скоро-скоро кончится сон, падчерица-сирота проснется и уйдет от него. Потому-то он и просит, чтобы она не забывала его.

— А мачеха? — спрашивает девушка. Принц смеется:

— Разве вы не знаете, что у нас издан закон, по кото-рому все злые мачехи изгоняются из нашего общества, как пережитки. Им будет указано их настоящее место в старых сказках и в некоторых плохих снах. По этому закону всем сиротам будет дано счастье. У них будут новые матери — приемные матери!

— Но... где же она, моя новая мама? — удивленно спрашивает сирота.

— Я думал, что вы поняли это, моя красавица. Вы же на пути к ней. Ведь перед тем, как прийти сюда, вы уложили вещи. Вы скоро проснетесь и отправитесь в путь...

— Она добрая, моя приемная мама? — спрашивает девушка.

— Добрая и справедливая. Очень справедливая. Она поможет стать счастливой, — горячо уверяет принц и берет девушку за руку. Тут появляются гномы и при-носят семь камней счастья.

Занавес. ВТОРНИК...

Теперь я уже здорова, и пьеса закончена, и даже тетя Эльза ее просмотрела. Репетиции идут полным ходом. Но все это получается совсем иначе, чем я мечтала во время болезни.

Когда мы лежали в изоляторе, девочки приходили нас проведать. Хотя это вообще-то не разрешается. Однажды, когда Анне и Тинка были у нас и Тинка спро-сила, не скучно ли нам, Сассь не смогла удержаться:

— Нет, нисколько. Вы ведь не знаете, Кадри пишет для нас пьесу и сочиняет альтерционные стихи — или как их там? Это вроде песен. С гномами или эль-фами. Это мы, и с нами приключается много смешного. Я уже знаю на память.

— Какая пьеса? — наострила уши Анне.

— Ах, оставь, Сассь, — запротестовала я.

Тогда еще все было не закончено и я не была уве-рена, что из этого вообще что-нибудь получится. Я очень коротко рассказала, как я это задумала. Анне была ра-зочарована.

— Только для малышей? Жаль. Почему ты не пи-шешь для нас? Попробуй. Ну, скажем, из нашей школь-ной жизни.

Попробуй. Из школьной жизни. Легко сказать. Как будто я писательница. Да и писатели пишут очень мало пьес из школьной жизни. Я и с этим, в общем-то, пере-сказом столько намучилась. И убедилась наконец, что из меня никогда в жизни не получится писатель. Даже похудела от этих мук творчества и потения. Анне посо-ветовала мне заменить на географии указку, может, поэтому-то и получилось... впрочем, зачем забегать вперед.

Во всяком случае, Тинка тут же согласилась играть красивую мачеху. Только с условием, что переоде-тую ведьму будет играть кто-нибудь другой. Принцем был единодушно выбран Свен, так что мне не при-шлось высказывать свое предложение. Тинка даже обе-щала сама поговорить со Свеном.

На этот раз остальные вопросы остались открытыми. Но когда я вернулась в группу, Марелле как-то вече-ром стала настаивать, чтобы я прочла свою пьесу. Вна-чале я ужасно волновалась, но когда девочки стали смеяться там, где Тинка-мачеха кичится своим знатным происхождением и красотой, я осмелела. Читала я, по-моему, даже «вдохновенно», особенно монолог сироты.

Когда я закончила, Анне сказала:

— Давай сюда! Я и не представляла себе, что у тебя такое получилось. Это ведь что-то совсем другое. Дай-ка я сама посмотрю. — Она забрала мою рукопись и стала листать ее.

— Роль сироты просто чудесная. Я буду ее играть. Думаю, она мне очень подходит.

И тут же прочла:

Была я в доме радостью,

Любимицей и ягодкой,

Пока жива была моя матушка.

О, что значило мое чтение по сравнению с Анне! Как восклицала, подняв руки, словно защищаясь, Анне: Не бейте сиротинку, Не бейте — нет у нее батюшки. Не бейте — нет у нее матушки.

И хотя все это звучало очень задушевно и хотя я считаю Анне гениальной, почти зрелой актрисой, все же я никак не могла справиться с горьким комком, застрявшим у меня в горле, как отравленное яблоко в горле сироты. И я тоже довольно долго была словно мертвая.

Мне было так жаль расставаться с этой сценой, где я могла бы в роли сироты стоять в своем воздушном розовом платье, ярко освещенная прожектором и самый красивый мальчик из нашей школы преклонял бы передо мной колени. На этот раз меня не утешали никакие похвалы. Что пользы, что Сассь сразу начала протестовать, уверяя, что сироту должна играть я, а Лики и еще некоторые девочки поддерживали ее. Во-первых, мне-ния разошлись и, во-вторых, решающим оказалось то, что Анне сама хотела играть и решила сказать об этом, тогда как я не решилась.

И ничуть не легче было оттого, что Анне восхищалась моим литературным талантом. Мне не давала покоя мысль о том, что меня могли бы, по крайней мере, спросить, кого я хотела бы видеть в главной роли. Может быть, я все равно предложила бы эту роль ей, потому что ведь знаю себя, вряд ли я стала бы откровенно добиваться главной роли.

В этот вечер я была так огорчена, что чуть не высказала лишнего. К счастью, я все-таки не сделала этого, и теперь сама понимаю, что тогдашнее мое восприятие всего случившегося было просто очень мелочным и глупым. Тем более, что потом случилось то, что случилось. Сейчас у меня больше нет времени. Скоро начнется репетиция. Надо спешить. СРЕДА...

Теперь все репетиции проходят великолепно. После-завтра генеральная репетиция. Но первая репетиция была все-таки ужасной. Учительница Вайномяэ взяла над нами шефство. Тинка кое-как справилась со своей ролью, а Вильма играла мачехину подругу. И тут наступила очередь Анне. Вдруг вмешался Свен:

— Пойдите! А почему Кадри сама не читает?

— Как Кадри? Сироту играет Анне, — возразила Тинка.

— То есть как — Анне? Ведь должна была играть Кадри! — удивился Свен.

Я поспешила объяснить:

— Ты, наверно, неправильно понял. Я играю только этот голос, который рассказывает о превращении действительности в сказку-сон. Сироту играет Анне. Ей эта роль подходит больше всего.

— Анне? Эта роль? Не смешите! Исполнительница главной роли должна быть прежде всего красивой.

Я не решалась ни на кого взглянуть. И только испуганно оглянулась, когда за нашими спинами с грохотом захлопнулась дверь.

— Анне! — Я бросилась за ней. Успела только услышать, как Свен сказал:

— Тогда пусть уж Андрес играет принца. Меня исключите из игры.

Я нашла Анне в спальне. Она лежала, уткнув лицо в подушку. Мне еще никогда не случалось попадать в такое неловкое положение. Как тут утешать? Сказать, что одному нравится одно, а другому — другое? Нет, будет еще хуже. Противнее всего было, конечно, что я сама — участница этой истории и даже, помимо моей воли, в чем-то словно бы виновата.

— Анне, голубушка, родная, не плачь! Ну, посмотри на себя в зеркало. Ведь Свен же чудак. Он и в литературе-то не может отличить Татьяну от Ольги, ну чего с него взять... Не случайно же его. почти выгнали из одной школы. Что-то у него не так. Не принимай эту чепуху

к сердцу.

Я наговорила о Свене все, что пришло в голову. Даже то, во что и сама не верила. Мне было просто ужасно жалко Анне.

— Пусть принцем будет кто-нибудь другой, более толковый. Свен все равно поленился выучить роль. И эта роль совсем не для него. Такой самонадеянный дурак! Может, еще возьмет на сцену зеркальце, как Тинка. Я никогда не могла понять, что в нем девочки находят...

Анне не отрывала головы от подушки. Можно было лишь предполагать, что она плачет. Когда я в предельной растерянности и отчаянии предложила ей в утешение самое лучшее, что у меня было — маленькое вечернее платье, которым мачеха когда-то хотела завоевать мое сердце, — к счастью, в комнату ворвалась Тинка. Она бросилась обнимать свою подругу и стала ей горячо доказывать:

— Анне, ну что ты из-за эдакого плачешь! Анне, милая, он не стоит этого. Твоих слез! Я напишу папочке. На этот раз в самом деле напишу. Папочка придет и задаст этой обезьяне жару, Свен ужасно боится нашего папу, я знаю. Боже, Анне, не показывай только, что слова такого типа что-то для тебя значат.

Последнее подействовало, как удар хлыста. Анне подняла голову. У нее были совершенно сухие глаза.

— Ну, а что вы-то тут причитаете? Ведь не стану же я от этого умирать.

И деловито, словно ничего и не случилось, обратилась ко мне:

— О каком платье ты говорила, Кадри?

Да, о каком платье я говорила?! Ох, я наверно сделала это от растерянности. Я сама, добровольно, предложила Анне то самое волшебное платье, которое надевала всего один раз на семейном вечере моей мачехи и в котором каждая девушка просто не может не выглядеть красивой, и в котором я тоже могла бы выглядеть красивой! Именно об этой возможности я столько мечтала, как это ни смешно. А теперь оно будет украшать Анне! Отступить было некуда, и не было даже надежды, что мое платье не подойдет Анне. Потому что, во-первых, совершенно бессовестно надеяться на такие вещи и, во-вторых, мы с Анне почти одного роста.

Я всматриваюсь в себя и вижу безнадежно запутанную внутреннюю жизнь вперемешку со старым хламом. Что же это такое? То ты так жалеешь другого человека, что согласна любой ценой утешить его, и тут же сама раскаиваешься, что делаешь это! Как дурочка, беспрестанно думаешь о том, что другая в твоей пьесе будет блистать на сцене в твоём самом красивом платье, а ты сама только голос, то, что в тебе самое некрасивое, то, за что ни один учитель пения никогда не поставит тебе больше тройки и то больше по доброте душевной.

Но хуже всего то, что, как я ни пыталась уверить себя, что Свен самый бессовестный, самый грубый, самый бестактный мальчишка, все-таки где-то в глубине души таилась мысль: Свен все-таки считает, что я больше всех подхожу для роли красивой сироты. Больше всех подхожу я!

Кто знает, что случилось бы дальше и что стало бы с моей бедной пьесой, если бы Свен в тот же вечер не пришел извиняться! Как выяснилось впоследствии, он предпринял этот шаг, главным образом, под нажимом Тинкиных угроз и какую-то роль тут сыграла учительница Вайномяэ. Ну, во всяком случае, это позволило продолжить репетиции, и у Анне появилась

возможность не отказываться от роли. ПЯТНИЦА...

Наконец-то все это позади! Все, что в последнее время делало жизнь такой стремительной и увлекательной и заставляло волноваться. Можно опять перевести дух и почувствовать себя свободнее!

Утром, когда мы бежали в школу, шел чистый праздничный снег и все выглядело как-то особенно радостно.

Все как-то вдруг стали беспокойными. Школьная дверь ни на минуту не оставалась закрытой. Всем надо было непременно куда-то бежать, кого-то громко, во весь голос, звать. Повсюду было полно школьников и всяких вещей, и никого невозможно было найти. Все наталкивались друг на друга. Одним словом — была дикая суеда, волнение и движение.

И наконец наступило это самое важное и последнее из всех мгновений, чтобы в следующую минуту стать первым. За кулисами открывалась довольно забавная картина. Почти все были заняты дыхательной гимнастикой по системе йогов. Кто вдыхал, до последней возможности втягивая в себя воздух, кто изо всех сил выдувал его из легких. Даже Анне попыталась этим заняться.

Не знаю, это ли помогло, только все прошло величественно. Даже наша кукольная демонстрация мод. Она привлекла самое большое внимание гостей. На каникулах она будет открыта для всех. Трудно было предположить, что она так славно удастся.

Я, правда, сказала журналистам (их было целых двое, один то и дело щелкал фотоаппаратом), что пьеса — это, в общем, очень старая история о Бело-снежке, и я только переделала ее применительно к нашей школе и жизни. И призналась также, что с демонстрацией мод нам очень помогла учительница рукоделия и что очень много идей позаимствовала у своей мачехи. И все-таки меня хвалили. Сверх всякой меры и незаслуженно. Журналист даже посоветовал мне самой что-нибудь написать для их газеты. Я не знаю — надо будет подумать.

Но Анне выглядела в моем платье очаровательно! Она была рядом со Свенем настоящей принцессой. И как она играла! Именно благодаря ее игре пьеса казалась не такой, как обыкновенная «Белоснежка». И гномов тоже не в чем упрекнуть. Они были просто прелестны. Марью сияла своей застенчивостью. А Сассь и на сцене была верна себе и очень мило хмурилась. Все громко аплодировали, и большие, и маленькие. ПОЗЖЕ...

Я, как всегда, возвращалась вместе с малышами. Как мне в этот вечер хотелось танцевать! Так хотелось владеть этим искусством, таким доступным всем остальным. Когда мы спускались с лестницы, я подумала: был бы у меня крошечный хрустальный башмачок и я потеряла бы его, убегая... И тогда...

Ох, все-таки старые сказки повторяются. В новых изданиях и с новыми героями. Я как раз умывалась вместе с малышами, собираясь ложиться спать, как вдруг появилась Роози и позвала меня в переднюю. Там она молча передала мне сложенное письмо. Я развернула его и прочла:

«Золотко, куда ты исчезла? Разве я плохо сыграл свою роль? Почему я не нахожу любви в твоих прекрасных глазах? Жду в награду от моей настоящей (это слово было трижды подчеркнуто) принцессы хотя бы один танец.

Твой покорный слуга, известный принц неизвестной страны С.»

Ой, что за день сегодня! Неужели этот мальчик умеет так писать? И еще мне! Совсем не плохо быть чьей-то принцессой, пусть это даже праздничная шутка.

Но во всем этом была лишь одна беда. Я не могла принять лестное приглашение принца. Роози стояла, теребя свою косу, и разглядывала висящие в углу пальто и шапки.

— Скажи... это тебе передал Свен?

— Да... и он внизу ждет ответа.

Конечно, я должна по крайней мере хоть ответить. Как-то объяснить свой отказ.

— Знаешь, я ужасно устала. Наверное, я еще не сов-сем оправилась от болезни и... скажи ему, пожалуйста, что у меня болит голова. Что я уже в постели. Ска-жешь? Я и правда уже ложусь.

Роози кивнула головой и повернулась к выходу.

— Роози, подожди! Пстой! Знаешь, я хотела еще сказать, что... ну, ладно, иди. Ах да, ты никому не скажешь об этом письме?

По лицу Роози скользнула тень. Как я могла быть такой глупой! Даже Свен знал, кого выбрать для этой миссии, а я...

Когда все девочки вернулись с вечера, у нас начался шумный обмен впечатлениями. То и дело слышалось: «Девочки, вот это был вечер», «Это была прекрасная идея устроить кукольную выставку», «Лучше всех была Сассь!», «Ну, а Анне как же!» «Да и Марью была, что надо!», «До чего красива была Тинка!», «И вся пьеса просто прелесть!», «Девочки, вы заметили, что мамам больше всего понравилось то место, где эта народная песня. Многие даже прослезились», «Мальчишки чуть не лопнули от зависти, когда директор похвалил дево-чек» и т. д. и т. д.

Бесчисленные похвалы, восторженные возгласы праздничным серпантинном вились в нашей комнате. Радость по поводу удавшегося вечера была так велика, что даже Веста выглядела сегодня как обыкновенная, веселая семнадцатилетняя школьница!

Ведь в речи похвалили нашу группу отдельно, как инициатора заботы о малышах, о том, чтобы исправи-лось их поведение и был организован их досуг, и имя Весты, как старосты группы, конечно, было упомянуто. Кроме того, ее пионерский отряд получил специальный приз за изготовление кукольной мебели. Эти вещички трудно сделать лучше. Во всяком случае, десяти-четырнадцатилетним ребятам, которыми руководит старшая девочка, сама обучающаяся этому делу. Злые языки говорят, будто бы Ааду заглянул раз в мастерскую, но Веста пригрозила облить его столярным клеем, если он сейчас же не уберется.

Вообще-то вся эта кукольная затея здорово удалась, и у меня нет никаких причин стыдиться ее. На вы-ставке гости задерживались и у стола ребят моей группы. Там на самом видном месте красовался ма-ленький конькобежец в светло-зеленом костюме, в крошечных коричневых фетровых сапожках, на конь-ках из серебряной бумаги.

Гости восхищались куклой-мальчиком и его модными костюмами, сделанными в бригаде Лики, и «приданным малютки», связанным малышами под руководством Марелле Но больше всего пожалуй, охали у стола, на котором были разложены праздничные кукольные на-ряды, сшитые в пионерской группе, где шефствует Тинка. Там была тафта, кружева, бусы и даже меха, совсем как на картинках из модного журнала, только все крошечное и потому особенно очаровательное. И правда, это большое искусство — сшить красивый и модный костюм, когда модель обыкновенная малень-кая кукла с выпуклым животиком и неуклюжими ручками и ножками.

Пришедшие к нам родители и другие гости были приятно удивлены всем увиденным, мы

сами, как «модельеры» и «руководители», были в восторге, в восторге были и пионеры, принимавшие участие во всех делах, но больше всего радости было на лицах тех, для кого все это предназначалось. Пока все эти поделки еще не отдали им, потому что наша кукольная выставка в дни школьных каникул будет открыта для посетителей, но сразу после каникул будут выданы призы.

Самым большим событием на танцах было поведение Свена, который в самом начале протанцевал с Анне два танца, а потом бесследно исчез. ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Снова дома. На каникулах. Сестренка — прелесть. Но если быть совсем честной, то Марью и Сассь мне ничуть не менее дороги. И мачеха уж слишком много говорит мне о необходимости обращаться с сестренкой бережно. Как будто я сама не знаю, что детей нельзя брать на руки, если только что пришла с улицы, и что прежде чем подойти к ней, нужно вымыть руки, и что целовать ее не следует.

Ну вот. Значит, я снова дома, а ведь только сегодня утром я была там, в моем втором доме, а потом мы все вместе ехали в поезде и было очень весело, и так шумно, словно кроме нас больше никого на свете нет.

Я заметила, что Свен Пурре дует на меня. Мне это было немножко неприятно и даже грустно, но чем я могла поправить дело? В поезде, когда на промежуточных станциях вышло большинство ребят и нас, ехавших до конца, оставалось совсем мало, я вышла в там-бур к окошку. Свен вышел за мной.

— По-видимому, сегодня у тебя голова не болит?

Я наклонилась еще ближе к окну, словно решила непременно пересчитать все придорожные телефонные столбы. Но боюсь, что он заметил, как я покраснела. Отвечать я не стала. Да и какой ответ может быть у лгуни? Свен спросил, наклоняясь ко мне:

— Скажи, почему ты так поступила?

Ух, у меня не осталось и следа от радостного чувства, как было вчера вечером, когда я читала его письмо. Было только неловко. Мы стояли рядом, и я взглянула прямо ему в глаза. От его взгляда я очень смутилась и тут же возненавидела себя за это смущение.

Попыталась перевести разговор:

— Я не успела тебя похвалить. Ты замечательно сыграл принца, — пошутила я. — Ты и сам настоящий принц.

— Не правда ли? Ты тоже находишь. Мне это не раз говорили. Я думаю, это дело привычки. Я еще во втором классе играл принца.

Он тоже только пошутил, но что-то в этой шутке задело меня. Во всяком случае, лучше не иметь дела ни с кем из мальчишек, кроме Урмаса.

— Кадри, ведь я нравлюсь тебе?

Пусть это была просто болтовня, но я все-таки предпочла бы другие шутки. И, главное, я не умею отвечать на такие вещи, даже если они говорят в шутку, Свен, разумеется, по-своему объяснил мое смущение и сразу предложил:

— Ты должна вознаградить меня. Сходим на каникулах куда-нибудь вместе. Куда бы тебе хотелось пойти?

Я попыталась изобразить, что давно привыкла к таким приглашениям и ответила,

равнодушно растягивая слова:

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, что теперь там делается, но зна-ешь что, я сегодня же все выясню. Давай условимся где-нибудь встретиться сегодня вечером и тогда по-смотрим, что можно предпринять.

Уже сегодня? О, нет, из этого ничего не выйдет. Мы с Урмасом уже давно условились. И, кроме того, о чем нам со Свеном вообще договариваться? Ну ладно, мы одноклассники, он сказочный принц — может, этого довольно?

Но в красивых глазах Свена вдруг появилось какое-то умоляющее выражение или уж я не знаю, что там в них было, только когда он предложил послезавтра пойти на книжную выставку, я до того растерялась, что не смогла отказаться и обещала встретиться с ним у Дома искусств, чтобы вместе пойти на книжную выставку.

И только когда мы уже расстались на вокзале, я со-образила, что должна была сразу сказать ему, что возьму с собой Урмаса.

И вот теперь я сижу здесь с малышкой и придумы-ваю, под каким предлогом я могла бы послезавтра по-лучить выходной, потому что, как я понимаю, мачеха на время моих каникул запланировала для себя все свободные вечера. А с малышкой кому-то обязательно нужно быть.

Лучше я и правда не пойду. А Свену, пожалуй, даже полезнее посмотреть книги одному.
ПОНЕДЕЛЬНИК...

Совершенно неожиданно сегодня у меня свободный вечер. Тетя Эльза позвонила, что у нее есть для меня билет в театр, а на ее предложения мачеха почему-то особенно не возражает. Я, конечно, очень обрадовалась этой возможности.

Шла «Тоска». Неужели жизнь и правда была когда-то такой? Если бы не эти мелодии, не такая музыка, я бы, пожалуй, не выдержала до конца спектакля.

В антракте, когда мы с тетей Эльзой прогуливались в фойе, во встречном потоке я увидела не кого иного, как самого Свена Пурре с хорошенькой, как картинка, девушкой. Когда Свен приветствовал меня самым не-принужденным поклоном и самой естественной улыб-кой, то я, как мне казалось, ответила почти тем же.

Но когда тетя Эльза спросила:

— Кто этот красивый юноша? — я почему-то опять покраснела.

— Твой одноклассник? — удивилась тетя Эльза. — Он выглядит по крайней мере лет на двадцать.

— Да, так и есть. Точно не знаю, но с ним что-то случилось, и он какое-то время не ходил в школу... Но он очень способный пианист, он...

Не знаю, почему, но мне было неловко рассказывать тете Эльзе, что этот красивый юноша несколько раз оставался на второй год. Нелепо — словно я могу как-то отвечать за успеваемость моих одноклассников! Поэтому я попыталась поскорее перевести разговор и спросила тетю Эльзу:

— Вы не находите, что девушка, что с ним, необык-новенно хорошенькая?

Тетя Эльза мельком взглянула на меня:

— Ты находишь? По-моему, она слишком броско одета и вообще в ней, для такой молодой девушки, слишком много искусственного.

И, слегка потрепав меня по руке, тетя Эльза доба-вила:

— Знаешь, по-настоящему красивы такие, как ты — милые, скромные девушки.

Но нечто по-другому, по-настоящему прекрасное я пережила во время последнего действия, когда звучала ария о любви и жажде жизни. Последняя ария Каварадосси.

Я уловила очень мало слов, хотя потом мне сказала их тетя Эльза. Но слова там лишь беспомощные блед-ные намеки: «...умираю покинутым. Но я так жажду жизни, так жажду жизни!..» Именно мелодия выра-жает все, доходит до самого сердца. На мгновение чувствуешь себя на грани проникновения в самое вели-кое, почти ничто не отделяет тебя от совершенства и сама ты готова в любую минуту отдать жизнь за свою идею. Ту самую жизнь, которой только что жаждала с такой страстной болью.

Как много великого, высокого и прекрасного в этом мире, и как много мелкого и уродливого в нем встре-чаешь иногда. И все-таки каждый человек жаждет жизни, жаждет любви, стремится к прекрасному.

Удивительно, что и теперь, когда в нашей жизни больше нет таких преград на пути к счастью, таких ужасов, как в этой старинной опере, все же есть еще несчастные люди! Или это потому, что нам даны лишь возможности, а если мы не умеем их использовать, то в этом виновата глупость несчастных? Может быть, мы сами слишком беспомощны и просто не умеем найти свое место в нами же построенном счастливом мире?

Ох, до чего же хочется знать больше, чем я знаю. Можно думать ночи напролет, но всегда за ответом встают новые вопросы.

Одно все-таки бесспорно: никогда нельзя заменять жизнь игрой.

Как это говорила бабушка? «...Смеясь, вы гони-тесь за большим счастьем. А жизнь? Жизнь — дело серьезное». В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...

... Самая чудесная ночь в году. Радио принесло Но-вый год ко мне домой. Он начался боем Кремлевских курантов. Меня уже поздравили с Новым годом на мно-гих языках. Теперь я знаю, как бьют знаменитые часы во многих странах! И каждые по-своему шлют в эфир «Счастья в новом году!»

И я счастлива! Даже не знаю, почему. Просто я сча-стлива.

Ведь это такая необыкновенная ночь... сквозь стены, сквозь пол, сквозь окна из глубины улиц доносится до меня радость чужих людей и отзывается в моем сердце. Но сегодня ночью не может быть чужой радости. Одна огромная радость, общая радость — она моя, а моей радости хватит на весь мир!

Ой, до чего же хорошо! Так хочется совершить что-нибудь прекрасное и великое. Хочется быть доброй ко всем на свете! Хочется всегда быть такой, как я бываю лишь в отдельные мгновения.

Мачеха и папа еще вечером ушли куда-то встречать Новый год. Папа хотел встретить его дома, но мачеха ведь такая непоседа. Ей непременно надо было мчаться куда-то навстречу Новому году. До чего же она была красива! Я сижу тут и желаю, чтобы она становилась еще красивее, чтобы она была счастлива, потому что в этом счастье моего отца.

А мы вдвоем с малышкой дома, и у нас всего доста-точно. Тепла, света, уюта. Хороших вещей даже сверх меры. Стенные часы тикают о нашем счастье, и пол-ная радостных мыслей ночь принадлежит нам.

Подожди, моя маленькая сестренка, давай, я перенесу тебя сюда, поближе к елке, к сиянию свечей и давай, я расскажу тебе, как все это было. Я расскажу тебе это еще и еще раз и опять сначала...

Мы остались с тобой вдвоем и стали ждать. Не правда ли, ты ведь тоже ждала? Иначе почему бы ты с таким любопытством посматривала по сторонам? Ты была уверена, что он придет. Быть может, больше, чем я. Кажется, ты первая и сказала: вы друзья. Самые большие друзья! По-видимому, ты знала и то, как я встретила его утром и рассказала, что вечером мы будем только с тобой вдвоем.

Ой, как ты ждала! Или, может быть, это я ждала? Сквозь решетку своей кровати ты серьезно следила за тем, как я прибирала все вещи, которые твоя мама в нетерпении разбросала так, что они разлетелись по всей комнате. Вещам нравится, когда они лежат на месте. Тогда они спокойны.

Потом я подошла к тебе и погладила тебя. Ты обе-щала непременно быть паинькой, пока меня не будет в комнате, а я буду под теплым дождиком. Жаль, мой маленький, нежный цветок, что и тебя нельзя отнести под теплый дождик. Это так приятно. Это даже плохое превращает в хорошее, а хорошее в еще лучшее.

А когда я свежая, чистая, пахнувшая мылом, верну-лась в комнату, ты сказала «лялль-лялль». Я сразу по-няла, что ты осталась мной довольна. Я и сама была довольна собой.

А потом, мой маленький глазастик, ты видела, как я достала из шкафа платье цвета вечернего неба. Ты успела увидеть, как я его примеряла? Ты заметила, что я сморщила нос? В этом платье было что-то чужое. Оно словно бы сохранило тень прежних недобрых мыслей, и они испортили тонкую ткань. Платье больше не казалось таким красивым, и его розовый цвет был словно цвет чужих желаний чужой девушки. Нет, се-годня оно не будет надето! Если вообще когда-нибудь будет надето. Не надо его!

Ну, а теперь ты уже всерьез собралась спать, и я так и не успела ничего спросить у тебя. Я думаю все-таки, что ты не будешь возражать, если я надену свою тем-ную юбку в складку и вышитую белую блузку с кру-жевным воротничком. Слышала ли ты, сестренка, как я пела тебе свою собственную колыбельную песню, с припевом, подсказанным тетей Эльзой:

«... по-настоящему красивы... по-настоящему красивы...»

И разве у тебя немножко не дрогнули ресницы, когда я вдруг громко рассмеялась? Ты, конечно, поняла, что я ни над кем другим не смеялась. Я просто подумала, что Урмас не обратит внимания, как я одета.

Счастливым всегда позволено посмеяться над собой. Счастливым, которые стоят у зеркала и ждут...

Не может быть, что он не забежит хотя бы на ми-нутку! Я знаю, у них большая семья и в такие вечера вся она собирается за общим столом и никто не хочет огорчить родных своим отсутствием. И меньше всего хороший сын хочет огорчить свою мать. Он там вместе со всеми радостно встречает Новый год.

Да-да, моя маленькая, ты — моя семья. Мы с тобой быстро прогнали одиночество.

Но он — мой друг. Ты ведь еще не знаешь, что зна-чит самый лучший друг! Может быть, мне

придется на этот раз довольствоваться только его мыслями, как в прежние месяцы мне приходилось довольствоваться его письмами. А его мысли в этот вечер со мной. Во всяком случае, хоть разок-то он обо мне подумает.

Когда пробило десять, я решила с этим примириться. Я понимаю, что он не может уйти от своих малышей, как и я не могу уйти от своей. Но ведь сердцу не прикажешь. А на сердце было светло и радостно, и сердце ждало. Я дала себе обещание: если он придет, я буду всегда сразу отвечать на его письма. Как бы ни была занята или даже больна. Ему буду отвечать сразу, как когда-то обещала. А если он не придет, все равно буду писать, только...

...И тут он пришел, словно почувствовав мои угрозы.

Послушай, маленькая щебетунья, ты его сразу узнала? Ну, скажи честно. Не вздумай меня обманывать. Ничего ты не узнала, потому что спала, когда он позвонил, и я помчалась встречать его. Ты и того не слышала, как он сказал:

— Какая ты красивая, Кадри.

Слышишь? Ты вообще-то слышала, что он сказал? «Какая ты красивая, Кадри!» Ты знай себе спала и посапывала. Ой ты, мой крохотный птенчик, желаю, чтобы и тебе когда-нибудь в будущем так сказали. Может быть, тебе будут говорить такое настолько часто, что ты не сумеешь этого оценить. Но я! Ой, у меня от этих слов выросли крылья!

Тебя, наверное, разбудил мой смех? Тогда, может быть, ты слышала, как я сказала:

— Урмас, посмотри, эту юбку и блузку я сшила сама. Абсолютно сама. И кружева тоже. Не смейся! Ты думаешь, такое узенькое кружево ничего не стоит сплести. А ведь это очень трудная и кропотливая работа.

— Ах, значит, такой ты стала в этой школе-интернате!

— Какой, Урмас? Модницей — да? — И мы оба не смогли оставаться серьезными.

— Урмас, ты помни, я ведь ни с кем другим не могу быть такой. Урмас, я так рада, что ты все-таки пришел. Я все время знала, что ты придешь.

— Да, но... — Урмас стал серьезным. — У меня мало времени. Понимаешь. Я только на минутку забежал. Они ведь ждут. Я буду Дедом Морозом.

— Я знаю, Урмас. Не надо извинений. Я рада, что ты хоть на немножко зашел. Я тоже с малышкой. Иди сюда, посмотри на мою сестренку.

Тут-то я и увидела, как широко раскрылись твои глазенки. Один был чуть прищурен и от этого лицо у тебя было очень хитрое. Словно ты что-то знала. Урмас нашел, что ты тоже очень красивая. Только тоже?

— Ну, знаешь ли, у вас, конечно, никогда не было такой милой малышки!

— И все же... — Мы стояли и смотрели через тебя друг на друга и почему-то нам было очень весело.

А потом, ты видела, Урмас достал из портфеля два пакетика, завернутых в белую бумагу? Может, ты и не заметила, потому что как раз насупилась. Наверное, тебе не очень понравилось это «тоже». Я понимаю, это не может понравиться ни одной уважающей себя девушке. Даже если ей от роду нет еще и двух месяцев.

— Посмотри, я принес тебе праздничную булку, мама сама пекла. Здорово вкусная. Ты

только попробуй. Уж такой-то у вас нет!

Теперь ты понимаешь, сестренка, почему Урмас для меня самый близкий человек на свете? Именно из-за этой половинки булки, излучающей тепло его дома! Кто бы еще во всем свете догадался принести мне в праздничный вечер теплую булку с изюмом, испеченную ма-мой?! Я прекрасно понимаю, о чем ты, маленькая жмурочка, подумала. Тебе как назло вспомнился Свен. Эдакий принц! В той семье к столу вряд ли подают такие простые вещи, как домашняя булка. У них, ко-нечно, праздники покупают, а не делают.

— А это, — Урмас тут же протянул мне маленький пакетик, — тебе под елку. Не бог весть что, но сделал сам...

Может, я и не стала бы сразу разворачивать бумагу, но ведь ты же сама потребовала. Я и не знала, что ты такая любопытная. Иначе как это понимать? «уви-и! уви-и!»». Конечно же, «увидеть! увидеть!»

Что-что, а жадной меня не назовешь. Я развернула пакет. Там оказалась записная книжечка с белыми ли-сточками, изящно переплетенная самим Урмасом. В нее я буду записывать свои первые песни.

Только бы мне найти к ним слова, такие же красивые, как эта книжка — простой льняной переплет, украшен-ный скромным золотым рисунком. Как только он сумел сделать такую прелестную вещь? В магазинах таких не найдешь. На первой странице эпиграф:

«...И во лбу звезда горит...»

А у нас с тобой нет ничего такого, чтобы подарить Урмасу. Разве что пустяковый носовой платок с ме-режкой. Правда, тоже вышитый своими руками. Хо-рошо, что хотя бы такой подарок у нас есть, а ты про-тестуешь. Ведь в носовой платок сморкаются! Я, ко-нечно, понимаю — тебе хотелось подарить Урмасу по меньшей мере мотоцикл и ты так громко плакала по-тому, что не получилось по-твоему.

Но Урмас вежливее тебя. Он положил платок в на-грудный карман так, что он был немножко виден, и в его серых глазах засветилась благодарность.

— Теперь мне надо идти. Иначе не успею к полу-ночи...

Я не слышала, что он сказал еще, потому что скло-нилась над тобой, ведь ты так кричала, открыв малень-кий беззубый ротик и была такая забавно-некрасивая, что мне было тебя очень жаль. И все-таки я знаю, что он сказал мне. В полночь, когда часы пробьют двенад-цать, мы будем думать друг о друге и поздравим друг друга с Новым годом. Вот что он сказал.

Как будто я могла думать о чем-то другом!

Но мне не удалось даже пойти проводить его, потому что надо было перепеленать тебя. Прямо беда с тобой! Надо же тебе было как раз теперь быть мокрой? А если уж так случилось, неужели нельзя было чуть-чуть по-терпеть? Только нет, ты ведь еще не научилась искус-ству терпеливой вежливости. Терпение у тебя крохот-ное, как и ты сама. Ты успокоилась только после того, как я тебя завернула в сухие пеленки.

Мне показалось, что ты велела хорошенько укрыть тебя, а мне самой подойти к окну, открыть его и выглянуть на улицу. Конечно, только ты, с твоим мудрым личиком, могла знать, что Урмас стоит под фонарем и смотрит вверх, на наше окно и что, увидев меня, он по-машет мне рукой, а в руке у него что-то белое.

Так что ты совершенно напрасно сердилась на меня за этот платок.

Ой, сестренка, ты и не знаешь, как счастлива ты была в свою первую новогоднюю ночь! Однажды, когда ты вырастешь, я расскажу тебе об этом. О нашей с то-бой новогодней ночи и о том, что тогда случилось или даже не случилось, а просто было. Было, как все хоро-шее в мире. СРЕДА...

«Малышке не нужен такой яркий свет», «Ой, ми-лочка, приглуши радио, малышке это мешает. Это вредно для ее нервной системы», «Малышка хочет на ручки. Возьми ее», «Малышка хочет смотреть в окно, подойди с ней к окошку» – и так далее, непрерывно в том же духе. Опять и опять о том, чего малышка хочет или не хочет. Как будто между мной и сестренкой давно уже не появились свои тайны и словно я в малышах ничего не понимаю.

Хорошо все-таки, что сестренка еще не умеет потре-бовать луну с неба. Уж не знаю, кому из нас пришлось бы тогда взбираться на небо.

И вообще, зачем ее называют малышкой? Ведь это вовсе не имя. Конечно, с ее настоящим именем не все в порядке, но раз уж так называли, то, по-моему, иногда все-таки следует произносить это имя. Ведь и кошку обычно не называют Кошка.

Флёр! Назвать эстонскую девочку французским име-нем из английского романа и самой никогда не произ-носить этого имени! Это так похоже на мою мачеху. И к тому же имя, которое в метрике пишется Fleur, а произносится Флёр, означает просто цветок. Зачем столько сложностей? Неужели флер звучит лучше, чем цветок? Я, право, не нахожу. Это все происходит от того, что человек читает мало хороших книг. И если моя мачеха сейчас не успевает ничего читать — а это вполне возможно — то можно опасаться, что когда-нибудь у меня появится брат, которого назовут, напри-мер, Сомс!

С каким удовольствием я забрала бы отсюда этот цве-ток. У меня даже хватило глупости предложить это ма-чехе, Я вздохнула и сказала что-то в таком роде:

— Жаль, что у нас с Флёр такая разница в возрасте. Когда она придет в школу-интернат, меня там уже давно не будет...

Мачеха сердито оборвала меня:

— Ты с ума сошла, что ли? Мой ребенок — в школе-интернате! Для чего же, по-твоему, у нее есть я и отец?

Не знаю, наверно, она не подумала, прежде чем ска-зать это. Но и после она не попыталась смягчить ска-занное или превратить в шутку, а я сделала семь глу-боких вдохов и выдохов и задержала дыхание так, что чуть не лопнули легкие, но... О, древние йоги, как вам легко жилось, если вам это помогало!

Но в конце концов, я не смею забывать, что мачеха сделала мне много хорошего и ее дочь все-таки моя сестренка. СРЕДА...

Сегодня в магазине я случайно встретила Лики. Она поторопилась сообщить мне, что уже завтра уезжает в школу-интернат. На мое удивление она ответила:

— Ах, у нас дома такое положение.

Я ожидала совсем другого, как вдруг Лики, которая вообще-то не очень любит рассказывать о себе (и тем более о домашних делах), стала рассказывать мне свою биографию. Ее отец и мать умерли. У нее приемные родители. Наверно, у меня очень изменилось лицо, по-тому что Лики поспешила объяснить:

— О, не думай, что из-за этого. Мои приемные роди-тели лучше, чем у многих настоящие. Приемный отец в самом деле мой дядя со стороны мамы. В наш дом попала бомба. Папа и

мама погибли. Потом мы жили в деревне, у дедушки с бабушкой. Бабушка умерла в тот же год. И мы все четверо — сестра, брат, я и дедушка — остались на шее у дяди. Тогда-то дядя и женился на моей приемной матери. Если бы ты знала, какая она! Как-то раз один умник спросил у нее, разве она не хочет иметь своих детей? Ты бы видела тогда ее лицо! «А чьи же, по-вашему, эти дети? Хотела бы я с о и х? Считаете, что эти мне предназначены законом? Вот именно этих-то я и хотела». Ой, знаешь, это были здо-рово замечательные слова, их надо было бы записать на магнитофон. Стоило бы их иногда давать кое-кому послушать. И знаешь, в чем для нее самая большая радость? Когда кто-нибудь чужой, кто не в курсе дела, находит, что кто-нибудь из нас похож на нее. Конечно же, мы зовем ее мамой.

Ты бы только послушала ее, когда она, если в на-строении, рассказывает о своей жизни. Ни в каких кни-гах ты такого не встретишь. Буржуазная тюрьма, побег, потом долго скрывалась. Это так увлекательно, что слу-шаешь — и поешь забываешь. Ты как-нибудь зайди, тогда сама увидишь. Сестра записывает ее рассказы. Сестра у меня другая. Пишет стихи и прочее там. Вы с ней станете друзьями. Вообще у нее голова на месте. Но мачеха не делает между нами никакой разницы. Может быть, о брате заботится немного больше, ведь брат у меня инвалид. Когда был маленьким, подорвался на mine и остался без ноги. Мачеха тренирует его. В свое время она была хорошей спортсменкой. И сейчас еще играет в волейбол. Потому-то и у меня со спор-том... Конечно, лучше бы моя голова была приспособ-лена к более хитрым вещам, но ее радуют и мои пер-вые места в спорте, и стихи сестры, и радиоприемники, сделанные братом...

— Зачем ты себя так принижаешь, ведь ты пре-красно рисуешь, — торопливо перебила я, а сама была в восторге от этой чудесной семьи. Мы уже давно вы-шли из магазина, стояли на углу и продолжали разго-варивать. Смешно — в школе, где мы днем и ночью вместе, мы почему-то ни разу так не говорили, а тут вдруг! Я узнала, что дома у них туговато. Работников двое, а семья — шесть человек. Лики говорит об этом так просто и деловито, как будто это благо. Дома она обстирывала всю семью, штопала и латала на всех и теперь прямо руки чешутся — хочется работать.

— Знаешь, я терпеть не могу болтаться без дела, — добавила она откровенно и тут же предложила: — По-едем тоже. Ну что тебе здесь, в городе, делать! Хватит уже жевать пряники и плевать в потолок. А в интернате дел по горло. Я уже все обдумала. Долго ли мы будем еще дожидаться, пока достроят новый дом. По-жалуй, при нас его так и не достроят. Слышала, и воспи-тательница того же мнения. Давай возьмемся за дело и своими руками приведем в настоящий порядок и под-ремонтируем наши комнаты. Я все обдумала. Там нужно будет сделать перестановку и навести уют. Сей-час как раз подходящее время. С Вестой я еще до кани-кул поговорила. Она вообще не собиралась уезжать домой. Марелле мы всегда найдем. Еще кое-кого из де-вочек — и, смотри, какие кадры!

— Возьмем хотя бы потолок...

Тут уж началось горячее обсуждение возможностей санитарного и не знаю какого еще ремонта, который мы могли бы сделать. В разговоре все чаще слышалось ужасно привлекательное слово — оформление. До сих пор я считала, что оно применяется только по отно-шению к большим художникам, к выставкам и витри-нам, но выходит, что в самом обыкновенном жилище многое можно оформить! У Лики все-таки большой талант художника, хотя она сама в это не верит, а тут, стоя на углу улицы, она заставила проснуться и мою фантазию. Мы размахивали руками, как ветряные мельницы, рисуя планы в морозном январском воз-духе. Я и сама не заметила, как увлеклась ее идеей. И вдруг почувствовала совершенно невероятное и не-логичное — тоску по интернату! По той самостоятель-ности, по тем возможностям, по нашим девочкам. ПЯТНИЦА...

Мальчики, те, конечно, кто оставался в интернате на каникулах, привели в порядок каток. Увидев меня ут-ром на школьном дворе, Энту удивленно приподнял брови и даже шапку!..

— Ого. Кукла уже вернулась. Доброе утро!

Кстати, после того «кукольного собрания» он зовет меня не иначе, как Кукла. Мне, наверно, надо благо-дарить судьбу, что мне не пришлось в тот раз говорить, например, о сельском хозяйстве: возможно, что тогда он стал бы звать меня Брюквой.

А кататься на коньках чудесно. Замечательно!

Когда я в первый раз вышла на лед, я просто обал-дела. И малыши тоже. Они, казалось, готовы были ра-зорвать меня на части. Одной помоги надеть коньки, другую возьми за руки и покатай, третьей помоги встать, четвертой подуй на ушибленное место. Даже маленькие мальчишки и те вертелись около нас. На катке собирались и интернатские, и живущие в городе.

А Сассь беспрерывно требует показать, как пово-ра-чивать, как переступить через ногу и т. д. Я все пока-зываю ей с удовольствием, не скромничаю. Наконец-то нашлось что-то, что и я по-настоящему умею. Выда-вала такие круги и восьмерки, что даже Энту загля-делся. Не скажу, чтобы это меня смутило!

И погода была как на заказ. Все вокруг — каждая веточка, каждая бровь, каждая прядь волос были при-сыпаны серебристой пудрой инея. Неожиданно солнце скользнуло единственным длинным лучом по стенам школы, и лед засветился розовым, а тени на снегу, по краям катка, стали голубыми. Такого голубого цвета не найдешь ни в каком наборе красок.

А на ногах были не коньки, а крылья. Ой, какая ра-дость! Радость движения! Силы! Радость свободы! Ра-дость от всего. И как эта радость перекачивается от одного к другому и захватывает всех! Она делает злюку добрым и врага терпимым.

Я даже приняла приглашение Энту. Когда мы закон-чили двенадцатый круг, Энту сказал: «Наконец-то на-шлась девчонка, которую не приходится тащить за со-бой, как мешок. Сама катается».

Он забыл о Лики. Но, пожалуй, я от Лики не очень и отстаю. Вообще мы с Лики во многом схожи, хотя по существу мы совсем разные. Расскажу, что однажды случилось.

В первый же день после возвращения в интернат мы принялись мыть потолки. Лики в одной комнате, я в другой. Уже за первый час я безнадежно от нее от-стала. И все же выдержала до конца. Всю ночь у меня все болело, и на следующее утро от одной мысли по-смотреть на потолок сводило шею. Когда после завт-рака мы вернулись к себе и Лики полезла под потолок, я предусмотрительно забралась в постель. Страшно тоскливо становилось на душе при воспоминании о том, что все другие сейчас дома, окружены заботой и лаской мам и пап, а я здесь словно добровольный галерный раб.

Натянула одеяло на голову и решила хорошенько выспаться. Лики подошла и стащила с меня одеяло. Я рассердилась. Но не успела и слова сказать, как Лики сама принялась бранить меня. Вот тебе раз! Она — меня. Я решила послушать, что из этого выйдет. А вы-шло очень многое.

— И зачем было браться, раз ты такая размазня. — Ой, до чего противное слово размазня! Размазня? А мо-жет, у меня воспаление какого-нибудь шейного нерва или мышц — иначе почему же там так жжет. А Лики продолжала честить меня. Нос, мол, морщить я умею, а когда надо что-то сделать своими руками, то у меня сразу нервы воспаляются! Выходит, что я, также как некоторые, надеюсь, что другие за меня все сделают. А самой лень пальцем пошевелить для других. Этого она от меня уж никак не ожидала. И все в таком духе.

Это было уж слишком. Разве в этом дело? Не все же такие привычные и сильные, как она. И

вдруг Лики словно бы устыдилась своей резкости, неожиданно улыбнулась и сказала:

— Что же ты приуныла. Эта боль проходит, как только начнешь двигаться. Знаю по спорту. Если долго не тренируешься, всегда бывает трудно. А потом тем более приятно. Правда. Иди, попробуй разок. Хоть немножко. Сначала потихоньку. По мере сил. Я свой потолок домою и приду тебе помогать. Сегодня надо постараться закончить хотя бы побелку. А то не успе-ем. Завтра, когда появится Веста, надо обязательно приниматься за стены.

И, конечно, я опять полезла под потолок. Но ничего сразу не прошло. Только я и виду не подавала. Вообще-то эта побелка, особенно потолка, здорово трудное дело. У нас ведь все это делается в таком «самодеятель-ном» порядке. И в добывании материалов пришлось проявить изобретательность. Вместо мела мы исполь-зовали зубной порошок и для добавки выпросили в мастерской немного клея. Ведь никто не хочет много тратить на такой ремонт, когда все живут в надежде на новое, великолепное здание интерната. Но наш при-мер, видимо, заразил и других, и даже Энту затеял в своей группе что-то вроде нашего. СУББОТА...

Ур-ра-а! Мы достали две банки краски для пола. Так что пол в умывалке приведем в порядок. Окна и двери достаточно хорошенько вымыть. Вчера вечером Лики и Веста решили после школы года на два пойти на строительно-ремонтные работы, а я серьезно обдумы-ваю, не присоединиться ли мне к ним. Это такая работа, что в конце дня видны результаты. Вообще из всех человеческих слов, пожалуй, самое содержательное слово строить!

В сущности, очень много мест, куда бы я хотела пойти работать сразу после окончания школы. Хотя до конца еще много времени. Полтора года! Может, за это время все самое интересное будет сделано и без нас. Ну, конечно, не все, и новое и еще более интересное все время добавляется.

Ах да, что я еще как-то вечером сделала! В темной комнате в минуту откровенности взяла и рассказала Лики, почему не хожу на танцы, Лики на это свистнула, как судья на соревнованиях:

— Ну, неужели серьезно? До этого я никогда не до-думалась бы. На коньках ты такой мастер...

В результате моего признания Лики теперь каждый вечер вертит меня в прихожей по забрызганному побел-кой полу и в соответствии с ритмом повторяет: раз-два-три, раз-два-три. Я уже отличаю вальс от фокса. Легче всего, по-моему, танго. Хватает времени поду-мать о ногах. Во всяком случае, Сассь считает, что ужасная несправедливость пускать на танцы только с седьмого класса. У нее все эти липси, типси, самба, карамба, румба — и как их там — выходят так легко и просто, как у врожденного танцора. Только на этих наших уроках ее партнер — большая кисть для по-белки.

И вообще я сделала одно медицинское открытие. Против мышечной боли самое лучшее средство — тан-цевать. Можно попробовать и коньки. Последнее осо-бенно полезно против депрессии.

Так хорошо и весело, как в эти последние дни и ве-чера, мне здесь еще никогда не было. Болтали с дев-чонками до полуночи. Строили головокружительные планы. Только вот каникулы уже подходят к концу. До начала нового полугодия осталось всего тридцать два часа. А дел еще много, хотя сделано еще больше.

Интересно будет посмотреть на лица девочек, ведь завтра они уже начнут съезжаться. СРЕДА...

Девочки сначала не хотели верить, что все это сде-лали мы сами. Разумеется, если бы

воспитательница не помогла нам делом и советом, здесь бы не было ничего того, что есть сейчас. Теперь это по праву можно назвать нашим домом! В первый же вечер у нас состоялся торжественный сбор группы. Каждая принесла к столу привезенные из дому припасы или купила что-нибудь на деньги, полученные от родителей. И какие только планы не обсуждались здесь в тот первый вечер! Самым важным было решение завоевать в будущем полугодии в соревновании групп абсолютное первенство! С тем, чтобы в будущем году пианино было в нашей группе. Оно так долго простояло в седьмой группе мальчиков, что они стали считать его своей собственностью. Пора им напомнить, что пианино — переходящая премия интерната, предусмотренная по итогам полугодия для лучшей группы. До сих пор мы и не мечтали о пианино, потому что между нами и седьмой обычно довольно успешно вклинивается еще и девятая группа мальчиков. Не понимаю, каким чудом это удастся мальчишкам? Следует помнить, что воспитательница Сиймсон до сих пор была в седьмой группе, а теперь она у нас. Может быть, вместе с нею мы добьемся и первенства.

Во всяком случае, сейчас у нас так чисто и красиво, что лучше не придумаешь. И отлично, что все это мы сделали своими руками. Мы особенно следим за порядком. Те, кто, сам участвовал в ремонте. Заметнее всего это проявляется у Сассь. Она только и делает, что ходит за девочками и следит за порядком. Чуть что заметит, сразу хмурится и ворчит:

— Что это за бумажки у тебя на столе. Смотри, у нас тут порядок, не то что у тебя дома.

Или:

— Чего ты волос начесала на пол? Из-за твоих кудрей мы можем остаться без пианино. Тебе это безразлично, что ли?

Или уже совсем серьезно:

— Ты, что ли, пол красила? А? Не красила? Тогда не лезь в сапогах на выкрашенный нами пол.

Если послушать Сассь, то создается впечатление, словно она одна здесь все сделала. Однако нельзя не согласиться, что ее маленькие проворные ручонки и неиссякаемая энергия здорово помогли нам в работе. А теперь она с тем же пылом охраняет свою и нашу работу и изо всех сил старается перетянуть пианино в нашу группу. Если бы только нам хватило этого заряда на целые полгода: тогда в следующем полугодии пианино обязательно будет у нас. И место для него уже подготовлено. Мы ведь сделали у себя перестановку. Платяной шкаф переставили в прихожую. Стало больше места и краска на полу лучше сохраняется, потому что от постоянного передвижения шкафа взад и вперед стиралась не только краска, но и половицы под ней. Комната теперь перегороджена деревянной решеткой, которую мы тоже сделали сами. Доски получили со стройки, а просветы в решетке, как полагается в детской, заклеили картинками, нарисованными Лики и Марелле.

Таким образом, получилась умывалка, а за нею жилая комната. Дверь стенного шкафа завесили ков-ром.

Надо надеяться, что это будет заглушать наши голоса, и наши разговоры не будут доноситься до мальчиков. Но самый лучший глушитель все-таки сознание, что нас можно услышать. Это сознание сыграло для нас благородную роль. Немалое значение имеет и соревнование по поведению, которое проводится между пионерами и октябрятами, но следить за ним и подводить итоги поручено нам. Ведь нельзя же позволить себе грубо разговаривать или вести себя невежливо, когда тебе поручено следить за поведением малышей.

Вообще у нас тут все складывается так, что пианино просто обязательно должно достаться нам. Кроме всего, у нас в группе несколько человек уже умеют играть или хотят научиться.

Тинка, Айна и немножко Марелле. Неожиданно в эти планы вмешалась и Марью.

— Тогда и я буду учиться играть. Мне так хочется.

— Ты! — презрительно бросила Айна. — А кто же тебя будет учить?

— Свен, если я попрошу, — покраснела Марью. Сассь, до сих пор наблюдавшая за своей подругой со стороны, вдруг резко обернулась к Айне:

— А ты думала, что только ты одна можешь научиться? Фу! — И снова к Марью: — Вот именно, научись. Покажи этой задаваке! Только чтобы никаких там опер. Может, еще и я буду учиться. Не знаю еще... — заявила она в заключение, важно нахмутив брови.

Итак, пианистов хоть отбавляй! Только вот пианино пока еще нет. ЧЕТВЕРГ...

Сегодня утром, по случаю новой четверти, директор устроил традиционное общее собрание. Говорилось об учебе в прошлой четверти, о лучших классах, о передовых учениках в каждом классе, об отстающих и т. д.

Среди групп на первом месте по-прежнему были мальчишки из седьмой, а на втором (на том, где приходилось бывать и нам) опять мальчишки из девятой. И только на третьем месте — мы. Но это совсем не так и плохо, потому что за нами еще целых девять групп. Вдобавок нас похвалили особо. Нас поставили всем в пример за наш самостоятельный ремонт, а больше всего хвалили нашу комсомольскую группу за великолепное (это слово не мной придумано, а прозвучало в речи директора) начинание — за заботу об октябрятах и пионерах и за работу с ними.

На этом же собрании малышам до пятого класса были розданы экспонаты нашей кукольной выставки. Первой из числа детей образцового поведения была, конечно, названа наша Марью. И тут же было добавлено имя ее шефа — Весты. Из нашей группы премию получила и подопечная Лики — маленькая Резт. Мальчишек премировали настольными играми. Когда Марью шла за подарком, я украдкой взглянула на Сассь. Она сидела с таким видом, словно вот-вот засвистит от полнейшего равнодушия, и беспечно болтала ногами.

Вечером, в группе, когда все малыши (да и старшие) склонились над куклами и громко восторгались их платьицами, пальто и бельишком, Сассь сидела в спальне. Когда я пришла взглянуть на нее, она сидела на кровати и очень старательно рисовала что-то в своей тетрадке. Я осторожно подошла к ней. Заметила, что она в этот момент трудилась над хвостом какого-то небывалого в природе зверя. У этого зверя был тыквообразный живот, лошадиная голова, коровьи рога и лисий хвост, а ноги разной толщины. Этот необычайный шедевр творился под заунывный свист. Сразу за мной в спальню вошла Марью и позвала Сассь. Сассь небрежно ответила, что у нее, мол, болит зуб, и пририсовала своему чудовищу к спине огромное крыло. Когда Марью с полуумоляющим-полуизвиняющимся видом подошла к ней ближе, Сассь судорожно свернула рисунок и ничком бросилась на кровать. И разумеется, Марью тут же разложила на ее кровати все свои наряды и куклу, и все двадцать четыре вещицы из ее гардероба и всю мебель и с увлечением стала объяснять, что к чему.

Мне было жаль Сассь. Что касается хорошего поведения, тут конечно, она ничего не заслужила, но все-таки чем-то она сумела же завоевать любовь своей маленькой подруги, да и мою тоже. Теперь она лежала и не могла удержаться, чтобы не смотреть на имущество Марью. Что-то мешало ей радоваться, а что-то не позволяло выразить презрение, и получалась между подругами какая-то игра в жмурки, когда одна из них за своим счастьем и увлечением не замечала «зубной боли» другой.

Позднее, в умывалке, Сассь опять настойчивее всех напоминала девочкам, что вода, в особенности мыльная, оставляет на стенах пятна, а те, кто сам здесь ничего не делал, не

хотят этого понять и постоянно брызгают и пачкают стены. На этот раз она была суровее, чем обычно. Но никому не пришло в голову напомнить Сассь кое-что из ее совсем недавнего прошлого. Даже Айна промолчала.

Сейчас Сассь уже давно спит сном праведника. Спят и остальные. Когда я вставала, чтобы взять из шкафа чернила, Марью лежала с широко открытыми глазами и щеки у нее горели, Я было испугалась. Но когда нагнулась к ней, она обхватила мою шею, и с такой невероятной нежностью прижалась к моей щеке своей мягкой теплой щечкой.

Даю голову на отсечение, что в мире нет более пре-красного света, чем два светлых огонька в глазах сча-стливого ребенка. Я дала ей конфету и поправила одеяло. Не успела я заправить ручку, как, взглянув на Марью, увидела, что она уже крепко спит, подложив руку под щечку, и в ямочке на ее щеке притаилась сча-стливая улыбка. ПОНЕДЕЛЬНИК...

После каникул идет уже вторая неделя, но я все еще не написала о том, что случилось за это время. Прежде всего (это, правда, совсем не событие, а скорее «несобы-тие»), Свен Пурре после каникул все еще не вернулся в школу. По слухам, он болен. Первое время я опасалась, что он до сих пор еще ждет меня около Дома искусств.

Более важное событие, конечно, что в седьмой группе мальчиков новый воспитатель. И даже мужчина. По-здравляем! Воспитательница Сиймсон сама захотела перейти окончательно в нашу группу, потому что наша прежняя воспитательница больше не вернется в школу. Похоже, что даже Тинка восприняла это доброжела-тельно.

Но горе и беда явились к нам в лице Мелиты, кото-рую перевели в нашу группу. Как будто наша группа какая-то исправительная колония! Одна подготовка к этой операции была очень болезненной. Общее собра-ние. Сопровождение. Кого из нас обменять на Мелиту? Все руки дружно поднялись за Аynu. Но это не прошло, потому, что Айнаина мама решалась доверить свое един-ственное дитя заботам именно Сиймсон. По предложе-нию воспитательницы было решено поместить Мелиту в нашей спальне. Следовательно, мы и должны были пожертвовать в обмен кем-то из нашей комнаты. Мы все восемь притихли. Кто-то из малышей назвал Сассь. Сассь вскинула голову, готовая к бою.

Нет, все-таки нет. Ни в коем случае! Это заявила не только я. У Сассь вдруг оказалось множество защитников. Даже Веста! А Сассь тем временем внимательно разглядывала стенку.

Все это было здорово, но проблема по-прежнему была не решена.

И вдруг нашелся доброволец! Марелле! Только Марелле и была на это способна. Никто не стал ее отго-варивать. А все-таки это несправедливо, потому что все мы прекрасно знаем, что Марелле совсем не хочет уходить. Просто это у нее необъяснимая мания жерт-венности. Почему-то у нее это выглядит именно так. Она даже додумалась нас же «утешать» — она, мол, все равно в этой группе будет только ночевать. А все остальное время собирается проводить с нами.

Было в этом что-то жалкое и неловкое. Даже Анне не нашлась, что сказать. Я сделала запоздалую попытку предложить свою кандидатуру, ведь я в эту группу попала позже других. В ответ послышались протестую-щие голоса: «Никуда ты не уйдешь!»

Да, но Марелле? Удивительная все-таки штука кол-лектив. Иногда думается, что он существует только в рассуждениях учителей и воспитателей, да еще в га-зетах и книгах. И вдруг он оказывается рядом и при-нимает решения. Единодушные решения об одном человеке! И маленькая, доставляющая столько хлопот Сассь значит для этого коллектива гораздо больше, чем готовая пожертвовать собой Марелле.

По каким законам логики все это происходит? ПЯТНИЦА...

Сегодня вечером, когда Сассь, пряча что-то под фар-туком, пробиралась в комнату, мне стало сразу ясно, что она замышляет что-то необычное. Я стала поти-хоньку наблюдать за ней.

Сассь стремительно направилась к девочкам, играв-шим в своем уголке. Там в это время играли в демон-страцию мод. Казалось, на этот раз Сассь решила при-нять участие в игре. Однако она остановилась за их спинами, переступая с ноги на ногу, и бесконечно вер-телась, словно от долгого стояния могла заржаветь.

Это продолжалось до тех пор, пока Марью ее заметила и, посторонясь, позвала играть.

Сассь покачала головой, но тут же заявила: «Покажи, пожалуйста, то розовое платье, с оборками». Это «по-жалуйста» и выражение лица Сассь предвещали что-то необычайное. Марью явно обрадовалась приходу под-руги и принялась терпеливо рыться в коробке, отыски-вая самое нарядное платье своей куклы. Когда она через плечо протянула Сассь это платье, в ее лице было что-то тревожное, словно ей хотелось о чем-то предуп-редить ее, но чувство такта удерживало от этого.

Сассь взяла розовое платьице и, разглядывая его со всех сторон, деловито заметила:

— Оно же совсем мятое. Хочешь, я поглажу?

— Да нет же, — Марью часто захлопала ресни-цами, — после выставки она его ни разу не надевала.

— Ну, если тебе жалко, тогда дай другое. Я хочу погладить.

Марью бросила на свое имущество быстрый, расте-рянный взгляд и выбрала простое клетчатое платьице. Сассь почти на лету схватила его и как-то торжественно и важно направилась в переднюю, к гладильной доске. Теперь за ней наблюдали все. Видимо, этого она и до-бывалась.

И вдруг Сассь вытащила из-под передника не что иное, как крошечный утюжок! Но что в этой игрушке больше всего поражало, так это возможность пользо-ваться им, как настоящим!

Словно во всем этом нет ничего особенного, так спо-койно и деловито Сассь включила свой «карманный» утюжок. Тут уж, конечно, все собрались вокруг нее. Но она ничего не отвечала на наши вопросы. Жестом опыт-ной гладильщицы она посплюнула палец и дотронулась им до еще совсем холодного утюга.

— Что это за штука?

— Откуда она у тебя?

— Он в самом деле нагреется?

На последний вопрос мы вскоре получили исчерпы-вающий ответ, потому что все услышали потрескива-ние, характерное для горячего утюга. Сассь с ожесто-чением водила крошечным утюжком по кукольному платью. Нам всем пришлось убедиться, что рядом с Сассь мы ничего не значим. Все мы, вместе с нашим кукольным хозяйством, по сравнению с Сассь просто жалкие и ничтожные существа.

— Ой, Сассь, дай-ка и мне! И мне! — Но этого сча-стья удостоилась только Марью. Однако Сассь все еще не соизволила ответить, откуда у нее эта драгоцен-ность. И я тоже спросила ее. Но прежде чем Сассь успела ответить, Айна сообщила:

— Из электромагазина. У моей мамы тоже есть такой. Это дорожный утюг. Во время гастролей она всегда возит его с собой. Из-за туалетов. Она купила его в Ленинграде. Только там они и бывают. Может быть, теперь завезли и сюда. Мама обещала купить такой и мне, если будут в продаже. Теперь, значит, появились. Только ведь Сассь никто его не покупал. Она потихоньку стащила его из магазина.

Сассь засопела от негодования:

— Может, ты сама и ходишь по магазинам потихоньку таскать вещи, иначе зачем бы подозревать других. А утюг твоей матери ты просто выдумала. Таких в магазинах вообще не бывает. И в Ленинграде тоже не бывает. Даже в Москве. Нигде в жизни не было, потому, что Энрико сделал только один. Для меня. По-няла? Только для меня. Видишь, мне сделал, а тебе не сделает. Умоляй хоть на коленях.

Все это она выпалила одним духом, как пулемет, и, передохнув, прибавила с убийственным превосходством:

— Но если ты хочешь, я могу этим утюгом погладить твои тряпки!

Энрико сделал малышке игрушку!!!

Больше всего это растрогало, конечно, Марелле. Добрые дела — это по ее специальности. И в самом деле, хоть начинай верить, что чудеса происходят прямо у нас на глазах, в нашем интернате.

И какой-то маленький тайничок наверняка имеется в душе самого черствого мальчишки.

Возможно ли это? Вызов брошен ПОНЕДЕЛЬНИК...

Итак, Свен Пурре сегодня наконец появился в школе. Тем временем я уже успела позабыть, что мне еще придется с ним разговаривать. Нельзя сказать, чтобы я чувствовала себя особенно хорошо, когда утром в раз-девалке совершенно неожиданно столкнулась со Свеном, и он спросил:

— Кадри, где ты тогда пропадала?

Ни одна из заранее придуманных фраз не пришла мне в голову. Единственное, что я умею в любом положении — это краснеть. Так было и теперь. Покраснела и пробормотала что-то вроде «меэ, меэ». Безусловно, это не очень остроумно со стороны девушки, заставившей первого в школе кавалера напрасно ждать себя. Но я не впервые замечаю, что все блестящие мысли меня почему-то покидают именно в самый решительный момент.

Кто-то появился за моей спиной. Я поняла это по лицу Свена. Он торопливо предложил мне то же, что однажды раньше. Прийти во время последнего приготовительного урока в музыкальный класс...

По правде говоря, мне хотелось бы научиться лучше понимать музыку. Сегодня, когда я стояла в темной передней и слушала игру Свена, музыка ничуть не захватила меня, не обрадовала, наоборот, было что-то очень тревожное, какой-то совсем чужой мне мир, шумный, почти пугающий. Я даже ждала, чтобы музыка кончилась. Свен перестал играть, и я вошла.

— Тебе понравилось? — сразу спросил он.

— Нет, — покачала головой я.

— Интересно, почему? Я выбрал это специально для тебя. Был уверен, что тебе это по душе

— ведь это «Патетический этюд» Скрябина.

Пусть даже так. Но имя автора еще не означает, что его произведение должно понравиться и, кроме всего, надо сказать, что и имя это мне мало что говорит. Мне не хотелось сознаться в своем невежестве и, чтобы перевести разговор, я спросила:

— Кстати, кто эта красивая девушка, с которой ты был в театре?

— Ах, эта! Это моя двоюродная сестра. Разве ты не заметила, что мы похожи? — глаза Свена смеялись как-то лукаво и победно. Только теперь я догадалась, о чем он думал. И от этого смутилась еще больше. К счастью, Свен подошел к приемнику и торопливо стал крутить кнопки. С некоторым удивлением я наблюдала, как он склонился к приемнику. Может, он позвал меня сюда только за тем, чтобы послушать радио? Вдруг он выпрямился, подошел ко мне, глядя на меня как-то странно, и поклонился:

— Это наш танец, Кадри. Ты его мне задолжала.

В полном смысле слова я впала в панику. Что это он придумал!

— Но ведь могут войти, — пролепетала я.

— В это время сюда никто никогда не заходит, не бойся. Ну?

Он протянул руки, готовясь танцевать со мной. О, святая Терпсихора! (Кажется, так звали древнюю богиню, или музу танцев.) Что за небывалый ритм в этом танце? Такому Лики меня не учила. У меня дрожали колени, и я лепетала беспомощно:

— Но, Свен... что это такое?

Свен приподнял темную бровь.

— Ты не узнала английский вальс? Ничего другого не нашел. Давай, попробуем. Я и сам знаю только основное па. Вот так...

Он взял меня за талию и, держа меня на расстоянии, чтобы я видела, какие шаги он делает, повел меня в танце. Я переступила за ним несколько шагов. Потом как будто пошло. Совсем напрасно я сначала так испугалась. Танцевать с мальчиком, оказывается, так же просто, как и с девочкой. Может быть, даже лучше. Во всяком случае, со Свеном. Он ведь так хорошо танцует. Теперь я понимаю, почему все так любят танцевать.

И вдруг я почувствовала, как что-то жаркое коснулось моего лба, около самых волос. Это было настолько мимолетно, словно просто померещилось, что я не решилась отстраниться. Музыка смолкла, но Свен не сразу отпустил меня. Я подняла глаза и тут же убедилась, что прикосновение ко лбу мне не померещилось. Сияющие глаза Свена вдруг приблизились к моему лицу.

И почему-то именно в эту минуту я взглянула через плечо Свена и сразу увидела в темном проеме двери лицо, казавшееся странно белым.

Я, кажется, даже вскрикнула. Оттолкнула Свена и бросилась бежать. Прежде чем за мною захлопнулась дверь, я успела услышать насмешливое замечание Энту: «Интересная подготовка»...

За ужином, который, несмотря ни на что, наступил как обычно, и к концу которого я даже решила оглядеться, чтобы отыскать глазами Свена, я заметила, что он отчаянно старается подать мне какой-то знак. Я кивнула. По-видимому, он хочет поговорить со мной сразу после ужина. Но, как назло, именно сегодня я была дежурной по столовой. Торопливо, кое-как я

со-ставила посуду в кухонное окошко. Вытерла стол и помчалась. В дверях столкнулась с Сассь. Она дежу-рила по своему столу и, конечно, тоже увлеклась ско-ростным методом. Когда мы вышли с черного хода, пе-ред нами вдруг появился Свен и сказал:

— Сассь, тебе не холодно? Побегай немножко, согре-ешься.

— Смотри, как бы сам не замерз. Пианист эдакий! — сердито ответила Сассь и даже взяла меня за руку, чего она обычно не делает.

— Кадри, — начал Свен тихо, — я хотел только ска-зать — будь спокойна. Не волнуйся. Я заставил его молчать. Никакого шума не будет,

Я крепче сжала ручонку Сассь и, увлекая ее за собой, пустилась бежать. В коридоре Сассь неожиданно заявила:

— Терпеть не могу Свена!

Я удивленно посмотрела в упрямое, но сейчас очень серьезное лицо Сассь.

— Но почему же?

— Не выношу таких, и все тут, — упрямо повторила она, — и что он к тебе клеится?

— Сассь, ну что ты говоришь!

— Будто я не знаю. А ты не обращай на него внима-ния, ладно?

Это была уже не восьмилетняя девчушка, которая только и умеет, что капризничать. Это был некто, про-думавший кое-что на этом свете и теперь решивший предостеречь своего друга.

Я так и не поняла, каким путем пришла она к таким выводам. Может быть, это были следы ее домашней тра-гедии? Но что по отношению ко мне это шло от всего сердца, было видно по ее личику, обращенному в эту минуту ко мне.

Я сжала ее руку. Хотела наклониться, чтобы обнять ее и сказать что-нибудь ласковое, но она не огляды-ваясь уже бежала впереди меня вверх по лестнице.

А мне сегодня вечером было о чем подумать. СРЕДА...

Так и есть — начинаются фокусы Мелиты. Вчера она заболела. Небольшой жар, насморк и кашель. Сестра назначила ей постельный режим. Разумеется, маль-чики тут же явились ее навестить. Естественным и даже ужасно важным это считает, конечно, прежде всего сама Мелита.

Нам всем давно ясно, что Мелита в полном смысле слова больна мальчишками! Это очень некрасивое вы-ражение и его нельзя применять ни к одной девочке, но в отношении Мелиты это суцая правда!

Она может беспрерывно болтать о мальчишках. И чего только не говорит! Конечно, мы все разговари-ваем о мальчишках. Они наши одноклассники, мы живем в одном интернате, у многих из нас среди них есть друзья, но в том, как к ним относится Мелита, в самом деле, есть что-то болезненное. Какая-то противная лихорадочность, что ли... Просто несчастье, когда та-кие, как она, попадают в группу. Она не считается даже с тем, что мы живем в одной комнате с малышами. Если бы не Веста, пообещавшая стереть ее в порошок, если она не прекратит своих разговоров, то она, пожа-луй, начала бы делиться своими секретами даже с маленькой Марью. До того ей хотелось рассказать о своих «приключениях». Похвастать!

А сегодня вот что случилось. Ужин для Мелиты при-нес к нам наверх Энту. Как будто это не могла сделать одна из девочек, сидевших за их столом! Едва Энту успел расставить посуду на ее ночном столике, как в нашу спальню явилась воспитательница. Энрико исчез, как сатана, которого Калевипоэг вбил в землю. С тою лишь разницей, что от него в комнате не осталось и синего дыма.

Мелита поспешила заахать, закашлять и стала тяжело дышать. Такими приемами нашу Сиймсон, конечно, не разжалобишь. Словно не замечая ее, воспитательница оглядела комнату. Я, было, подумала, что она ищет, не спрятали ли мы здесь еще одного мальчишку. Когда же она вдруг заорала: «Как у вас картина висит?!» — то Веста и Роози разом вскочили и стали поправлять эту злополучную картину, которая, по-моему, и так висела совершенно ровно. Затем воспитательница придралась к кончику кушака, торчавшему из дверцы шкафа, и распахнула шкаф. Было ясно, что хорошего ждать не приходится. Роози быстренько подняла с ковра ни-точку, а я схватила вазу с сосновыми ветками, чтобы сменить в ней воду, хотя дежурная сделала это еще утром. Когда я тихонько за спиной воспитательницы ставила вазу на столик, послышалось уже совсем гроз-ное:

— В комнате у вас неряшливо, не прибрано, а вы преспокойно приглашаете в гости мальчиков!

— Кто же их приглашал? — попыталась протесто-вать Веста.

Воспитательница иронически спросила:

— Который год ты, собственно, учишься в нашей школе? С начала, не так ли? Значит, уже четыре года. И за это время еще не усвоила школьные порядки? Удивительно! Просто удивительно. Скажи-ка мне, разрешено ли мальчикам без приглашения и без соот-ветствующей необходимости и разрешения заходить в спальню девочек. Отвечай!

Не реагируя на замешательство Весты, воспитатель-ница подошла к стене, чтобы проверить разболтавшийся выключатель, и стала им энергично щелкать.

— Так я и думала. Выключатель у вас совершенно испорчен, А это опасно. Вы, конечно, не догадались позвать мальчиков, чтобы починить его. А чтобы до-ставить девочкам в спальню кашу — тут-то уж вам совершенно необходимы специалисты — мальчики!

— Зачем же на н а с сердиться, ведь не мы едим эту кашу, — пыталась защищаться и восстановить правду Веста.

— А на кого же тогда? Прежде всего как раз на тебя. Именно на тебя. Для чего же тогда староста? Ты была в комнате. Разве ты не могла сразу сказать ему, что следует?

— Ну, разве такие послушаются, — хмуро ответила Веста.

— Ах вот что! Значит, тебя не слушаются? Выходит, что ты не на месте.

Слепому и глухому должно быть понятно, как глу-боко это задело Весту.

— Назначайте на мое место другого старосту. Ну, хоть Мелиту. Раз уж ее перевели в нашу группу, пусть она за все и отвечает. Другие все равно ведь не могут отвечать за нее. Кому такая здесь нужна, — голос Весты звучал теперь совсем сердито и зло.

— Молчать! — загремела воспитательница так громко, что Мелита, которая совершенно спокойно при-нялась было за еду, от страха разбрызгала молоко и кашу.

— Посмотрите только! — воспитательница покачала головой. — Тебе еще слюнявчик требуется, а ты уже охотишься за кавалерами. Тоже мне, «таланты и по-клонники»!

Счищая с одеяла кашу, Мелита попыталась оправдаться:

— Разве я виновата? Ведь я не приказывала ему приходить. Он сам пришел.

— Ах вот как. Значит, к тебе в спальню мальчики могут заходить в любое время! Я надеюсь, что ты не глупа и сама понимаешь, какое это производит впечатление.

Воспитательница ушла, а все мы были просто удручены. И в свою очередь набросились на Мелиту. Но она, по-видимому, не понимает, что здесь что-то не так. Еще спорит своим низким, скрипучим голосом и приводит такие доводы, что просто смешно слушать.

— Что вы раскудахтались надо мной. Тоже мне со-бытие! Мальчик зашел в спальню! В нашей группе мальчики бывали постоянно, на никто в обморок не падал и «караул» не кричал. Ну да, впрочем, понятно, для вас это такое небывалое чудо. Вам просто завидно, и потому вы раскричались на меня. — И чванливо добавила: — Ну что я могу поделатать, если нравлюсь мальчишкам, и они постоянно бегают за мной. Кто вам мешает тоже нравиться им!

— Нет, идите все сюда, — обратилась Веста к девочкам, прибежавшим из соседних комнат на шум и стоявших в дверях. — Полюбуйтесь, какая красавица свалилась с неба в нашу группу! Уж не считаешь ли ты, что наша Тинка некрасивая девочка и что она, если захочет, не сможет заставить плясать под свою дудку любого мальчишку? Разве Лики не нравится всем мальчишкам в нашей школе? И разве эти твои Энрико и Свен не подрались вчера вечером из-за Кадри? Но когда хоть одна девочка из нашей группы позволила себе вести себя с мальчишками так, как ты! Я тебе скажу — будь осторожна. Из-за таких вещей мы не желаем получать головомойку!

Даже Роози, молча возившаяся около своей тумбочки, вдруг обернулась, медленно и тихо сказала:

— Ты, Мелита, попросила бы директора сразу перевести тебя в группу мальчиков.

Тут в разговор вмешалась уравновешенная Лики:

— Может, хватит? Во всей этой сегодняшней истории Мелита не так уж виновата. Ну, ребята зашли проведать. Проведали и ушли. Энту принес еду. Ведь Мелита же не приглашала его и, когда они приходили, вы тоже были в комнате — это факт. Почему же вы тогда молчали? А только когда воспитательница задала жару...

Позднее, когда почти все разошлись, и Мелита продолжала сердито обвинять нас в несправедливости, мне захотелось хоть немного утихомирить ее, и я сказала:

— Знаешь, Мелита, не стоит быть такой легковерной. Ведь мальчики не всегда такие, какими хотят казаться. Тот же Энрико. Я его давно знаю. Будь с ним осторожнее...

Мелита приподняла с подушки растрепанную голову:

— Можешь засолить своего Энрико, если тебе хочется. Он, знаешь ли, мне вовсе не нравится. Преследует меня как тень.

Ну, вот, говори еще! Рассуждай на эту тему. А что это Веста сказала? Энту и Свен подрались из-за меня? Вот ужас! Могу себе представить, в чем там было дело. Только бы разговор об этом не возобновился! Но едва я успела об этом подумать, как Марелле спросила:

— Послушай, Веста, что ты там говорила насчет Энрико и Свена? Как это они дрались из-за Кадри?

О, до чего мне хотелось самой ответить ей:

— А тебе что за дело?

Но и Веста ответила примерно так же:

— Ах, почему я знаю. Антс сегодня за обедом говорил, что они вчера вечером сцепились из-за Кадри. Энту уже здорово навернул Свену, но тут появилась воспитательница. Антс не успел толком рассказать, Ааду был за соседним столом, услышал и сразу вмешался. Ведь мальчишки — не мы. Это у нас из-за всякого пустяка разговоров не оберешься.

Это верно, иногда людям лучше было бы поменьше болтать. ЧЕТВЕРГ...

Теперь я вполне понимаю, почему девятый класс в таком восторге от своего классного руководителя, учи-тельница Вайномяэ. Если бы все учителя были такими! Если бы каждый из них умел так преподавать свой предмет. Дело в том, что теперь она замещает нашу учительницу литературы.

И начала она свой урок совершенно необычно. Мы знали только, что наша учительница эстонского языка отсутствует, и нас, конечно, ничуть не интересовало, что будет с этим уроком. Перед тем, как войти учителю в класс, стоял невероятный шум, потому что Рейн и Энту демонстрировали у доски какой-то новый танец, очень напоминавший вольную борьбу.

Посреди этого сеанса открылась дверь, и учительница Вайномяэ вошла в класс. Мальчишки, правда, тотчас отскочили друг от друга, но оба они были такие растре-паннные и так дико выглядели, что в классе поднялся хохот. Смех и шум прекратились не сразу.

Учительница Вайномяэ погасила мелькнувшую на лице улыбку и ждала, чтобы наступила тишина. А по-том начала просто и серьезно.

— Ученики, — и повторила с легким, многозначи-тельным ударением, — ученики десятого класса. Нам предстоит переключиться на новое настроение. Сегодня мы открываем одну из самых трагических страниц эстонской литературы. Это жизнь и творчество Юхана Лийва. Погасите, пожалуйста, свет.

Веста удивленно встала и выполнила указание. На мгновение класс погрузился в сиреневый сумрак. Затем обозначились окна, а за ними неслышно, беззвучно и легко кружились снежинки.

В этой настороженной тишине зазвучал низкий, глу-бокий и выразительный голос, переходивший време-нами в шепот:

Падает снежок

тихо, тихо

Стелется пушок

тихо, тихо...

Я и сейчас уверена, что в эту минуту в нашем классе не возникло ни одной строптивой мысли. Мы подсозна-тельно прониклись необычайным, неповторимым оча-рованием этого утра.

Многие из нас знают это стихотворение с детских лет, но до сих пор оно было для нас просто рядом зау-ченных на память слов с однообразным, однословным припевом. Теперь это слово, завершавшее каждую фразу, несло в себе новый смысл и вмещало так много и не повторялось по существу ни разу.

За окнами шел снег... Снег и снег...

В этом стихотворении сочетались музыка и мечта человека, слившегося с природой и прислушивающегося к самому заветному. Мечта, проще и человечнее которой не может быть.

— Одно декабрьское утро в тысяча девятьсот тринадцатом году началось, как и сегодня, снегопадом. В жизни Юхана Лийва это было последнее утро. Последний в его жизни снег. Последние удары сердца. Первого декабря тринадцатого года наконец пришло успокоение. Успокоение для человека, вконец изнуренного физически и духовно.

Что тревожит грудь?

Тише, тише!

Успокойся, сердце,

Тише, тише...

На мгновение воцарилось молчание.

— Зажгите, пожалуйста, свет. Спасибо. Посмотрите на этот портрет, — учительница раскрывает книгу на той странице, где помещен портрет еще молодого Лийва, и показывает нам... — Видите — простое, привлекательное молодое лицо. Не правда ли, эти глаза можно живо представить себе и в ту минуту, когда Лийв, ученик Кодавереской приходской школы, вместе с товарищами шел к пастору, чтобы протестовать против увольнения свободомыслящего учителя.

Я слушаю и восхищаюсь учительницей Вайномяэ. Ах, вот она какая! Высокая, немного сутулая, волосы с проседью и совсем некрасивая, но голос такой чудесный и слова звучат как песня.

Рассказ о биографии поэта переплетается со стихами и стихи с биографическими данными.

Как мрачен ты, как задумчив,

Как пасмурен стал ты, лес!

Осенние, серые тучи

Глядят на тебя с небес.

Как сон, пролетело лето,

промчалось — простыл и след...

Кукушка откуковала,

Недавнего счастья нет...

Нужно ли к этим стихам добавлять какую-то биографию или разъяснения? Разве это трагическое, выраженное в одном образе и непрерывно сменяющееся настроение не говорит о самом главном в самом поэте?

Я понимаю, почему учительница начала эту биографию со дня смерти.

— Вы, школьники, часто оправдываетесь: я не смогла выучить уроки, была больна. Нередко причина — пустяковая головная боль. В таких случаях нередко остаются невыученными

и заданные стихи. Ваше извинение принимается. Никто не станет требовать, чтобы вы учили стихи, если вам нездоровится. Пусть даже это просто механическое повторение стиха с тем, чтобы заучить его наизусть. Но можете ли вы представить себе, какое напряжение требовалось от создателя этих стихов во время его болезни? Никто не принуждал его к этому. Оплата его труда была ничтожной. Более того, даже эту оплату он отказывался принимать, считая, что его труд не стоит и этого.

Так считал человек, годами писавший в страшном одиночестве и создавший при этом такие бесценные сокровища поэзии, как «Скучно. Глина. Поле голо...»

Я не только слышу эту давно знакомую и сейчас совсем новую песню — именно песню — но поразительно ясно вижу всю картину. С бесконечной нежностью всматриваюсь в такую простую и такую трогательную красоту моей родины.

И так картина за картиной, и никак не можешь на-смотреться!

С самой первой минуты это не был обычный школь-ный урок по программе, повторяющейся из года в год, это было как бы новое рождение старой легенды, кото-рая на мгновение ожила во всем своем извечном сиянии и искренности чувства.

Наверно, так рождались наши древние песни. Перед нами раскрывалась судьба человека, судьба одного из наших предков, во всей ее человеческой печали и же-стокости и во всем величии и красоте творчества. При-чем трагичность судьбы возвышает величие его твор-чества, а величие творчества углубляет трагичность его судьбы.

Это потрясающе!

Звезда твоя в небе тогда блеснет,

Когда ты сойдешь в могилу.

Постигнет все думы твои народ,

Постигнет душой их силу...

Какая глубина печали! Песня песней человеческого бессилия! Как жестоко и как прекрасно. Хочется бро-ситься на землю и выплакать все страдания прош-лого...

Перед нами раскрывается не только эта трагическая судьба, но и судьба всего народа. Время и жизнь, о которых несчастный поэт сказал:

Черны потолки в нашем доме,

и время наше черно...

Когда учительница говорит об этом, на мгновение мы ощущаем, как давит этот потолок, гнетуще низкий, темный и тяжелый!

И слушая протест поэта, нельзя не подумать: почему он не родился позднее! Почему не живет в нашу эпоху. Вместе с нами! Может быть, и здоровье его можно было бы поправить. Несомненно даже. Во всяком случае, ему не пришлось бы сносить этих унижений. Существовать из милости на положении какого-то нищего. Постоянно страдать от оскорблений человеческого достоинства.

В то же время испытываешь искреннюю радость и благодарность к тем простым людям, которые так бес-корыстно и человечно помогали ему. Что у голодного, мятежного путника все-таки бывали дни, когда ему лас-ково открывали двери в теплый дом и приветливая

хозяйка его, голодного, спрашивала: «Не желаешь хле-бушка горячего?» С ним делились пахучим, свежим хлебом, и участливые люди окружали измученного пут-ника человеческим теплом простого доброго сердца.

Опять ощущаешь мост между всеми хорошими людьми, теми, кто были, есть и придут в будущем. И звезды встают в темном небе. Светочи человеческого гения, ума и творчества.

Звезда твоя в небе тогда блеснет,

Когда ты сойдешь в могилу.

Постигнет все думы твои народ,

постигнет душой их силу...

Я не слышала, как прозвенел звонок. Только когда в коридоре поднялся обычный на переменах шум, мы все словно очнулись.

И очнулись довольно своеобразно. Едва учительница Вайномяэ успела выйти из класса, как кто-то словно разорвал с треском волшебную завесу. Рейн зевнул и потянулся. Энту встал и направился к двери. Проходя мимо моей парты, он сказал:

— Жуткая мура, до чего же старуха в азарт вошла!

Если б Энту ударил меня, вряд ли я была бы более поражена. Резко повернувшись к нему, я почти крик-нула:

— Ты просто отвратительный тип!

Сказала и не стала ждать, что будет дальше. Вышла из класса. Марелле рассказывала потом, что на мое замечание Энту покраснел. Это, конечно, опять одно из «сновидений» Марелле — я этому никогда не поверю.

Знаю, что надо было сказать Энту что-нибудь более значительное, что-то серьезное, но где же я могла ус-петь обдумать свои слова! Во всяком случае, я доста-точно ясно выразила ему свое презрение. ВТОРНИК...

Наконец-то начал работать сделанный мальчиками радиоузел. Передачи готовят все группы по очереди. Вчера был вечер передач первой группы. Руководи-тель — учительница Вайномяэ.

Мы все сидели по группам в ожидании «первой ла-сточки». Наш теперешний дом, вернее, наш уголок от-дыха выглядит таким милым и уютным. Мы собрались в кружке света, как бабочки вокруг огня. Разноцветный абажур, который смастерили мы сами, освещает каж-дый угол комнаты в свой цвет.

Теперь мне, бесспорно, ясно, что самый большой уют создается только своими руками. В этом одна из при-чин, почему богатый и красивый дом моей мачехи был для меня всегда чужим и далеким.

Теплый красноватый отблеск вспыхивает по време-нам на щеках Весты, когда она склоняется над ска-тертью, которую мы все вместе вышиваем в подарок воспитательнице к Женскому дню. На темных волосах Тинки поблескивает синий отсвет, когда она отрывается от своего альбома, куда наклеивает очередную звезду экрана, пытаюсь поймать взгляд Анне. Анне сидит на самом свету и листает книгу, поминутно поглядывая на все еще молчащий репродуктор. У окна, в зеленова-том углу, Лики штопает носки Рээт.

На другом конце стола, в полумраке, гладит белье Роози. Из-за перегородки доносится плеск воды и то-ропливые голоса малышей. Каждый занят своим делом и в то же время все охвачены приятным волнением ожидания. Малыши уже отправились в спальню, откуда слышится приглушенный смех и возня. Мы мило-стиво оставили дверь открытой, чтобы и они могли по-слушать передачу.

В репродукторе что-то зашипело. Все подняли го-ловы. В спальне стало тихо. Возня прекратилась. Из умывалки, как призраки, появились чисто вымытые девочки в ночных рубашках.

Мы ясно слышали голос Урве:

«Внимание! Внимание! Говорит радиоузел Пукавереской школы-интерната. Предоставляем слово ответст-венному редактору передачи...»

Мы слушаем рассказ учительницы Вайномяэ о создании радиоузла, похвалу в адрес мальчиков из десятого класса. Несколько раз она называет имя Энту, инициа-тора создания радиоузла. Узнаем, какие возможности открывает перед нами наш радиоузел и т. д.

Затем следуют последние известия. Они открываются сигналами пионерского горна и начинаются так:

«Сегодня в полдень девятый класс через своего клас-сного руководителя внес директору предложение про-водить подготовительные уроки без дежурного воспи-тателя. Директор разрешил это девятому классу в ка-честве эксперимента в течение месяца. Если за это время успеваемость не понизится, он утвердит это по-ложение окончательно».

Ого! Вот тебе и девятый! Потому-то они и перегляды-вались в ожидании передачи и волновались больше других. И никому не проговорились ни единым словом. Ну, да ведь это же девятый! Они-то умеют держаться вместе и хранить тайны, если это надо. Этому их учить не приходится. С некоторой завистью мы поглядываем на Анне, Тинку и других девятиклассниц. А они, с тру-дом удерживая улыбки, пытаются сделать вид, словно ничего особенного не произошло, мол, были вещи и по-серьезнее!

Вообще послушать было о чем. Мы, например, уз-нали, что у девочки из первой группы потерялась пер-чатка — красная с серым. Нашедшего просят принести ее в группу или в канцелярию и заранее благодарят. Услышали, что Тийт Лехисте из пятого и Тийт Раун из девятого так оглушительно чавкали за обедом, что у сидящих напротив лопнули барабанные перепонки, а две маленькие девочки из-за соседнего стола в шоковом состоянии были отправлены к врачу и т. д. Передача последних известий была пестрой, разнообразной и ин-тересной.

«Мы открываем первую серию литературных передач «Современная литература» кратким обзором творчества Уно Лахта».

Интересно. Манера выступления Вирве не многим уступает манере Анне. По-видимому, учительница серьезно натренировала ее.

И тут начинаются серьезные дела. Как раз перед этим в комнату вошла воспитательница, прошла к двери в спальню, тихонько закрыла ее, а потом подседа к нам. Рукоделие Весты, которое она отложила, слушая передачу, торопливо спрятано.

После того, как Вирве закончила передачу стихотво-рением «Перед Марьиным днем», — у нас сразу под-нялся спор. Прежде всего, все содержание пришлось еще раз пересказать Марелле в самой простой, разго-ворной прозе. Как это ни странно, но в своих фанта-стических сновидениях она разбирается лучше, чем в печатном слове, в особенности

же в стихах.

— Фу, как ужасно! — передернула Марелле плечами. — И зачем о таких вещах писать, да еще в стихах.

На этот раз и Тинка присоединилась к Марелле.

— Вот именно. Последнее стихотворение можно было бы и не читать. Испортило всю передачу. Ведь сначала было так весело и остроумно — и в заключение такая мерзость. Зачем?

— Ну, конечно, — усмехнулась Веста, — некоторые без конца готовы слушать о любви и прочих штучках-дрючках.

— А почему бы и не о любви? Разве запрещено? — спросила Тинка. — Все великие поэты писали о любви. Ох, подождите! — Словно вспомнив что-то приятное, она продолжала: — Анне, ты ведь знаешь наизусть самый красивый отрывок из той поэмы Пушкина о цыганах. Помнишь, ты как-то вечером читала мне вслух. Прочти, пожалуйста, пусть послушают.

О таких вещах Анне не надо долго упрашивать. Рэз-два и она уже сбросила халатик, накинула только что выглаженный пестрый шарф Роози, завязала его поверх ночной рубашки вокруг талии, схватила из Вестиной шкатулки пучок красных ниток, приколола его к волосам, как цветок, ловким движением спустила с плеча рубашку — и создалась полная иллюзия молодой цыганки, особенно, когда она, сверкая глазами и зубами, поводя бедрами и гордо откинув головку, начала:

Старый муж, грозный муж,

режь меня, жги меня.

Я тверда — не боюсь

ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,

презираю тебя,

я другого люблю,

умираю, любя...

И когда она прочла последние слова, просто мурашки пробежали по спине:

Как ласкала его я в ночной тишине!

Как смеялись тогда мы твоей седине!

Мы все присоединились к бурно аплодировавшей Тинке. Просили Анне повторить и еще повторить!

— Слышала, Веста? — с гордостью спрашивала Тинка, словно сама была причастна к этим стихам. — Ну, что ты на это скажешь?

— Ну да, что же спорить против Пушкина, — невнятно отвечает Веста. — Я просто говорю, что нельзя же вечно говорить только о любви.

— Вот видишь, — злорадствует Тинка, не обращая внимания на последние слова Весты, —

даже тебе понравилось. Значит, о любви все-таки интересно, не так ли? А у нас все о войне, да о войне. Просто надоело!

— Послушай, что ты мелешь, — улыбаясь, перебивает ее Лики. — Совсем ведь не только о войне. Во-первых, и это стихотворение Лахта вовсе не о войне. И, во-вторых, ты ведь слышала, у него были и другие стихи.

— Все равно, — на мгновение смутилась Тинка, — все-таки это совсем не то.

— Во всяком случае, — поспешила Анне на помощь своей подруге, — можно сказать, все эти стихи не что иное, как бесконечная борьба с пережитками, разоблачение врагов, разных недостатков. Помните, в преди-словии тоже об этом говорилось.

— Но Тинка, — как всегда с запозданием вмешивается Марелле, — это стихотворение Пушкина было еще страшнее. Ножи да огонь, всякие ужасы да еще и на-смешки над старым человеком.

Мы засмеялись, но она продолжала упрямо защищать свою точку зрения.

— Мне такие вещи вовсе не нравятся. И вообще стихи обязательно должны быть красивыми... ну, та-кими... такими, как песни.

Марелле никто не принимает всерьез, и наш спор продолжается. Между тем воспитательница принесла откуда-то номер журнала «Лооминг». Открыв журнал, она передает его Анне.

— Прочти, пожалуйста, вслух вот это стихотворение. Анне быстро пробегает глазами указанные строчки и читает:

«...Я умею петь о цветах, любимая,

но зачем? Мы живем в деловое и суровое время...»

— Теперь слышала? — в свою очередь спрашивает Веста у Тинки.

— Ох, тоже мне, — не сдается Тинка. — Если умеет петь — пусть поет. Но, честное слово, я не уловила, о чем там речь. Есть там цветы или нет? Как ты это по-нимаешь, Веста? — немного провоцируя, спрашивает Тинка.

— Ну чего ты заводишься, — пытаюсь вмешаться я, заметив, что Веста начинает кипятиться. — Ты же прекрасно понимаешь. Ведь это ясный ответ поэта на наш спор, не правда ли?

— Ах, пошли вы в лес, — махнула Тинка рукой и улыбнулась. — Я все равно таких стихов не читаю. Я хочу, чтобы было о цветах, а не о всяких там суро-вых временах и... — тут Тинка взглянула на воспи-тательницу, слегка покраснела и все же закончила храбро: — А больше всего мне нравится о любви!

На лице у воспитательницы, до сих пор слушавшей нас молча, появляется какое-то особенное выражение. Она задумчиво вздыхает:

— О, дети, дети! — В глазах ее светится затаенная грусть, и мы настораживаемся. — Хотите, я кое-что расскажу вам? — И, не дожидаясь ответа, продол-жает... — Это случилось в те же времена, о которых речь в «Стариках из Умбузи». Вам кажется, что это было страшно давно, но все вы тогда уже были на свете и были даже не такими уж маленькими. Город-ским ребятам с этим приходилось реже сталкиваться, но... например, ты, Веста, должна бы помнить...

...Это один эпизод из моей жизни, который, по суще-ству, сделал меня такой, какая я есть.

Я была тогда значительно моложе и... глупее. Работала на своем первом случайном месте. После войны не хватало учителей и, бывало, что работали неподготовленные люди. Вот так и я работала несколько лет. Только позднее начала пополнять свои знания.

Это было мое первое место. В маленькой четырех-классной школе, затерянной среди лесов и болот. Учеников было около двадцати пяти, учителей — двое. Вторая учительница была еще моложе меня и, пожалуй, еще глупее. Красивая была девушка. И кое-чему она все-таки могла научить ребят. Во всяком случае, она справлялась с ними лучше, чем я. Они были от нее без ума. Как, впрочем, и все юноши в округе. Она, как говорится, умела вскружить голову. У нее постоянно было несколько поклонников одновременно. Она считала это вполне естественным.

И вот случилось, ко мне приехал брат, работавший в уездном комитете партии. Лайне — так звали вторую учительницу, как раз была у меня, когда брат вошел в комнату. Девочки, надо было видеть эту встречу... словно две птицы вдруг попали в одни силки. Вы знаете, я коммунист и не верю ни в судьбу, ни в предопределения, но когда я вспоминаю это мгновение, мне становится не по себе.

Два человека, два совершенно разных существа стояли друг против друга, и было совершенно ясно даже такому наивному человеку, каким была я, что вся их жизнь до этой минуты была лишь подготовкой к этой встрече.

Не знаю, понимаете ли вы меня. Вы еще слишком молоды для того, чтобы до конца понимать такие вещи, но вы очень горячо беретесь обсуждать эти проблемы, поэтому-то я и решилась на этот очень серьезный разговор.

О да, любовь, любовь!

До этого дня Лайне всегда рассказывала мне о каждой своей так называемой любви. А для ее возраста у нее их было много, даже слишком много. Но как ни удивительно, в этих увлечениях она не растратила своих душевных сил, сохранила их для большой, настоящей любви, которой ждала и искала в каждом новом увлечении и которая не могла не прийти к ней...

Мой брат был на редкость серьезным юношей. Он прошел войну и все-таки умудрился остаться наивным, когда дело касалось девушек.

Полюбили они друг друга, как я уже сказала, с первого взгляда, и тут-то столкнулись два совсем разных характера, сразу проявилась противоположность понятий, мировоззрений, мыслей. Начались взаимные обиды, боль, горечь, непонимание.

Конечно, в первую очередь страдал Олев, мой брат. Лайне при каждом новом крахе «утешалась», уходя с головой в свой прежний, испытанный образ жизни. Конечно, она не переходила известных границ, иначе можно было потерять место учительницы. Но я, живя в соседней комнате, часто слышала, как она возвращалась домой очень поздно, а иногда и под утро. Для меня было загадкой, где она пропадает в такие поздние часы. Сама она говорила, что любит просто побродить и, конечно же, я не считала возможным тайком следить за ней. Кроме того, я верила ей и ее щебетанию, наверно, так же простоудушно, как и мой брат. А когда я пыталась предупредить брата и пожурить Лайне, то всегда выходило плохо — они в конце концов мирились и начинали считать меня своим врагом и недоброжелателем.

Брат мог бывать у нас только с субботнего вечера до утра понедельника.

Как-то, после большой ссоры и примирения, пошли разговоры о свадьбе. Лайне стала относиться ко мне внимательнее, чем когда-либо раньше, и брат был опять добрым братом.

Он казался таким счастливым и доверчивым, что я начала сомневаться в правильности своих наблюдений и стала надеяться, что для Лайне это в самом деле большая любовь, которая стерла в ее сердце все былые увлечения и удержит ее от новых. И если Олев любит Лайне такой, какова она есть, почему же я должна желать, чтобы она была другой, чтобы она с та-кой легкостью не улыбалась и не сияла от одного при-сутствия чужих мужчин. Сама Лайне уверяла меня, что она не может иначе, что это у нее в крови, но что Олева она любит больше всех на свете и готова для него на все.

Время шло... И вот как-то вечером, на этот раз среди недели Олев неожиданно приехал в гости к невесте. Как обычно в последнее время, он прежде всего пошел к ней, но вскоре зашел ко мне и растерянно пояснил, что Лайне заболела и просит оставить ее в покое и возвращаться домой. Брат попросил меня сходить к ней. Я пошла. Лайне с закрытыми глазами лежала в постели. На мои расспросы, что с ней, она застонала и заохала и стала рассказывать о каких-то неопределенных болях. Я постаралась полечить ее, как умела — принесла грелку, напоила горячим чаем, хорошенько укрыла. Мне даже казалось понятным, почему она не позволяет Олеву ухаживать за собой. Она настаивала, чтобы я отправила брата с вечерним автобусом домой, потому что ему надо завтра рано утром быть на работе.

Я считала, что с ее стороны это очень разумное и доброжелательное предложение, и решила уговорить брата согласиться на это. Обещала, что, если потребу-ется, я останусь с нею хоть на всю ночь.

Конечно, Олев не согласился уехать. Он еще раз на-вестил Лайне. Вернулся озабоченный и не ушел никуда. Я постелила ему, как обычно, на диване, а сама решила снова заглянуть к Лайне. Она заявила, что чувствует себя лучше — наверно, помогла грелка, — но очень устала и хочет спать. Лайне сама считала, что к утру все пройдет.

И прошло, но как? Ой, девочки, как!

Мы условились, что если я ей понадоблюсь, она позо-вет или постучит в стенку, и я ушла к себе ложиться спать. Олев лежал на диване и курил.

Наверное, я уже проспала несколько часов, как вдруг что-то разбудило меня. Сначала я не могла понять, что происходит. Но уже в следующее мгновение поняла, что это был крик Лайне о помощи, и он доносился не из-за стены, а из прихожей, от самой моей двери. Я испуганно вскочила, но Олев опередил меня и рас-пахнул дверь. Но тут же отпрянул назад.

Я увидела, что прямо за дверью стоял мужчина и на шее у него повисла Лайне. На голове у нее был платок и на плечи накинута шубка. По-видимому, она только что выходила из дому. И тут только я заметила, что изо рта у нее по подбородку стекает тоненькая алая струйка. В полутемной прихожей я различила еще двоих вооруженных мужчин. Тот, кого Лайне обхватила руками и отчаянно пыталась оттащить от двери, грубо оттолкнул ее, вошел в комнату и, наставив на Олева револьвер, крикнул:

— Ага, попался, красный жених! Колхозник! Комму-нистический прихвостень, подхалим!

Я поняла, кто эти люди. Окрестные леса тогда ки-шели ими.

Девочки, я не стану рассказывать вам подробности. До сих пор не знаю, было ли у них с самого начала намерение убить и меня или я просто случайно попа-лась им под руку. Но когда я после побоев пришла в себя в больнице и мне вспомнилось все, что пришлось пережить в ту страшную ночь, то у меня было одно желание — никогда больше не просыпаться.

Своего брата я больше не видела. Хотя он и лежал в той же больнице. Он умер на третьи сутки. Позднее мне рассказали в милиции, что временами он приходил в себя и ясно помнил

все, что произошло.

У него было больше двух суток, чтобы подумать о предательстве, совершенном любимой девушкой. Два дня и две ночи он мог повторять слова, которые она кричала другому:

— Хельмут, оставь! Не надо! Слышишь, я люблю только тебя! Клянусь богом, я всегда любила только тебя.

Я видела отчаяние в ее глазах и слышала жестокий, но, наверное, заслуженный ответ этого самого Хель-мута перед тем, как он убил ее. Я не могу утверждать, правду ли говорила тогда Лайне или в смертельном страхе она надеялась этим признанием спасти свою жизнь. Я знаю, что эта девочка была настолько наивна, что считала причиной всего свою любовь.

Олев всегда верил ей. Наверное, поверил и в ту ночь. Хотя, может быть, на этот раз ему легче было бы, если б он мог не поверить ее последним словам!

Да, девочки, слова, слова! Большие, красивые слова о любви!

Воспитательница смотрела куда-то вдаль, но страдание, звучавшее в ее голосе, сделало ее такой близкой нам. Мы были потрясены, и никто не решался нарушить молчание. Я впервые заметила, что у Весты и Тинки может быть совсем одинаковое выражение лица.

А Марелле плакала, и мне очень хотелось присоеди-ниться к ней. ПЯТНИЦА...

Веста уже несколько дней какая-то странная и тихая. Позавчера она вдруг не встала с постели. Выяснилось, что у нее уже несколько дней жар. Поначалу ее отпра-вили в карантин.

Никто не мог предвидеть, что может получиться из такого, казалось бы, обычного дела. Именно позавчера, когда она заболела, был контрольный день санитарного поста. Веста отсутствовала, и медсестра почему-то на-значила вместо нее Ааду.

Этот санитарный пост, конечно, под руководством Ааду, одним мановением и совершенно неожиданно ниспроверг нас на предпоследнее место. Откуда же он и набрал эти наши минусы, как не из своего злого и коварного сердца. Этого не могли понять даже старосты других групп, которых мы тут же пригласили осмот-реть нашу комнату. Воспитательница тоже считала, что тут какая-то ошибка.

Например, два минуса за плохо вымытый пол мы по-лучили потому, что в углу умывальной в щели Ааду нашел два крошечных кусочка торфяного брикета, а в спальне едва заметную пушинку, которую он вытащил из-под кровати.

В список одежды, валяющейся на стульях и кроватях, Ааду включил выглядывавший из-под подушки кончик пояска ночной рубашки Мелиты, а в список грязного белья — носовой платок Сассь, впопыхах за-сунутый под матрац. Нечищенную обувь отыскать было нетрудно. Ведь никто в целом интернате не чистил осенью тенниски мелом, а все просто сложили их на зиму в гардеробной. Но почему этот грех засчитали только нашей группе? Надо сказать, что на этот раз санитарный пост здорово потрудился! Осмотреть все кровати, ползать по полу и исследовать каждую щель и карниз, поднимать каждый матрац и подушку... Конечно, такую основательную микроскопическую ра-боту они проделали только в нашей группе. Мы бы ни-чего не сказали, если бы такой же метод был применен повсюду, потому что тогда мы все равно оказались бы впереди. Нам слышалась удаляющаяся, затихающая фортепьянная музыка, и мы были очень возмущены.

Всем нам было ясно, в чем здесь дело. Разумеется, в классе мы заговорили об этом с самим Ааду. Он отве-тил со своей обычной ленивой усмешкой:

— Что вы кипятитесь. Вам указали ваше место — и все. На этот раз Веста не имела

возможности употребить свое влияние. Ясно!

Этого еще не хватало! Я повернулась к Ааду и сердито спросила:

— Что ты хочешь этим сказать?

— А ты не поняла, что ли? — Еще шире усмехаясь, спросил Ааду. — Я могу повторить.

Я подошла к нему еще на шаг:

— Не меряй всех на свой аршин. Зачем ты говоришь о вещах, недоступных твоему пониманию? Если хочешь знать, Веста — честная и справедливая девочка. Может... и это для тебя новость? Именно Веста больше всех в нашей группе придирается и требует. Если не веришь, спроси сестру. Ты, конечно, вообразил, что раз ты изволил раза два с ней потанцевать, то она обязана закрывать глаза на беспорядок в вашей группе. И нечего гримасничать. Это отнюдь не доказывает твоего пре-восходства. Тем более по отношению к Весте. Ты ее мизинца не стоишь.

С последними словами я подошла к Ааду почти вплотную. Я была так рассержена и полна презрения, что чувствовала себя сильной и готовой к борьбе, готовой принять любой самый неравный бой. И он не заставил себя ждать. Прежде чем Ааду успел открыть рот, раздался голос его дружка — Энту:

— Bravo, Кадри! Воспитывай товарища! Подходи к мальчику индивидуально.

Тут уж чаша моего терпения переполнилась. Меня уже не мог остановить или смутить взрыв смеха мальчишек. Я посмотрела в лицо Энту. Поймала его взгляд из-за очков и смело приняла брошенный мне вызов.

— Тебе бы тоже пора вырасти из пеленок. — Опять смех. — Ты действительно полагаешь, что твои дву-смысленные шуточки и пошлости очень интересны?! Может, ты даже думаешь, что они нравятся нам, девочкам? Ошибаешься, Энрико Адамсон! Жестоко ошибаешься. Ни одной порядочной, понимаешь, порядочной девочке они не могут нравиться. Знаешь ли, они настолько мерзкие, что если бы я могла, если бы у нас в республике была другая школа-интернат с выпускными классами, то сегодня же ушла отсюда, чтобы не видеть тебя и твоих приятелей. Я бы уехала отсюда за тысячу километров. Очень жаль, что я не могу этого сделать. Мне некуда уехать. А если тебе это в дальней-шем будет доставлять удовольствие — то пожалуйста! Ведь ты сильнее!

Все мое презрение, вся обида звучали в моем голосе. Я должна была и хотела сказать ему гораздо больше, но у меня просто не хватило сил. И к тому же класс встал; за моей спиной стояла учительница. Я пошла и шлеп! — села за свою парту. Энту так и не успел мне ответить.

Я не так простодушна, чтобы вообразить, что мой неожиданный взрыв мог сколько-нибудь понравиться мальчишкам, тем более Ааду или Энту, или иметь какое-то воспитательное значение. Для этого они счи-тают девочек, а Энту — меня в особенности, слишком незначительным явлением в человеческом обществе.

Если бы дело было только в этом, то еще ничего, но ведь тут еще масса сложностей во взаимоотношениях, характерах.

Хотя Ааду и Энту вот уже почти два дня относятся ко мне, как к какой-то ничтожной пылинке в бесконечном пространстве, и хотя такое положение устраивает меня в тысячу раз больше, чем прежде постоянное насмешливое внимание Энту, все же я все время насто-роже.

Не случайно же в тот раз, когда я высказала Энту все, что у меня накопело на душе, у него

даже нос побелел. Когда он вечером того памятного дня встретился мне в пустом коридоре, у меня как-то странно задрожали колени. Я сумела взять себя в руки только благодаря сознанию, что мы с Энту оказались вдвоем все-таки не на необитаемом острове. Но глаза у него тогда были просто невозможные.

Но и я не отвела глаз. Еще чего! Мы шли друг другу навстречу, как змея и укротитель. Я выдержала!

Я ведь больше не маленькая робкая девочка. Пусть только посмеет!

Но самое смешное в этой истории, что та, за которую я вступила в бой, что та сама...

Так вот, когда я, как временный заместитель Весты, пришла к ней рассказать о случившемся и о том, как подло вел себя Ааду при проверке нашей группы, Веста сказала уныло:

— Этого я все время опасалась. Когда тебя нет на месте, то... Неужели кто-нибудь не мог с утра все хорошенько проверить?!

Этот «кто-нибудь» должна была быть я. Я глотнула зоздух и уставилась на кривую температуры Весты, вывешенную у нее в изголовье. Мне вспомнилось, что учительница рассказывала как-то о детстве Весты, и я сделала пару глубоких вдохов и выдохов. О том, как разворачивались дальнейшие события, я ей рассказы-вать не стала. Добавила только ей в утешение, что пол все-таки был чистый, как и всегда теперь и что сама воспитательница на нашей стороне и после ее вмеша-тельства нам сняли много минусов.

Я немножко понимаю, почему Веста не стала для Ааду тем, чем ей хотелось бы стать, но совершенно непостижимо, как Веста сама этого не может понять или, по крайней мере, заметить, что Ааду относится к ней примерно так же, как Энту ко мне. СРЕДА...

Я предчувствовала, что рано или поздно получу от мальчишек ответный удар, но что он будет таким под-лым, этого я никак не могла ожидать.

А именно — перед уроком эстонского Ааду подошел к столу Тийта, который сидит впереди меня. Я, конечно, не знаю, что ему там понадобилось. И вдруг слышу, Ааду, растягивая слова, подчеркнута громко произно-сит:

Месяц под косой блесит,

а во лбу звезда горит...

В этом было что-то знакомое и в то же время зло-вещее, но я еще не понимала, что именно. А Ааду про-должал с противным, издевательским пафосом:

Наш остров похож на мечту,

на поиски и стремленья...

Сомнения не может быть. Это из моей «звездной тет-ради». Когда я, до смерти испуганная, огляделась по сторонам и на лицах почти всех мальчишек увидела злорадное ожидание и в особенности, когда я заметила, что из-за спины Ааду выглядывает Энту, у меня воз-никло ужасное подозрение. Я бросилась из класса. При-мчалась в интернат, открыла ящик ночного столика и сразу убедилась, что моей тетрадки с золотыми звез-дочками, той, что Урмас подарил мне в новогодний вечер, не было на месте. Кто-то потихоньку взял ее, и теперь она в руках у этой издевающейся компании.

О, какая низость!

Я упала на кровать. Излила в подушку всю свою го-речь, боль и позор. Бог знает, почему, но сильнее всего я чувствовала именно позор!

Меня охватывал жгучий стыд, когда я представляла себе, как Ааду, Энту и вся эта ухмыляющаяся банда, которая ничего не пощадит ради своих пошлых насме-шек, читала мои записки. Читали мои самые заветные мысли. Мысли, записывая которые, я была так счаст-лива, потому что мне казалось, что я сумела сказать что-то самое заветное. Теперь мне это уже не кажется. Совсем нет. При воспоминании о любой строчке меня охватывало жгучее чувство стыда. Я громко стонала и, кажется, даже скрипела зубами.

Значит, это и была месть Энту. За что же именно он мне мстит? Что я ему сделала? Я ведь только два раза попыталась защититься от ударов! Ой, до чего же мне опять хочется уйти из этой школы! Опять в мою ста-рую школу, к Урмасу. Если бы можно было сейчас поговорить с Урмасом! Но придется довольствоваться письмом. Только письмом. Только ведь это совсем не то. Надо долго ждать ответа, да всего и не напишешь... И ведь Урмас не может сделать, чтобы не было того, что произошло, просто вместе с ним все было бы легче перенести. Конечно, легче.

Я ударила кулаком по подушке. Наверно, и Свен при-нимал в этом участие. Мальчишки просто ужасно еди-нодушны, когда задумают что-нибудь в этом роде. Я снова ударила кулаком и тут же почувствовала, как кто-то дотронулся до моего плеча. Я застыла. Не хва-тало еще, чтобы кто-то видел мою истерику. Медленно поднимаю голову. Надо мной склонилась Лики.

— О, Лики, Лики, Лики! — Я зарываюсь головой ей в колени. Она тихо спрашивает:

— Что с тобой? Почему ты убежала из класса? Я объяснила, почему.

— Ах, значит, это-то они и изучали на большой пере-мене, когда я проходила мимо, — сказала Лики. — Это что же, твой дневник?

— Не-ет, не совсем, то есть почти дневник. Пони-маешь, это мои литературные опыты или, ну, в таком роде... Я пишу в эту тетрадь и это... Ох, это гораздо больше, чем просто выдуманное. Это такое, что никто не должен читать, разве только ты или Урмас, а теперь вот они! Ох, до чего же гадко, до чего все это гадко!

— Как они его раздобыли? — задумчиво спросила Лики.

— Если бы я знала. Обычно тетрадка вместе с днев-ником и письмами у меня заперта. Но на этот раз я забыла ее в ночном столике. Я ведь не могла подумать, что она может кого-то заинтересовать и что ее поти-хоньку... Ой, нет!

— В ящике, в тумбочке? — удивилась Лики. — Но как из твоей тумбочки она могла попасть к мальчиш-кам?

Об этом я и не подумала. Но именно это больше всего волновало Лики.

— Это должен был сделать кто-то из нашей комнаты. Или, во всяком случае, из нашей группы. Кто же может быть таким поросенком? Ничего, уж это я дознаюсь. Так этого оставлять нельзя. А теперь постарайся быть выше. Сейчас надо идти в класс. Вайномяэ уже спра-шивала о тебе. Я сказала, что тебе стало плохо. Она послала меня посмотреть, что с тобой. Ну, пойдём. А то еще придет сама, тогда объясняйся.

Всегда нужно держать себя в руках. Если долго уп-ражняешься, то это вполне возможно.

Вайномяэ спросила только, могу ли я быть на уроке. Я кивнула, и она больше ни о чем не допытывалась.

К концу урока, когда она стала спрашивать, она вы-звала меня прочитать какое-либо из стихотворений Лийва. Совершенно механически я начала первое, что пришло в голову.

Кто хочет нравиться, тот всегда,

подумав «нет», отвечает «да»...

Я заметила, как Энту резко повернулся и сквозь очки уставился на меня, как кошка на голубя. Я подняла голову. Слова приобрели какой-то новый смысл. Они не совсем соответствовали случившемуся, но в них был вызов всем подлым людям.

Кто верен себе, своему уму,

тот смерти назло и назло всему

не тщится нравиться никому...

Я бросила эти слова, как перчатку, прямо в лицо своим врагам, тем, кто сидел слева. Возможно, что они поняли это. Во всяком случае, Энту и Ааду наклонились друг к другу и что-то зашептали.

Учительница же, конечно, восприняла мое выступ-ление со своей точки зрения:

— Так, ты когда-нибудь училась декламации?

— Нет, — в замешательстве ответила я.

— Прочти, пожалуйста, еще что-нибудь. Что-нибудь лирическое. Какое стихотворение Лийва ты любишь больше всего? Можешь прочесть и по книге.

— Я не знаю. Очень многие нравятся.

— Ну, а все-таки...

Я начала читать «Осенний цветок». Я его знала на память, хотя его нам не задавали. Но оно мне очень-очень нравится. Я не обращала внимания на то, что и на левом крыле все глаза были обращены ко мне и уши ловили каждое мое слово. Читала, подбодряемая взгля-дом учительницы, читала только для нее и для себя:

...Солнце старое и усталое

на цветок глядит, словно мачеха.

Дочь приемную, нелюбимую,

выдавали так без приданого.

В сером рубище, чуть прикрытую...

А под рубищем тело чистое!

Как страшно и трогательно прекрасно это стихотво-рение, несмотря на свои старомодные, а иногда и уста-ревшие слова. Или именно благодаря им. Почему это в старинных песнях и цветы живут большой жизнью, а у нас в классе некоторые молодые люди, словно мерт-вые камни.

— Я вижу, что ты понимаешь стихи. Отлично. Са-дись!

Не столько эта оценка, сколько похвала, прозвучавшая в голосе учительницы, по-настоящему обрадовала меня. За время, что она преподает у нас, мы убедились, что «отлично» она ставит совсем не из любезности.

Может быть, именно поэтому я восприняла это как вознаграждение за мой недавний позор. Кроме того, произошло нечто совсем странное — или мне это про-сто показалось? Во всяком случае, сразу после меня спросили Энту, и он прочел «Грустна твоя родина»... Он читал просто и человечно. Словно и правда понимал что-то. Если бы я хоть на минуту могла забыть, что это Энту, то, возможно, сочла бы его чтение искренним.

Слишком много произошло в этот несчастный день.

Я видела, как сразу после звонка Лики подбежала к парте Энту и Ааду и как там собралось чуть ли не пол-класса. Догадалась, что это из-за моей тетрадки, но я-то знала, что никакие объяснения теперь не нужны, во всяком случае, мне.

Мне было ясно одно — в дальнейшем надо за сто верст обходить Энту. Он слишком основательно и бесцеремонно вторгся в самое мое сокровенное. Он сделал это, как жестокий захватчик. Почему-то я все время знала и чувствовала, что именно он главный виновник. Никогда не смогу ему этого простить. Никогда! ПОЗДНЕЕ...

Как назойлива была на переменке Марелле, приставшая ко мне с расспросами! Уж такая я и есть — мне очень трудно не отвечать, когда меня спрашивают. А особенно, если это делается по такому следственно-судебному методу. Мне стало куда легче, когда, наконец, к нам присоединилась Лики. Она перевела разговор совсем на другие темы. Лики — одна из немногих, кто всегда умеет вовремя сказать, а если надо, то и промолчать. Мы прошли по коридору целый круг, как вдруг Энту пробрался между гуляющими и остановился перед нами. Он протянул мне мою злосчастную тетрадь. Не говоря ни слова, я схватила ее и тут же хотела вырвать листы и разорвать их. Я хотела вырвать все листы сразу, но мне это не удавалось. Лики удержала мою руку.

Энту все еще стоял перед нами. «Я возвращаю это тебе». Я даже не смотрела в его сторону. Заметила только, как Лики спокойно и медленно смерила его взглядом с ног до головы, словно собиралась шить ему новый костюм.

Энту стоял и, казалось, хотел что-то сказать, но я взглянула на него, и он только пожал плечами и исчез.

— Что это с Энту? — спросила Марелле.

С Энту?! На такие вопросы способна только Марелле. Раз уж она моя одноклассница и к тому же сидит со мной на одной парте, то ничего не оставалось, как по-святить ее в это дело. Лики взяла это на себя и сделала это насколько возможно кратко. Марелле принялась развивать эту тему вопреки всякой логике.

— Я не верю, что Энту это сделал.

— Конечно, не своими руками, но именно он подготавливал кого-то сделать это.

— Все-таки я не верю.

О, Марелле, Марелле, сновидец. Когда ты, наконец, научишься замечать в людях то, что они собой представляют? Прежде всего Энту... ВЕЧЕРОМ...

Вечером к нам пришли наши девочки из других групп. Разумеется, разговор зашел опять на ту же тему. Кто взял? Как взял? Зачем взял?

В сущности, для выяснения того, кто был связующим звеном между ночным столиком и Энту, не потребова-лось особенно длительного расследования. Сначала Ме-лита пыталась отмалчиваться. Наконец ей надоели наши атаки и, вызываяще подняв голову, она созна-лась:

— Ну, взяла, да. Что ж такого? Так вам и надо. Что вы можете мне сделать?

— А почему ты отдала ее именно Энрико?

— Захотела.

— Почему именно ему?

— А если именно он меня об этом попросил?

— Как ему пришло в голову попросить Кадрину тет-радь у тебя?

После долгих разговоров выяснилось, что Энрико спросил Мелиту, чем я занимаюсь по воскресеньям, раз меня нигде не видно и на танцы я не хожу. Мелита и сказала, что я все время что-то пишу. Тут Энту стал настаивать, чтобы Мелита принесла мой дневник и по-казала ему.

— Откуда я знала, что это вовсе не дневник, — сер-дито пожимала плечами Мелита. — Такую дрянь я и правда не взяла бы. Из-за такой чепухи такой шум! Не изображайте из себя неизвестно что. Кого это интере-сует? Держите при себе, если хотите.

Подняв голову и покачивая бедрами, она удалилась в спальню. Единственным ее достоинством до сих пор мы считали то, что она у нас только спит. Когда она дома, то ложится спать даже раньше малышей. Ее не интересует, что мы делаем и о чем говорим. Даже если разговор идет о ней.

— Ужасная девчонка! — сказала на этот раз даже наша любвеобильная Марелле.

— Ну, пусть не воображает, что она и у нас сможет продолжать свои старые фокусы.

По лицу Весты было ясно видно, что в данном случае она была полностью за телесное наказание. Должна честно признаться, что если бы это было поставлено на голосование, то и я подняла бы руку, хотя всякое, даже малейшее физическое наказание просто ненавижу.

— Да-а, — задумчиво сказала Лики. — Что-то надо с этой девчонкой предпринять.

— А что я сказала? — добавила Анне. — Единствен-ное наказание, которое на нее хоть сколько-нибудь по-действует — это выгнать из волейбольной команды. В будущем месяце снова будет соревнование со второй средней школой. И хотя она могла бы принести нам пару очков, все же известно, что как только она открыв-ает рот, то всегда выдает «пряники». Потом во всех городских школах разговоров не оберешься.

Предложение Анне было принято. Полезно ли оно — покажет будущее. Мое положение от этого уже не из-менится и улучшить его невозможно.

Вдруг Марелле повернулась ко мне:

— Послушай, Кадри, а что у тебя в этой тетрадке написано?

— Ой, да! Ты не хочешь ее нам почитать? — под-хватила Анне. — Почитай, пожалуйста! Так интересно, что ты там написала.

Предложения такого рода сыпались со всех сторон. Читать это вслух? А что если и они

поднимут меня на смех? Но и отказаться было невозможно. Во-первых, это не имело большого смысла, потому что тетрадь все равно прочитана, а во-вторых, я была обязана девочкам за их участие, должна дать им какое-то объяснение.

Я начала читать. Сначала волновалась, а потом успокоилась. И как-то удивительно. Читала, а сама словно бы слушала это со стороны:

На далеком острове, на краю земли

Мы спаены тесной дружбой,

Стоим у самой воды, среди

камней и морской пены.

Над нами призывные крики морских птиц,

перед нами капризное, изменчивое море.

А остров похож на мечту

и цветом он, как надежда...

Редко приходят сюда корабли —

Каждый стремится сюда в одинокой лодке.

У всех на шее ожерелье из ракушек,

которое надевают новорожденным,

чтобы всю жизнь они помнили о родном море.

Бывает, ломается мачта и рвется парус,

и тогда тонет лодка...

Нас мало и никто не должен погибнуть,

потому что у нас — одна цель

и в одиночку никто не в силах ее достигнуть.

Мы бережем сокровища нашего острова...

Но бывает — мы верим бурному морю

больше, чем мертвой мудрости.

И хотя сияющие письмена звезд

нам с рождения ясны,

все же они не спасают нас

от грустных дней и ошибок.

Мы делим друг с другом радости

и наши труды и печали —
и в этом наше счастье.
Но многим это кажется смешным.
Над нами смеются те,
кто никогда не был на этом острове,
у края земли,
на острове, похожем на мечту,
и цветом, как надежда.
Они говорят на другом языке.
В этом языке много слов, похожих на острые стрелы,
разящие сердца.
Иногда мы хотим выучить этот язык —
но у нас он звучит смешно и жалко.
Чайка не сможет летать на воробьиных крыльях,
а они считают, что летать —
смешно и глупо.
Правильнее всего плавать,
плавать по течению.
А если встретятся камни
и сильное течение,
они складывают свои плавники,
чтобы сберечь силы.
Единственная их забота — держаться
в хвосте друг у друга.
Единственная их радость — разбивать
хрупкие вещи,
потому что осколки приносят счастье.
Они уверены, что сокровища мира
принадлежат им,
но не знают, что ключ к ним в

наших руках.

На нашем далеком острове на

краю мира,

на том, что похож на мечту

и цветом, как надежда,

на том, где щедра земля,

и расцветают большие мысли,

рождаются мудрые слова,

рождаются добрые дела.

Как только я кончила, Марелле выпалила:

— Ты пишешь прямо как Туглас!

Я не могла не улыбнуться. Ведь я точно знаю, что Марелле читает новеллы Тугласа с самой осени и до сих пор не одолела и первых десяти страниц. Но этим сравнением она выразила свое величайшее одобрение, потому что ее почтение тем глубже, чем меньше она разбирается в существе дела. Да и не только она. Другие тоже хвалили. Было такое чувство, словно кто-то ласковыми пальцами накладывал мазь на обожженное место.

Только Тинка откровенно призналась:

— Я в этом что-то не очень разобралась. Тебе понравилось, Анне?

Анне опустила глаза и ответила уклончиво:

— Ну, золотко, понимание доступно не каждому.

И тут я испугалась, что кто-нибудь начнет допытываться, откуда в моей истории взялись некоторые мысли. Если придется «переводить» еще и это, то, пожалуйста, я не сумею этого сделать. Потому что невозможно объяснить чувства. УТРОМ...

В темной спальне, когда я считала, что все уже давно спят, и только я терзаюсь своими мыслями и мечусь на горячей простыне, неожиданно послышался голос Весты:

— Кадри, ты не спишь?

— Гм? Не сплю.

— Не понимаю, почему ты принимаешь все это так близко к сердцу. Что из того, что они прочли. Пусть прочли. Там не было никакой неправды. Я, правда, не все поняла, но, по-моему, это как раз о таких вещах. Мальчишки именно такие, какими ты их описала. А пишешь ты хорошо. Если бы я так умела! Да они и не потому. Всем известно, как мальчики к тебе относятся. Свен, кроме тебя, не замечает ни одну из девочек. Слышала ведь, из-за тебя он подрался. Их просто задевает, что ты такая...

— Какая же? — испуганно спросила я.

— Ну, такая недоступная и умная, и гордая. Тебе не все нравится и на них ты не обращаешь внимания.

Слова Весты привели меня в замешательство. Неужели это выглядит так? Если бы только они знали, какая я в самом деле трусиха. Но чтобы все окружающее нравилось, даже то, как поступают мальчики, ведь это недопустимо. И если хоть чуточку держусь от них в стороне, то это наверно сложилось у меня еще с детства.

Что же касается остальных слов Весты, то у меня хватает ума понять, что многое было сказано просто, чтобы как-то утешить меня. Но именно это и заставило меня задуматься. В своей группе я давно уже не одинока. Да и была ли я одинока? Скорее уж Веста. А теперь именно она беспокоится обо мне. Помолчав, Веста снова прошептала:

— Кадри! — Да?

— Почему ты сама сразу не сказала мне, как это тогда получилось с Ааду?

Я и теперь не хотела об этом говорить. Поэтому притворилась, что не понимаю:

— В чем дело?

— Что ты из-за меня поссорилась с мальчишками. Наверно, потому они устроили тебе эту историю.

— Ладно, Веста. Лучше не стоит об этом.

— Я больше не могу. Должна тебе что-то сказать. Знаешь, сначала я считала, что ты такая же, как Тинка. Избалованная и капризная. Я не очень-то выношу таких. И еще я думала, что ты относишься ко мне враждебно и высокомерно. Я знаю, все думают, что мне легко, только... Ну, ты сама понимаешь, как мне может быть легко, когда все тут против меня, хотят от меня избавиться и...

В шепоте Весты были очень понятные мне, но такие непривычные для нее нотки.

— Ах, ну что же ты, право. Зачем воспринимать все так мрачно. Разве сама ты мало говоришь о других? Ну, так же говорят о тебе, что же тут такого? Ну, тот раз, правда... Но, знаешь, как это вышло? Тинка иногда и в самом деле бывает такой капризной, уж если заупрямится, то не знает меры, но сама первая забывает об этом, ты же знаешь...

— Почему же не знаю. Она не может смириться с тем, что приходится подчиняться такой, как я. По ее мнению, я этого не стою. Знаешь, она и с Ааду просто мне назло. Ни в чем другом она не смогла показать мне свое превосходство.

— Ах, не говори сразу столько глупостей. Ведь Тинка неплохая. Вообще у нас в группе нет ни одной плохой девчонки. Я, например, ни за что не хотела бы быть в какой-нибудь другой группе, кроме нашей.

— Я тоже, — ясно и уверенно ответила Веста.

— Правда ведь, — горячо подхватила я, — на будущий год у нас здесь станет еще лучше. Обязательно завоюем пианино. Конечно, это зависит от многих обстоятельств, но до тех пор, пока ты у нас староста, у нас больше всех шансов. Нет, честное слово. Я совсем не шучу!

— Спасибо, Кадри!

— Что ты сказала? — Я не верила своим ушам.

— Спасибо тебе, Кадри! — повторила Веста и добавила: — За все.

Мы старались утешить друг друга. Я и Веста. В этом было что-то очень трогательное. Что-то,

о чем ни в каком случае нельзя говорить, потому что это такое особенное чувство, гораздо более глубокое, чем, если бы мы были давними друзьями. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ...

Только вчера, после всех этих событий, я приняла непоколебимое решение — стать мужененавистницей. Во всяком случае, ни одному из мальчиков нашего класса никогда в жизни не сказать ни одного слова. А уже сегодня сомневаюсь, стоит ли ко всему этому относиться так серьезно. Какие-то исключения мне все-таки придется сделать.

Сегодня — Женский день. Даже в такой день мальчишки из нашего класса не могли воздержаться от иронии. Они поздравили нас утром словами, заключенными в огромные кавычки. Их замечания по поводу нашей женственности были куда как остроумны, но никак не доброжелательны и, к сожалению, нередко просто невежливы и обидны.

Конечно, мы и сами понимаем, что сегодняшней день предназначается не для нас, десятиклассниц, но они могли бы оказать нам хоть такую услугу — оставить нас в этот день в покое.

При этом они умеют вести себя прекрасно. Торжественную речь по поводу Женского дня произнес Андрес из девятого класса. И какую речь. Просто невероятно. До сих пор я считала, что только Урмас может высказывать такие мысли. Выходит, что есть и другие.

В программе, как всегда, был великолепен Свен, но и наш хор малышей тоже хорошо справился с выступлением. Да и все остальные. У нас в гостях были мамы, живущие поблизости, а некоторые приехали и изда-лека. По временам мы почти забываем, что где-то у нас есть свой дом. Но вот приезжают мамы, сидят с нами и радуются нам, а мы — им. Некоторые мамы уже старенькие и усталые и очень скромные, некоторые еще молодые и энергичные, но всем интересна наша жизнь, всех волнуют наши дела. Они спрашивают о нас и им хочется слышать только хорошее, и мы сами хотим, чтобы все было хорошо. Удивительно, но почему-то напрашивается мысль, что и родители наши в чем-то похожи друг на друга. Может быть, это оттого, что все остальное у нас общее. И очень приятно слышать, когда воспитательница говорит той или иной маме что-то хорошее о ее ребенке. У бабушки Сассь немножко трясутся руки и голова и, когда воспитательница сказала ей, что Сассь у нас молодец и что она исправилась, то у старушки еще больше затряслась седая голова, и тогда я сама еще много хорошего рассказала ей о внучке.

Но чудеснее всех все-таки Роозина мама. Я о ней уже слышала, но сама она превзошла все ожидания. По профессии она геолог. Это само по себе кое-что значит. И как увлекательно она умеет об этом говорить.

Вся наша группа немножко гордится Роозиной мамой. Во всяком случае, ни в одной группе таких нет. Когда она рассказывала о своей работе, об экспедициях в разных отдаленных местах, то так умело связывала это с нашей повседневной жизнью, с нашей общей целью. Вообще, сколько у нее знаний и как она любит свою работу! Целый зал слушал ее, затаив дыхание, и было настолько непривычно тихо, что я заметила, как даже Энту не решился громко закашлять и постарался заглушить кашель платком.

После акта мама Роози вместе с нами пришла к нам в группу. Ну, эту картину стоило бы запечатлеть на пленку, когда все вокруг нее столпились. И смелее всех, конечно, Сассь. Когда мама села, Сассь просунула голову под ее руку и никому не заступила своего места. Даже Роози. Хотя Роози и не пыталась ее оттеснить. Она стояла за маминым стулом и, улыбаясь, держала руку на мамином плече. А мама, обхватив одной рукой худенькую Сассь, другой рукой время от времени гладила руку Роози, лежавшую на ее плече. Во всем этом было что-то, на мгновение пробудившее мою старую боль и горечь, но я быстро справилась с этим чувством. Ведь я уже не маленькая и, кроме того, я была здесь и во всем участвовала.

Разумеется, маму Роози интересовало все, что касается нашей жизни. Оказалось, что она

знает о нас очень многое. Она знала даже меня, хотя мы встретились впервые. Несомненно, Роози ей обо всем пишет. Но меня поражает ее необыкновенная память и интерес ко всем и ко всему. Мы, с нашими маленькими радостями и заботами, стали даже в своих собственных глазах как-то значительнее, наш маленький коллектив и вся жизнь здесь приобрели новое значение, потому что всем этим интересовался такой человек. И, конечно же, такому человеку хочется все рассказать. На каждый ее вопрос слышалось сразу несколько ответов. Ра-зумеется, мы ни за что не хотели отпускать ее и в конце концов отправились провожать всей группой. Признаться, тут мы не проявили особой чуткости. Воспитательница нам прямо сказала, что мы должны были быть догадливы и хотя бы ненадолго оставить Роози наедине с ее мамой. Но полная разочарования пауза, последовавшая за этим замечанием, была настолько единодушной и у Сассы было такое лицо, словно ее на глазах у всех ограбили до нитки, что Роози сама пригласила пойти с нею всех, кто хочет. Захотели все. Этот вечер я, несомненно, запомню на всю жизнь, как самый хороший за время моего пребывания в школе-интернате.

После ужина, когда мы остались одни с воспитательницей Сиймсон, мы торжественно подарили ей вышитую нами скатерть. И, пожалуй, вовсе не усталость заставила ее украдкой потереть глаза.

Со своей стороны, она решила угостить нас чаем. Мы едва успели поставить на стол булочки и разлить чай, как отворилась дверь, и мальчики из седьмой группы вместе со своим воспитателем вошли в комнату. У Свена в руках был огромный букет цветов, и он передал его своей бывшей воспитательнице с таким элегантным поклоном, что слов уже не потребовалось. Андрес сказал самое главное — слова благодарности.

Мы попросили нежданных гостей чувствовать себя как дома. У нас было тесновато, но очень весело. Даже мне, новоиспеченной мужененавистнице. К счастью, ни Энту ни Ааду не входят в эту группу.

Раз-два — и мальчики помогли нам отставить в спальне мебель в сторонку и у нас образовалось место для танцев. Булочки разрезали пополам, а сладостей досталось всем понемногу, но зато у их воспитателя оказался с собой целый ящик вафель.

Таким образом, настоящий вечер танцев пришел ко мне в дом. Я уже не смогла изображать цветок у стены. Два танца танцевала с Андресом и все остальные со Свенем. С ним танец идет как будто сам по себе. Не знаю, какие еще курсы тут требуются. Он опять сказал, что я легкая, как перышко. Может быть. При моем росте я вешу всего сорок девять килограммов. И школьный врач тоже считает, что это слишком мало.

Во время последнего танца Свен сказал:

— Тебя, наверно, легко носить на руках.

Мне стало так жарко, словно меня кто-то с головой окунул в бочку горячей воды. Я очень смутилась и, конечно, сбилась с ритма и споткнулась о собственную ногу. Свен поддержал меня, чтобы я не упала, и извинился. Хорошее воспитание все-таки замечательная штука. У Свена оно просто в крови.

Теперь я уверена, что Свен не мог принимать участия в кампании по выкрадыванию моей тетрадки. Кроме того, это единственный, кроме Урмаса, мальчик, которому я сама могла бы дать прочесть ее. Может быть, он хоть немножко понял бы, что я там писала.

Потому что он умеет сделать то, что произошло потом. Конечно, именно он сделал это...

Дело в том, что, когда после ухода гостей, мы, в прекрасном настроении, стали готовиться укладываться спать, случилось нечто для всех нас, особенно для меня, совершенно

неожиданное.

На моей подушке лежал белый цветок.

— Как он здесь очутился?

Когда мальчики помогли нам переставлять кровати на место, его не было, а теперь вдруг он оказался здесь. Ведь откуда-то он должен же был взяться? Прежде чем я успела обдумать это, Мелита заявила:

— Конечно, Свен. Он же непрерывно смотрит на тебя влюбленными глазами!

Другие девочки присоединились к ее мнению, в том числе и я. Только вот когда умудрился он положить цветок на мою подушку да еще так, что ни одна душа этого не заметила?

Я спросила Сассь:

— Послушай, ты была в спальне, когда мы пошли в прихожую провожать мальчиков? Ты ничего не заметила?

Сассь сердито пожала плечами:

— Очень мне надо сторожить твоего Свена.

По-видимому, для Сассь не существует неопределенного, равнодушного отношения ни к кому на свете. Если ей кто-то не нравится, то уж действительно не нравится.

Однако известно, что на подушках сами по себе цветы не расцветают, даже в Женский день и, конечно, кто-то должен был его туда положить. Это ужасно мило со стороны Свена и это немножко сгладило воспомина-ние о том, что сделали по отношению ко мне мои милые одноклассники.

Необыкновенный белый цветок, как трубочка, свернувшаяся только затем, чтобы скрыть свою золотую сердцевину и сохранить слабый, едва уловимый, но та-кой тонкий аромат, стоит в банке на моем ночном сто-лике и рассказывает о чем-то, чего я пока еще не могу понять до конца. ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Так больше не может продолжаться! Бедная Веста! Сегодня у нас был вечер. Я все-таки не пошла. Из-за малышей и вообще. Подумала, а что, если какой-нибудь Ааду или Энту пригласит танцевать. Они способны на это, хотя бы просто назло мне, а я уж такая дурочка, что не решусь отказать.

Вот что произошло. Мы с малышами как раз умыва-лись, когда дверь отворилась, и вошла Веста. Мы остол-бенели, открыв рты. Не столько потому, что она так рано вернулась с танцев, сколько из-за странного вы-ражения ее лица и даже походки. Казалось, она не заметила нас. Прошла прямо в спальню и даже по ее спине было видно, что ее обидели.

Я пошла за ней. Веста совершенно одетая лежала на постели, прямо на одеяле. Это было бы естественно для Мелиты или еще для кого-нибудь из девочек, но Веста могла это сделать только, если очень больна или с ней случилось что-то еще более ужасное.

— Веста, тебе плохо?

Никакого ответа.

— Тебя тошнит?

Я стояла около ее кровати. Светлые ресницы Весты дрогнули, но она тут же прикрыла глаза,

словно они боялись света.

— С тобой что-то случилось?

Но прежде чем я успела понять, собирается ли Веста ответить на мой вопрос, вбежала Лики. Что же произошло на этом вечере?

Лики присела на кровать Весты:

— Не обращай внимания. Сейчас там мальчишки все выясняют. В зале такой шум, только держись!

— В чем все-таки дело?

Вкратце, вот в чем: последнее время Ааду танцует только с Тинкой, но на дамский вальс сегодня Тинка возьми да и пригласи своего бывшего партнера. Тогда Веста тоже решила пригласить своего бывшего парт-нера — Ааду. А Ааду, развалясь на стуле, ответил ей:

— Неохота!

Ой, бедная, бедная Веста! Это уже переходит всякие границы! Не успела я сказать и слова, как девочки вернулись с вечера. Из нашей группы не было только Мелиты, а все остальные девятиклассницы и десяти-классницы собрались у нас.

Началось величайшее возмущение. Каждая стара-лась излить свой гнев, вспоминали случаи плохого по-ведения и других гадостей наших мальчишек. Сгоряча бранили и тех, кто ни в чем не провинился.

Нет, больше этого так оставлять нельзя. Сначала выкрадывают наши дневники, смеются и издеваются над нами, потом оскорбляют девочек самым бессовест-ным образом. Кто знает, до чего так можно дойти. Конечно, не все такие, но достаточно выступить отдель-ным заправилам, как все они объединяются. По одному мы бы их одолели.

Сколько же мы должны терпеть подобные выходки? Неужели мы не можем ничего предпринять в свою защиту? Но что? Скажешь им слово, они десять в ответ. Может быть, лучше вообще не обращать на них внима-ния. В конце концов, они для нас такие же одноклас-ники, как мы для них одноклассницы, и мы нужда-емся в них ничуть не больше, чем они в нас.

И в самом деле! Меня вдруг осенило!

— Девочки, знаете, что мы сделаем? Объявим маль-чишкам бойкот. Перестанем их замечать. Будем просто игнорировать. Ни с кем из них ни одного слова. Если мы все это сделаем, то, безусловно, подействует. Как вы считаете?

— Сверхгениальная идея! — пришла в восторг Анне. Почти все девочки согласились с моим предложением.

— Надо их проучить. Покажем, что и мы умеем постоять друг за друга.

— А как же с танцами? Что же, выходит, мы больше вообще не будем ходить на танцы? — спросил кто-то из девочек.

— Разумеется, не будем. Вот именно. Пусть танцуют друг с другом, если придет охота. Ни одна из девочек не пойдет на танцы до тех пор, пока у Весты не попро-сят прощения. И не как-нибудь, а публично. Точно так же, в зале, где все это случилось. И перед Кадри тоже придется извиниться.

Анне уже была полностью в своем репертуаре. Очень скоро было установлено, как все должно произойти. Разумеется, нельзя да и не имеет смысла привлекать к участию в этом деле малышей. Одним словом, присутствовать должны старшеклассницы и, главным образом, комсомолки. Пожалуй, лучше без семиклассниц. Они все-таки далеки от нас, да и комсомольцев среди них единицы. Из нашего класса тогда отпадает Марелле. Оно и лучше. Она все равно не рискнет на такое мероприятие, да и сердце ей этого не позволит. В нашем сегодняшнем собрании она тоже не участвовала, потому что еще не вернулась из дому.

— А как же с тобой, Тинка? — прямо спросила Лики.

— А что со мной? — обиженно удивилась Тинка.

— Ничего, — успокоила Анне. — Пусть недельки две поносит по Ааду траур.

— Какой там траур. Все это ваши фантазии. Вы вообще не представляете себе, какой Ааду на самом деле. Я могла бы кое-что рассказать вам. По мне пусть покиснет!

Интересно, как мы все это проведем? ПОНЕДЕЛЬНИК...

Какой необычный день! Нам, девочкам-заговорщицам, пришлось совсем не легко! Как это отразится на мальчиках, пока еще неизвестно.

Утром в классе, как всегда перед уроками, сначала были обычные шум и суета, и вдруг в них ворвалось что-то новое:

— Ты не слышишь, что ли?

Уши Майе горели, но она решительно повернула Тийту спину.

Почти одновременно послышался резкий голос Ааду:

— Ты-ы! Что это с тобой? Уши отоспала, что ли?

Веста не отвернулась, но даже с нашей задней парты было видно, что со вчерашнего дня Ааду стал для нее пустым местом.

Когда же и Лики на какой-то вопрос Энту ответила не своей обычной улыбкой, но полным молчанием, мальчики, казалось, начали о чем-то догадываться.

Если бы они реагировали на это иначе, пожалуй, нам было бы гораздо сложнее продолжать задуманное. Но они — и именно вожаки — использовали свое обычное оружие.

Энту пожал плечами:

— Похоже, что девчонки со сна помешались.

Откуда-то с задней парты послышалось:

— Горячая каша в голову ударила!

И все в том же духе. Чем более ядовитые замечания сыпали мальчишки, тем больше я укреплялась в нашем решении. Как выяснилось, то же самое испытывали все девочки. Нам, девочкам, становилось ясно, что и мы — сила. И именно потому, что мы были правы, теперь оставалось только выдержать до конца!

Труднее всего, конечно, на уроках. Наш обет молчания неизбежно распространяется и на подсказку. А ведь эта привычка засела в школьниках прочнее, чем какая-либо другая. Совершенно произвольно, словно сам по себе, рот открывается, когда тот, кто вызван, не

знает, а ты сама знаешь и сидишь в подходящем для отвечающего месте.

Я сама чуть не попалась, когда Прямая вызвала по алгебре Тийта. Во всяком случае, за сегодняшний день мы сумели провести в классе твердую линию. Мальчики сами довольно скоро оказались по ту сторону этой линии. К концу дня они уже не искали общения с нами. В особенности, в отношении подсказок. Возможно, надеются, что мы без этого пропадем. Ну, в части подготовки к урокам мы всегда сильнее.

Учителя пока ничего не заметили. В девятом, говорят, такое же положение.

Сложнее всего, конечно, отдельные случаи. Свен встретился мне в коридоре и заговорил со мной таким голосом и с таким выражением лица, как будто само собой разумеется, что для него я сделаю исключение. Со своей точки зрения он может быть и прав, если вспомнить, что он рассказал мне о стенном шкафе. И мне в особенности трудно было при мысли о цветке, когда он спросил:

— Послушай, объясни, что все это значит? Чего вы добиваетесь?

Я молчала, как русалочка из сказки Андерсена. Темные брови Свена приподнялись:

— О-о, и ты тоже не разговариваешь? Даже со мной?

Я уже хотела покачать головой, но тут же подумала, что в сущности это тоже разговор, и опустила глаза.

— Скажи только, вы это из-за вчерашней чепухи? Из-за Ааду, да?

Если бы я и кивнула, это все равно не имело бы смысла. По правде говоря, я не сделала этого только из-за Ааду. Пришлось бы объяснять куда пространнее. Я была в невозможно трудном положении. Открыла было рот, чтобы объяснить наказуемому вину, за которую он вместе с другими должен понести наказание, но тут же осеклась. К счастью, я вспомнила, что у Анне, например, гораздо меньше оснований для того, чтобы не разговаривать с Андресом, и все же она не разговаривает. Она тоже молчит. Только из солидарности с нами, остальными девочками.

Тут очень кстати подросла Лики, взяла меня за руку и потащила на тренировку.

Оставили Свена, где он стоял. Пусть сердится! Пусть постарается объяснить остальным то, чего они, по-видимому, сами понять не могут. ПЯТНИЦА...

Мы выдержали уже пять дней. И к таким вещам, оказывается, можно привыкнуть... В нашем классе по-средником стала Марелле. Если возникает необходимость общения с противной стороной, то это делается посредством Марелле. Она относится к своей роли чрезвычайно серьезно и каждый раз пытается примирить противников, смягчить их сердца. Но это относится, главным образом, к нам. С мальчиками она держится и разговаривает так, как будто она в чем-то виновата перед ними. Не знаю, что заставляет ее поступать так — сострадание к побежденным или просто потребность в заискивании. Во всяком случае, я, да и многие другие, не пользуемся посредничеством Марелле. Обойдемся и без нее. В девятом, например, нет ни одного нейтрального пункта и ничего, справляются. Но там на страже неусыпное око Анне.

Забавно было сегодня смотреть на Сассь, когда Энту в столовой неожиданно подошел к ней и спросил:

— Ну, как твой утюг, работает?

Сассь набрала воздуха, вытаращила глаза, взглянула на меня и выпалила:

— Если хочешь, я отдам его обратно, но с тобой я все равно не разговариваю!

Я бы с удовольствием тут же расцеловала ее за это, но с ней в таких делах нужно быть особенно осторожной.

В общем-то я страшно устала. Конечно, не от молчания, а от тренировок. Я теперь в запасной команде. А Лики жмет со своими тренировками, как сумасшедшая. Конечно, у каждого своя точка зрения. А Лики убеждена: если мы хотим произвести на мальчишек какое-то впечатление, то должны занять первое место. Это, конечно, правильно. Наши мальчишки и по баскетболу и по волейболу занимают среди школьных команд первое место в городе.

Похоже, что Мелита варится в собственном соку. Она уже просила Лики допустить ее хотя бы к тренировкам. Лики повернулась к ней спиной. Когда учительница физкультуры вчера во время тренировки ввела ее в игру, мы так ловко подавали мячи мимо нее, что она сама вскоре исчезла с площадки.

Спортивной величины или мастера мяча из меня, конечно, никогда не получится, но все-таки я стараюсь, как могу, если дело касается серьезной игры. Ведь нам обязательно надо завоевать первенство в игре со II средней школой. СУББОТА...

Бывают же на свете сложные ситуации! Сегодня нас посетили очередные гости. Вообще к нам приезжают гости со всего света, как будто мы показательный образец из области школ-интернатов. На этот раз прибыли из министерства. Побывали в спальнях, в столовой, в классах — словом, повсюду. Всеобщие похвалы заслужил наш уголок отдыха. Именно сегодня я вместе с Энту дежурила по кухне. Вошли гости. Заглядывали в каждый угол, в котлы, в сковородки и в шкафы и принялись нас расспрашивать о самых разных вещах. Один из гостей спросил Энту:

— Ну как, молодой человек, работа в кухне не кажется вам неприятной?

Я с любопытством взглянула на Энту. Я довольно точно знала, что он думает, например, о чистке картошки, потому что он только что достаточно выразительно и непечатно выразил об этом свое мнение. Энту поднялся из-за корзины с картофелем и произнес с наигранным простодушием:

— Нет. Почему же мне должно быть неприятнее, чем девочкам. Ведь мы, мальчики, тоже едим картошку.

И, подло используя момент, тут же обратился ко мне:

— Не правда ли, Кадри? Ведь тебе не трудно чистить картошку?

Больше всего мне хотелось заткнуть ему рот неочищенной картофелиной, но я стояла среди посторонних, немая, как придорожный столб, и на моем покрасневшем лице, наверно, можно было прочесть только одно. Я очень надеюсь, что мое упорное молчание гости приписали застенчивости.

К счастью, один из гостей догадался повторить свой вопрос:

— А вам, девушка, это дежурство на кухне не в тягость?

— Не очень.

Пусть здесь был директор и старший воспитатель, все равно сейчас я была абсолютно не в состоянии изворачиваться, подобно Энту.

— Значит, все-таки не очень. А не скажете ли мне, как вам тут вообще нравится?

И найдут же, что спросить! Почему тогда уж сразу не полюбопытствовать, как мне вообще нравится жить на свете. Итак, я оказалась в центре внимания. Меня это никогда не устраивает. К счастью, на свете есть простые правила вежливости. И я прибегла к одному из них.

— Спасибо, нравится.

— А не могли бы вы сказать, что именно вам в этой школе нравится? Раньше вы учились в другой, не так ли? Что здесь иначе или что вам тут больше по душе, чем, в прежней школе?

Уж лучше бы спросили, что не нравится. Это я успела хорошо обдумать и сразу сумела бы ответить. А так...

— Не знаю...

Должно быть, я произвела на них совершенно безнадежное впечатление. Слышала, как директор стал объяснять стоявшим рядом, что я поступила сюда только в этом году.

— И все же.

Отвернувшиеся было лица вновь обратились ко мне.

— Прежде всего равноправие. Я хочу сказать, что все должны уметь все делать. Видите, даже мальчики чистят картошку. Дома бы они этим не занимались. Вообще многим из нас некоторыми вещами дома не пришлось бы заниматься, а в сущности, все это лишь на пользу. Научимся самостоятельности и не будем надеяться только на родителей. Ну да, именно, у нас тут все равны. Я думаю, что в такой школе мы гораздо ближе к коммунизму, чем в других. Мы придем к нему немножко раньше, чем люди из других школ. Я думаю... как бы это сказать... ну, конечно не фактически, то есть, значит, и фактически, но...

Кок-кок, мёк-мёк. Наконец, я все-таки нашла более-менее подходящее слово:

— Морально!

— Так, так...

Дяденька из министерства потирал свой подбородок.

— Как вы учитесь? Какой, например, табель вы получили за полугодие? А-га — пятерки и несколько четверок. Так. Так.

Да-да, товарищ. Так-так. Четверки и пятерки были у меня даже и в седьмом классе. Но вообще-то дело не в этом. Уж такая я уродилась — если у меня вот так — бух! — что-то спрашивают, то настоящий ответ приходит мне в голову не раньше, чем через двадцать четыре часа. Вообще вам следовало дать нам время подумать, раз уж вы задаете такие исчерпывающие вопросы. Но, по правде говоря, насчет коммунизма я все-таки не-плохо сказала. Сама не понимаю, как это у меня получилось. Я раньше об этом как-то не думала. Надеюсь, что, несмотря на мое заикание, они все-таки поняли мою мысль. Только вот надо было говорить о конкретных вещах. О наших практических занятиях, об опыте, который мы в этой школе приобретаем, и еще я совсем забыла упомянуть о наших взаимоотношениях с малышами. Что незаметно для себя мы становимся для них старшими братьями-сестрами. А это очень важно. Я могла бы рассказать, например, о том же утюге, сделанном Энту. Но этот Энту?! Ведь все же прекрасно поняли, что насчет картошки он просто паясничал.

Впрочем, зачем я волнуюсь. Они сами достаточно конкретно познакомились с нашей жизнью.

В мастерской, в классе рукоделия, в садоводстве и т. д. Единственное, что я могла бы им еще сказать, это чтобы они поста-рались как-нибудь поторопить наших строителей, кото-рые строят новое здание интерната, но что-то уж очень медленно.

Позже в честь гостей был устроен вечер с импровизи-рованной программой — трио мальчиков, Свен играл на фортепьяно, я и Анне читали стихи и т. д.

Раз мы уж все равно опоздали в баню — и, наверно, за удачную программу — после концерта директор разрешил нам потанцевать. Именно теперь! Так слу-чается в жизни нередко. В другое время такие нежи-данные дополнительные танцы были бы встречены об-щим ликованием, но сегодня..? И к тому же у нас гости!

Пока готовили зал к танцам, мы, большие девочки, собрались и жужжали, как потревоженный улей. Что-то будет? Как вести себя? Глупее всего, что здесь гости. Многие девочки были непреклонны и предлагали уйти с вечера. Другие считали, что ради гостей сегодня нужно сделать исключение. Иначе получится неприят-ная история. Наш ожесточенный спор привлек внима-ние воспитательницы Сиймсон и она направилась к нам.

— Девочки, идемте в коридор!

Одна за другой мы вышли из зала. Здесь продолжа-лась борьба «за» и «против». Мне показалось, что для очень многих девочек гости были только предлогом. Я старалась агитировать, как умела, но мои слова в та-ком деле не имеют веса. Сама-то, я все равно не хожу на танцы. И тут молчавшая до сих пор Веста сделала решающий шаг. Она просто стала спускаться с лест-ницы.

— Веста, постой, куда ты? — крикнула Лики. Веста обернулась, и выражение ее лица решило все сомнения. Ладно! Разве это преступление, если однажды вечером девочки почему-то предпочтут баню танцам?

Наша группа удалилась в полном составе, исключая, конечно, Мелиту. Роози мы уполномочили наблюдать, как развернутся события. За нами последовали другие группы. Прежде всего первая, а за ней остальные. Те-перь, когда решение было принято, нам стало просто весело.

Такого веселого банного дня у нас еще не бывало. Малыши помылись еще днем и персонал тоже. Мы были совершенно одни, и нам не надо было спешить из-за мальчишек.

Мы использовали все банные удовольствия. Ритмично похлопывая себя на полке вениками, чувствовали себя хозяевами положения. Победителями! Внизу на ска-мейке Урве и Анне затянули песню. И скоро вся баня гудела от песни, которую распевали несколько десят-ков победных голосов. Роози появилась в тот момент, когда мы громко распевали импровизированные слова на известный мотив:

Танцует парень с песнею, песнею,

обняв скамейку, кружится, кружится!

Осторожно не споткнись, не споткнись,

носик можешь ушибить, ушибить!

Тра-ля-ля-ля и т. д.

Роози сообщила, что гости вместе с директором почти сразу ушли с вечера, так что они, по-видимому, ничего особенного не заметили. На Роози посыпались вопросы:

— Что делал Рейн?

— А Тийт сразу ушел?

— С кем танцевал Пеэду?

И т. д. и т. д. Каждую интересовала, главным образом, судьба и поведение ее друга или партнера на танцах. На лицах появлялась легкая, довольная улыбка, когда Роози отвечала всем почти одно и то же:

— Не танцевал. Сразу ушел. Танцевал всего один танец с семиклассницей и исчез. Посидел у стенки и заковылял домой.

К Роози продолжали приставать с расспросами, и на-конец она даже рассердилась немножко и сказала:

— Я же говорила. Большие мальчики улетучились почти сразу. Сейчас там крутятся только семи- и восьмиклассники. Даже Мелиту никто не пригласил.

— А ты танцевала?

Роози как раз намылила голову, и можно было ожидать, что она не ответит, но после короткой паузы она заявила:

— Я отказала даже Свену.

— Даже Свену! — повторила Анне таким голосом, что стало понятно — и ей известна большая тайна Роози.

Посмотрим, чем все это кончится. Во всяком случае, завтра танцы определенно отменяются, если даже будут официально разрешены. Мальчишки не позволят себя дурачить вторично. ВТОРНИК...

Прежде чем описывать сегодняшний вечер, я должна, пожалуй, рассказать, что произошло перед этим. Мы случайно оказались только втроем — Веста, Сассь и я.

Веста сидела к нам спиной, вглядываясь в темноту за окном. Видеть там она ничего не могла, разве что свое отражение в оконном стекле. Сассь стояла на коленях на стуле и, опираясь локтями в стол, углубилась в какую-то растрепанную книжонку. Я заметила, как она время от времени исподлобья поглядывала на Весту, Вдруг она спросила;

— Веста, биллион — это самое большое число?

Для Весты в эту минуту явно не существовали никакие числа на свете, она с головой ушла в какие-то свои тяжелые, грустные мысли.

— Веста! — этот голос невозможно было не услышать. Веста пробормотала что-то, не поворачивая головы.

— Я же тебя спрашиваю, Веста. Биллион — это самое большое число? Ты знаешь? — Сассь, по-видимому, решила не отступать.

— Да. — Веста, наверно, сказала бы «да», даже если бы Сассь назвала число «10». Так далеки от нас и от этой комнаты были ее мысли.

Это поняла и Сассь. Она слезла со стула, подошла вплотную к Весте и, глядя снизу вверх в ее лицо, спросила:

— А что будет после биллиона?

Веста подняла светлые ресницы:

— Биллион один.

— А после биллиона одного?

— Биллион два. — Наверно, такой голос был бы у электронно-счетной машины, если бы она вдруг заговорила.

— А после биллиона двух?

— Биллион три.

— А после биллиона трех?

— Биллион четыре.

— А после... — Число достигло уже биллиона двадцати трех, а нетерпение Сассь возрастало на глазах. Она захлебывалась от волнения.

— А после биллиона двадцати трех?

Голос Весты по-прежнему звучал безразлично и монотонно, словно принадлежал машине по имени Веста.

— Биллион двадцать четыре.

— Веста! — крикнула потрясенная Сассь. — Когда же ты скажешь: «теперь оставь меня в покое!»?

Впервые с того злополучного воскресного вечера Веста слабо улыбнулась, хотя совсем рассеянно и словно бы против воли.

А у Сассь никогда не поймешь, сколько ей на самом деле лет. СРЕДА...

Темой вчерашнего вечера группы по старому плану было «Как писать письма». Но как-то сама по себе получилась совсем другая тема — «Мой одноклассник». Разумеется, инициатором была воспитательница-История с нашим бойкотом дошла до учительской и, как можно было понять из нескольких слов воспитательницы, по-видимому, вызвала там самые разные мнения, Теперь она решила расспросить нас о подробностях.

Постепенно все было рассказано. Фактов, то есть вопиющих фактов, самих по себе было немного. История с моим дневником, несправедливость Ааду во время проверки и отказ, полученный Вестой на танцах. Но ведь не это главное. Есть нечто иное, то и дело отравляющее наши взаимоотношения. Какое-то умничание, высокомерие, унижительные двусмысленности и пошлости, все то, о чем трудно, а зачастую очень неловко говорить. Воспитательница слушала и кивала головой.

— Ах, значит так? Таковы дела?

Когда мы опять вернулись к той последней капле, переполнившей чашу — то есть к тому, как Веста получила отказ, она вдруг вскочила:

— Девочки, не надо, Из-за меня не надо. Напрасно вы это. Не стоит этого. Я все обдумала — освободите меня от обязанностей старосты. Выберите новую. Именно сегодня, сейчас выберите, Кадри или Лики, все равно кого. Я не буду больше. Не могу. Не стоит больше об

этом говорить, Давайте, сразу выберем.

— Ну что ты городишь? — сердито и в то же время участливо сказала Лики.

— Я говорю серьезно. Кроме того, я больна и... Об этом уже был разговор. Вы сами хотели. Теперь я, со своей стороны, прошу — выберите нового. Нет смысла откладывать это дело. Кадри все равно заместитель и Лики.

— Пусть будет Кадри, — сорвалось у Тинки, и тут же Мелита торопливо перебила:

— Нет, лучше уж Лики!

— Пойдите!

— Что вы выдумали? Во всяком случае, я не согласна. И Лики тоже (уголком глаза я успела заметить, что Лики кивнула). — У Лики и без того тысяча дел. А обо мне и речи быть не может. Я не справлюсь. Вы же сами знаете, что Веста — самый подходящий ста-роста группы. А если ты больна, — обратилась я к Весте, — то сходи к врачу и полейся. На это время каждая из нас согласится тебя заменить! Не разыгрывай из себя жертву. Все равно тебя никто не отпустит. Теперь, когда у нас в группе все идет на лад, когда мы добились единодушия и прочее, и когда клавиши пиа-нино появились на горизонте, теперь ты хочешь уйти! Не пройдет. И вообще, за кого ты нас принимаешь? Кто за то, чтобы Веста осталась старостой группы? Поднимите руки!

Раньше всех поднялись руки Сассь и Марью и пос-ледней — рука Мелиты. Но промежуток был очень ко-ротким. Во всяком случае, все подняли руки, включая воспитательницу.

Воспитательница не разрешила нам бежать за Вестой в спальню. Это нужно понять. Когда расплачется и убе-жит такой человек, как Веста, да еще при таких обстоя-тельствах, то уж, конечно, для этого должна быть при-чина... ПОЗДНЕЕ...

Но собрание группы на этом еще не закончилось. Воспитательница подсказала нам ужасно интересную идею. Почему бы нам не выступить с нашими заботами открыто? Например, по комсомольской линии передать это дело в товарищеский суд. Скажем, так: требования современной девушки к своим одноклассникам или что-нибудь в этом роде.

Эта мысль сразу захватила нас. Конечно. Так и сде-лаем. Попросили воспитательницу разъяснить, как это делается. Задумали как-нибудь сходить в настоящий суд, познакомиться с судомпроизводством.

В качестве обвиняемых перед судом предстанут два представителя противной стороны — Ааду и Энту.

В судьи больше всего годится Лики. О прокуроре при-шлось немного поспорить. Из трех кандидатов (Анне, Веста и я) двое последних отказались. Хотя один, т. е. я, с удовольствием согласилась бы. Думаю, мне было бы очень интересно хоть один раз во всеуслышание разъяснить мальчикам, в каком они долгу перед нами, одноклассницами и друзьями. Но в самом деле, пожа-луй, лучше будет это сделать Анне. Обвинительную речь так или иначе будем сочинять все вместе, и я могу внести в нее некоторые пункты. Главными свидетелями будем мы с Вестой. Потому что мы ведь наиболее потер-певшие.

Кого назначить защитниками? По характеру больше всего подошла бы Марелле. Но по другим качествам она все-таки не годится. Воспитательница посоветовала нам предложить обвиняемым самим выбрать защитни-ков. Как в настоящем суде. Оно и лучше. Какая же де-вочка захочет их защищать? И в заседатели решили пригласить мальчиков, чтобы не нарушить возмоз-ности вынесения беспристрастного приговора. Пусть уж будет даже 2:1 в

пользу мальчиков,

Уже вчера вечером мы записали важнейшие пункты обвинительной речи. На этот раз мы должны победить! Должны заставить их призадуматься о вещах, о кото-рых они не задумывались, по-видимому, до сих пор.

Кстати, сегодня днем произошло еще кое-что, давшее нам дополнительные козыри. Дело в том, что у нас и вообще во всем мире всеобщее восхищение вызвал ге-роический подвиг четырех советских юношей, 49 дней дрейфовавших в море, юношей, которые до этого ничем выдающимся не отличались, а теперь, когда жизнь потребовала, вдруг оказались такими героями. Мы, де-вочки, все без исключения восхищались ими.

Прямая почему-то именно мне поручила рассказать о них на уроке классного руководителя. Я говорила об этом, как чувствовала. Я не умею говорить так, словно все слова берутся из моего собственного маленького кармана. Для меня великое — это по-настоящему ве-ликое, и я с восхищением смотрю снизу вверх на тех, кто способен на великие дела, потому что сама я могу сделать так мало. Наверно, все это получилось у меня очень наивно. Я заметила на левом крыле усмешки и презрительные гримасы. Видела, как Ааду, наклонясь к Энту, что-то долго шептал ему на ухо. Едва я закон-чила свой рассказ, как слово взял Энту:

— Доклад был очень содержателен и обширен. Только одно мне не ясно. А именно — где же тут вели-кий героизм? Я лично во всем этом вижу один опреде-ленный факт. Человек, попавший в тяжелое положение, ну, в данном случае ему угрожала смертельная опас-ность, изо всех сил старается спасти свою жизнь. Ведь, как мы учили и знаем, это просто естественный инс-тинкт всякого живого существа. Его называют инстинк-том самосохранения. И он проявляется как у людей, так и у животных. Почему же вдруг этот врожденный инстинкт мы стали считать героизмом?

Делает ли в данном случае героем тот факт, что чело-век в безвыходном положении грыз брючный ремень и уплел свой баян?

Ох, как остроумно! Мальчишки, конечно, смеялись очень самоуверенно и победоносно. Было невозможно не нарушить обет молчания, тем более, что из-за наших планов он был излишним. Я с разбегу бросилась с голо-вой прямо в этот коварный, притворно-хладнокровный оборонительный вал, который мальчишки поставили перед собой. Я атаковала, как умела:

—...И, наконец, Энрико Адамсон сам сказал о самом главном. Каждый человек, попав в беду, старается выжить сам. Вот именно с а м. В том-то и разница. Вы знаете, что эти ребята делали эти 49 дней. Сделали они хоть шаг, который показал бы, что каж-дый из них сле-довал естественному инстинкту и пытался спасти только свою жизнь? Почему они в первый же день пересчитали картошку и разделили поровну, на равные части? И почему они сохранили это равенство до конца? И в те дни, когда начала угасать надежда и до смерти было рукой подать. Ни один из них не струсил, ни одного из них естественный инстинкт не заставил пытаться сохранить свою жизнь за счет жизни другого человека. Я уверена, что кое-кто из молодых людей, окажись он в таком положении, употребил бы свой ре-мень совсем для других целей. Может быть, от страха и безнадежности он дрожащими руками затянул бы его вокруг собственной шеи, а может быть, тот, кто силь-нее, воспользовался бы своим правом сильного и столк-нул остальных за борт, чтобы иметь побольше того, что удерживает душу в теле. Это было не так уж невоз-можно. О таком мы и в литературе читали. И у меня, например, был когда-то одноклассник, который просто так, для развлечения, столкнул более слабого с крутой горы, где уж тут говорить о подобном случае.

Когда я все это высказала, а потом ясно увидела, как у Энту сначала побелел кончик носа, а затем посте-пенно все лицо, мне вдруг стало жаль его. Стало стыдно за себя. Хотелось взять

свои слова обратно, но было уже поздно. Сейчас я могу утешиться только тем, что никто другой не понял моего намека и никому другому я этого никогда не говорила и не собиралась говорить. Но честное слово, эти постоянные издевки надо всем, что хоть немножко лучше и прекраснее, высмеивание того, к чему каждый из нас должен стремиться, — не могут не выводить из себя. При этом у меня бывает такое чувство, что они сами не верят в то, о чем или вернее как говорят. Не может же быть, что молодежь одной и той же страны, члены Коммунистического Союза Молодежи могли бы иметь такие разные идеалы и настолько по-разному воспринимать хотя бы это со-бытие. Пришлось бы им самим вот так дрейфовать в море, не знаю, что бы они тогда об этом сказали.

Ничего не поделаешь, надо все-таки ясно знать, что допустимо, а что не допустимо. Я-то очень многого жду от предстоящего суда. Пусть там в самом деле все вы-говоряется, выскажут, что на сердце, что человек ду-мает обо всем этом. Анне готовится необыкновенно ста-рательно. Мы все доставляем ей всякий «фактический материал», как говорится. ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Вот и состоялся этот знаменитый и долгожданный суд. Очень торжественным и значительным был мо-мент, когда судебный служащий (классный организа-тор из восьмого — у него оказался самый внушитель-ный голос) объявил:

— Встать. Суд идет.

Дверь отворилась, и состав суда во главе с Лики про-шеествовал на свои места с подобающим достоинством и выражением лиц. В это время в переполненном зале все стояли (включая учителей, воспитателей и дирек-тора), и было впечатление самого настоящего суда.

Суд уселся за столом в таком порядке: Лики, как председатель, в середине, слева от нее — народный засе-датель Тийт из нашего класса и справа — Рейн из де-вятого, В конце стола сидел секретарь суда. Анне в ка-честве прокурора и Андрес — защитника — сидели от-дельно, за маленькими столами. Обвиняемые — Энрико и Ааду — на скамейке по одну сторону и мы — свиде-тели — по другую, как раз между судебским столом и публикой.

Судья огласила состав суда, совершила остальные положенные церемонии и прочла обвинение:

— Энрико Яанович Адамсон обвиняется в недостой-ном поведении, несовместимым с моральным обликом комсомольца. Во-первых, он принудил ученицу седь-мого класса Мелиту Вольдемаровну Кряэс к соверше-нию недопустимого поступка, заставив ее выкрасть чужую тетрадь; во-вторых, он подло использовал лич-ную тайну: сам прочел дневник и дал прочесть другим. В-третьих, он, как и все его единомышленники, кото-рых он в данном случае воплощает и представляет, об-виняется в том, что он употребляет недопустимые и некультурные выражения, позволяет себе двусмыслен-ности и ведет себя недостойно.

Ааду Аадувич Адомяги обвиняется, как соучастник вышеуказанных преступлений, в некультурном пове-дении и выражениях, к чему добавляется еще и самое грубое оскорбление, нанесенное им девушке, Весте Эльмаровне Паю...

Конечно, я не могу переписать весь судебный прото-кол, потому что он занял две тетради и суду пришлось во время чтения назначить заместителя совершенно выдохшемуся секретарю. Кроме того, большая часть этого протокола у меня имеется, потому что в боль-шинстве случаев обвинительные речи и выступления составляла я. Но о суде и обо всем том, что произошло в этот день, я постараюсь написать подробно.

Ой, до чего же все мы, девочки, волновались. Быть уверенными в своей правоте — это одно, но доказать это другим, в особенности мальчикам — это же совсем другое.

В защитники они выбрали Андреса. Самого умного мальчика и к тому же партнера и друга Анне. Верно, и тут у них был свой расчет.

Я дала свои показания очень обстоятельно. Весте, конечно, было труднее. Мотив был, так сказать, деликатнее, как заметил Андрес. Но зато это был единственный случай, когда оказалась кстати Вестина манера безличной речи. Она придала ее показаниям деловитость и нейтральность.

Но зато Анне произнесла свою речь с таким пылом и страстью, что, по моим понятиям, — и девочки тоже так считали — мальчишки были повержены в прах и должны были тут же не только попросить у нас прощения, но и встать при этом на колени.

Девочки вставали одна за другой и говорили о том, как мальчишки нарушали самые элементарные нормы поведения или же глубоко оскорбляли или унижали своих одноклассниц.

Племянница директора — Маарика из восьмого класса — рассказала, что когда она шла однажды с Ааду по улице и они встретили ее родственника, то она поздоровалась, а Ааду тем временем стоял рядом, пре-спокойно засунув руки в карманы, нахально смотрел на постороннего человека и даже не подумал его при-ветствовать, как этого требует вежливость. На это со скамьи подсудимых послышалась реплика Ааду:

— Что? Уж не собираетесь ли вы сделать из нас цир-качей?

Анне же в свою очередь все время загибалась пальцы, выкладывая свои «во-первых, во-вторых, в-третьих». Все десять пальцев были уже использованы. В самом деле, трудно сказать, что Анне больше подходит — быть прокурором или артисткой.

Но хотя речь Анне несколько раз прерывалась бур-ными аплодисментами, все же мальчишки и не думали падать на колени. Они даже не опустили голов. Скорее, наоборот. Когда Андрес вышел на трибуну и огляделся по сторонам, у него был вид человека, уверенного в своей правоте и имеющего, что сказать.

О, до чего же трогательно благородными выглядели в его речи школьники второй половины нашего столетия! В особенности же воспитанники нашей школы-ин-терната. С какой иронией он произнес:

— По-вашему, милые девушки, выходит, что ни одну вещь нельзя назвать ее подлинным именем. Конечно, в вашем присутствии нельзя, например, сказать, что вонь — это вонь, а надо говорить: испорченный аромат. Вам подошел бы, пожалуй, стиль времени папы Крейцвальда. Если кто-нибудь голый, то об этом надо сказать вежливо: босиком по самую шею. Не так ли?

Даже по самому мерзкому пункту — отказу Ааду танцевать с Вестой — Андрес, один из величайших мудрецов и златоустов школы, нашел смягчающие обстоятельства:

— Далее. Если мы проанализируем предысторию са-мого тяжелого обвинения, то найдем немало смягчаю-щих обстоятельств. Мы знаем, что последнее время Ааду всегда танцует с Валентиной. Они подходящая пара. Оба хорошо танцуют и так далее. Мы не станем здесь анализировать причины их контакта, скажем лишь обычное: они хорошие друзья.

И вдруг неизвестно почему, девочка начинает кап-ризничать. Если Ааду весь вечер приглашал только ее, если он делал это на всех вечерах в течение последних двух четвертей, то, естественно, он ждет ответного при-глашения на дамский вальс, не так ли?

Но, как мы знаем, девушка не делает этого. Она кап-ризничает. Она ветрена и капризна. Ее

не интересуют чувства другого человека. Она хочет продемонстрировать свою власть. Вообразив себя неотразимой красавицей, она считает, что может себе все позволить, как это вообще принято у девочек. Они любят время от времени дать почувствовать свое девичье превосходство и власть. Так случилось и с данной девушкой: она умышленно обижает своего постоянного партнера и друга и, против ожиданий, как я уже сказал, даже против неписанных правил вежливости, приглашает танцевать другого мальчика.

Скажите сами, разве это красивый поступок? Можем ли мы за ним разглядеть прославленную чуткую девичью душу, чувство такта, честность и так далее и тому подобное. (Весь этот перечень сопровождался слегка иронической улыбкой.)

Я заметила, что, слушая речь Андреса, Анне что-то быстро записывала в свой блокнот. А тем временем Андрес продолжал свою блестящую речь.

— При таких обстоятельствах, — продолжал он после короткой многозначительной паузы, — можем ли мы так уж обижаться, так расстраиваться по поводу того, что мой подзащитный Ааду Аадомяги, который, как нам известно, ждал одну девушку, самую красивую и самую для него подходящую — (ой ты, лиса-лисичка!) — увидя другую, совершенно импульсивно, от уязвленного самолюбия и огорчения рассердился на всех девочек вообще. В том числе и на ту, которая случайно оказалась около него. Таким образом, он допустил этот необдуманный поступок — отказался танцевать с нею. Повторяю, я не оправдываю этот поступок, не считаю его хорошим, как, впрочем, не считает и сам обвиняемый, но мы просим учесть смягчающие обстоятельства...

При этих словах Андреса Ааду, широко улыбаясь, оглядел зал, словно вождь и знаменосец победоносного войска.

О, оскорбленная гордость и попранное достоинство!

Но Анне не так-то легко поставить в тупик. Когда настал ее черед, она начала сдержанно, но с явным волнением.

— Нам только что представилась приятная возможность прослушать талантливо составленную защитную речь. Похоже, что на многих она произвела глубокое впечатление. Прежде чем вынести окончательное решение, позвольте мне, со своей стороны, высказать не-которые мысли.

Прежде всего, небольшое возражение по поводу общей позиции защитника, из которой следует, что вполне естественно дать приглашающему отказ, раз он случайно оказался не тем, кого ожидали и хотели видеть. Разрешите мне от имени девочек, которые, согласно обычаю, чаще выступают в роли приглашаемых, а не приглашающих, — разрешите мне, как одной из них, сказать следующее: если бы и мы следовали подобному «импульсу» и стали отправлять мальчиков обратно, то вы, дорогие соученики, совершенно растерялись бы. Тогда, может быть, вы постигли бы, что и вежливость имеет свою ценность. — (Тут я заметила, как у Андреса порозовели уши.) — Кроме того, разрешите обратить ваше внимание еще на одну вещь, поразившую меня в речи защитника: у нас тут не какое-либо подразделение ЗАГСa, где ведется регистрация пар и всякие отступления противозаконны. Пока еще все мы просто обыкновенные соученики и между нами должны быть хорошие отношения.

И далее. Если одна из девочек действительно нане-сла своему обычному партнеру такую бесчеловечную обиду, должен ли он мстить за нее другой девочке? Уважаемый суд и все присутствующие в зале, я прошу вас вдуматься в смысл такой морали! Надеюсь, что нет необходимости останавливаться на этом подробнее.

Но что важнее всего: если этого юношу, в данном случае, обвиняемого, так жестоко

оскорбили, если кра-сивая и капризная девушка нанесла его несчастному сердцу такую рану, почему же он остался прохлад-даться в зале? Не было ли для разбитого сердца и по-пранного достоинства естественнее удалиться из зала, тем более, что он все равно не собирался больше ни с кем танцевать.

Надеюсь, что справедливый суд увидит, что здесь нет ни одного смягчающего обстоятельства. Дело некра-сивое, абсолютно некрасивое. Тем более некрасивое, что оскорбили девушку очень честную и заслуживающую всяческого уважения. Кроме того, это девушка, с ко-торой обвиняемый еще в прошлом году танцевал больше всех и которая была для него, как определил в своей речи защитник, хорошим другом.

Аплодисменты в зале. Судья нарушает законы бес-пристрастности и тоже аплодирует! Анне поднимает руку. Зал затихает.

— Но это лишь одна сторона дела. В интересах истины прошу выслушать третьего участника — Ва-лентину Петровну Клейн. Быть может, у этой каприз-ной и своенравной девушки, как здесь охарактеризовал ее защитник, есть что сказать в оправдание своего «бессердечного» поступка. Прошу.

Анне обращается к суду с видом профессионального судейского деятеля.

Кыпс-кыпс — по залу, где царит настороженная ти-шина, проходит Тинка и останавливается перед судей-ским столом. Ничего удивительного, что такая краси-вая девушка заставляет биться сердце даже у маль-чишки типа Ааду. Чуть вызывающее выражение лица сейчас очень идет Тинке. После того, как она ответила на обычные вопросы, судья спрашивает о самом глав-ном:

— Свидетельница, Валентина Петровна Клейн, ком-сомолка! — (Мне ужасно нравится, как Анне особо под-черкивает последнее обстоятельство. В одних случаях она хочет как бы повисить ценность свидетеля и его показаний, в других — особо подчеркнуть недопусти-мость поступка обвиняемого.) — Что вы можете рас-сказать по данному делу? Прошу говорить всю правду, все, что знаете.

— К сожалению, всю правду, слово в слово, я не могу рассказать. Но я прошу уважаемый суд и всех присутствующих поверить моему комсомольскому че-стному слову, если я заверяю, что Ааду, т. е. обвиняе-мый, сказал мне во время нашего последнего танца нечто настолько чудовищное, что после этого я ни при каких условиях не могла пригласить его танцевать, Я не могу здесь повторить, что именно он мне сказал, но чтобы вы поверили мне, я утверждаю, что больше никогда, ни в каком случае не стану с ним танцевать, будь решение сегодняшнего суда каким угодно. Он этого не стоит. Он не стоит того, чтобы хоть одна ува-жающая себя девочка стала танцевать с ним или во-обще иметь дело.

Ого! Наверно, эти слова ей подсказала Анне, но факты и тон, конечно, же, ее собственные. Красивая, гордая девушка, знающая себе цену, подняв голову, стояла перед судом и обвиняла и наказывала винов-ника. Это производило большое впечатление.

Я видела, что даже Ааду, первый раз за весь этот день, беспокойно опустил глаза, словно искал что-то на полу, у своих ног. В свою очередь Андрес следил за Ааду с выражением, явно показывающим, что этот ин-цидент (так, кажется, это называют) был для него на-столько же новостью, как и для всех нас. Но хотя Андрес был вынужден несколько отступить на одном фронте, тем упорнее он стал обороняться на другом.

— Поскольку мы собрались на открытое судебное заседание, разрешите мне заметить, что одних намеков и слов, пусть даже подтвержденных каким угодно ч е с т н ы м словом, все-таки недостаточно. Апелляция к чувствам — это хитрое дело и главное оружие девочек, но нам нужны факты. Иначе все судопроизводство те-ряет смысл.

Вот уже в течение часа нас тут характеризуют как грубых, неотесанных, жестоких, глупых и т. д. Но, исключая один чрезвычайный случай, все это только слова. Факты, факты, больше фактов, дорогие соученицы!

Если разрешите, я, со своей стороны, приведу некоторые. Это факты, свидетелями которых могут быть все ученики десятого класса. Одна девушка, заявившая, что ее подло оскорбили, задела ее лучшие чувства тем, что прочли какие-то там поэтические измышления, а именно Кадри Юловна Ялакас, сама показала, что она ничуть не какой-то там высший особый класс, как полагает о себе в своих «островах мечты». Совсем недавно она открыто во всеуслышание набросилась на своего соученика, ныне моего подзащитного, назвав его просто отвратительным типом, а другому сказала слово в слово следующее: «Чего ты скалишься!» — (Здесь я кажется громко охнула.) — Уважаемые судьи и все здесь присутствующие, разрешите спросить, считаете ли вы, что это культурные выражения? Как вы думаете? К лицу ли они нежной, воспитанной, тактичной девушке, к тому же комсомолке? В то же время эта самая девушка пишет в своем дневнике, или как там эта штука называется, такую элегию, из которой можно заключить, что она относит себя к числу избранных... Я предложил бы весь этот плод вдохновения, наделавший столько неприятностей, прочесть вслух в этом зале суда, чем будут разрешены многие недоразумения, возникшие в результате процитированных изречений из этого произведения.

О небо! Этого еще не хватало! На моем лице, наверно, отразилось все мое отчаяние и страх, потому что Лики воспользовалась своим служебным правом и отказалась приобщить к делу мои «поэтические измышления», поскольку обсуждался вопрос именно о недопустимом разглашении содержания моих заметок.

— Хорошо. Раз нет, так нет. Из этого вы можете заключить, насколько хитры девочки и какими средствами они защищаются, — иронически заметил Андрес, что было встречено дружным шумом в зале, и Лики пришлось восстановить порядок, настойчиво позвонив в колокольчик.

— Однако я должен еще раз вернуться к этой самой поэзии. Мне запомнилось нечто в таком роде: сияющие письмена звезд нам понятны уже с рожденья! Хорошо. Если какие-то там высшие звездные письмена ясны ей еще с рождения, то я, простодушный девятиклассник, спрашиваю ее, почему же она теперь, через семнадцать лет, не пользуется этими знаниями? Почему она — я снова цитирую ее собственные слова, бросается теперь выражениями, похожими на камни, чтобы поразить сердца?!

Должен сказать, что меня серьезно удивляет отказ судьи приобщить к делу эти «сияющие звездные письмена». Наш спор носит принципиальный характер и поскольку именно в этой поэзии записаны одни принципы, а жизнь показывает несколько другие, то в интересах истины необходимо их сопоставить. Мне запомнились лишь некоторые случайные строки, но и этого достаточно, чтобы сделать вывод. Есть общее впечатление. Если желаете, я могу тут же поделиться этим общим впечатлением — (я-то уж совсем не желаю!). — Я рискую снова вызвать возмущение и гнев девочек да и других присутствующих в этом зале, если, со своей стороны, приведу здесь одно сравнение. Когда читаешь эту элегию, то улавливаешь в ней примерно такую мысль (еще раз прошу извинить не деликатность выражения) — «Мир — это море дерьма, а я в нем как цветок!»

Андрес с удовлетворением оглядывает смеющийся зал.

— Если бы я не знал, что в данном случае мы имеем дело с современной девушкой, ученицей школы-интерната в двадцатом веке, с настоящей комсомолкой, то считал бы всю эту историю бредом какой-то барышни ушедших времен. И не поэтому ли автор так стыдится обнародования плодов своего вдохновения, не поэтому ли...

Так теперь, значит, я сижу здесь на скамье подсудимых, у позорного столба. Я невольно подняла руку к лицу, словно защищаясь. Но какая уж это защита. Другие были настороже. Еще как. Какое-то время я ни-чего не слышала. Пришла в себя только, когда настала очередь выступить Анне. Вернее, когда она захватила эту очередь.

— Меня удивляют приемы защитника. Вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности, т. е. защищать обвиняемых, он обвиняет обвинителя. Ловко обходя при этом основной факт, что всякое разглашение чужой тайны — подлость! Как следует из слов защитника, он и сам принимал в этом участие, иначе откуда же у него эти цитаты! Удивительнее всего в данном случае то обстоятельство, что он не понял прочитанного или, может быть, просто не дочитал до конца. — (Восклицание Андреса: «Нет, не дочитал!».) — Но оставим это. Если защитник хочет провести дискуссию на литературную тему — (Похоже, что Анне на этот раз действительно пригодилось изучение иностранных слов.) — и если автор данного произведения согласен, то мы можем в ближайшем будущем устроить литературный суд или обсуждение этой работы. Во всяком случае, к данному судебному разбирательству эта тема не имеет по существу никакого отношения.

Далее. Не говоря уже о тех абсурдных намеках, которые затрагивают Кадри Ялакас как комсомолку и которые тем более низки, что сам защитник верит в них столь же мало как я или любой из нас — не говоря уже об этом, я вынуждена отклонить обвинение, в подтверждение которого он намерен, в случае необходимости, представить целый класс свидетелей.

Я серьезно удивляюсь, как защитник вообще осмелился обратить внимание сегодняшнего суда на эти события. Разве он не боится таким образом окончательно скомпрометировать своих подзащитных?

Анне вызывает свидетелей из нашего класса. Оба события предстают перед присутствующими примерно такими, какими они были на самом деле.

— Так, теперь вы сами слышали. Что же удивительного, что в таком случае даже самый тактичный человек может потерять самообладание. Скажите, почему ни одна из девочек никогда не слышала от Кадри ни одного некрасивого выражения или злого слова? Не следует ли сделать из этого вывод, что нашим дорогим соученикам, особенно десятиклассникам, приходится иногда отвечать на их же языке. По-видимому, на единственном доступном их пониманию языке, который они в состоянии усвоить...

Ох, дальше Анне говорила что-то о моих отношениях с малышами и вообще в пылу спора принялась так хвалить меня, что это становилось для меня таким же мучительным, как «разоблачения» Андреса.

А в общем-то, история такова, что, если бы мачеха согласилась, я насовсем подарила бы Анне свое розовое платье!

— Что же касается так называемого фактического материала, то у нас его совсем не мало. — Тут Анне взяла лист бумаги, на котором были записаны статистические данные, собранные нами за несколько дней. — Вы только послушайте: Андрес Ояссон только в течение понедельника 23 раза сказал «черт», два раза «ка-тись подальше» и, кроме того, такие выражения, как «давай испаряйся», «не заливай» и т. д. Собрала и записала Анне Ундла. За прошлую неделю у нас накопилось множество подобных и еще более неприятных наблюдений, касающихся нашего класса, тем временем как девочки из десятого сделали это по своему классу. Там картина еще хуже.

Далее приводились действительно ужасающие данные относительно словарного запаса наших поп-мальчиков.

— Разумеется, здесь упомянуто далеко не обо всем. В особенности, о словах и словечках, не

выдерживающих печати. А также не упомянуты различные анекдоты и двусмысленные шутки, которыми отличается мужская половина того же десятого класса.

Наша надежда, что Андрес, наконец, признает себя побежденным, оказалась, конечно, преждевременной.

— Как вы слышали, прокурор привел в своей речи целый лексикон школьного жаргона. По правде говоря, это совсем не открытие. Это было даже в газетах. И, что главное, этот словарный запас популярен не только среди мальчиков. К сожалению, мне не пришло в голову заняться такой же статистикой по отношению к девочкам. Но эту ошибку можно поправить в будущем. Во всяком случае, я не верю, что разница будет особенно большой. Возможно, что не совпадают любимые словечки, но частота употребления несомненно совпадает.

Например, я лично, и, думаю, все присутствующие, слышали, как из уст самого прокурора, так и всех других девочек чуть не в каждом предложении такие выражения: «О господи!», «О боже!» и т. д. Ведь здесь, на комсомольском товарищеском суде, наверно, никто не станет утверждать, что упоминание черта больший грех, чем злоупотребление именем бога?

В зале опять дружный смех.

К сожалению, это был не единственный пункт, показавший, что мы и в самом деле выбрали для судебного процесса слишком узкую тему. Андрес не только защищал мальчиков, это он делал в меньшей степени, но больше нападал на девочек, и многие его аргументы звучали достаточно убедительно. Он сказал, например, что одним из соучастников преступления была все же девочка, а именно Мелита, однако она почему-то не сидит на скамье подсудимых. Это замечание вызвало в зале гул одобрения.

— Хорошо, — снова вскочила Анне, на этот раз значительно утратившая официальное достоинство своей прокурорской роли. В ее голосе звучало страстное, личное чувство: — Вы тычете нам в нос Мелитой. Намекаете на ее плохое поведение, легкомыслие. Но я опять спрошу вас, мальчиков, кто в этом виноват? Кто этому способствует? Кто вовлекает Мелиту во все это? Разве мы подстрекали ее выкрасть чужой дневник? Нет! Не мы, не так ли. Мы не оправдываем ее поступка. А именно вы подбиваете ее на все эти дела. Пользуетесь ее глупостью и слабостью.

Как я понимаю, вы и сами не уважаете ее, однако все-таки танцуете с ней, бегаєте за ней даже в спальню и совершенно неприлично шепчетесь с ней по темным углам и... — (Тут Анне запнулась и густо покраснела. Явление для нее очень редкое.) — И вообще превращаете ее в какую-то... какую-то невесту для развлечения!

Мы осуждаем ее поведение и говорим ей об этом. Мы наказываем ее наравне с вами. Примите к сведению, что ни одна из нас, во всяком случае из нашей группы, не хочет ни в чем походить на нее.

Ну, а вы? Вы считаете недостойные поступки своих ребят каким-то героизмом. Защищаете и покрываете друг друга до нечестности. Разве вы наказали Ааду за то, что он без всякой причины и так грубо оскорбил девушку? Разве кому-нибудь из вас пришло в голову приказать Энрико вернуть Кадри дневник? Наоборот, вы все принимали в этом участие. Украсть чужую тайну, чтобы всем вместе поиздеваться над ней. Только потому, что ни у одного из вас не хватит смелости вступить за доброе и честное, раз уж вы все одна компания!

Защитник заявил, что на скамье подсудимых не все, кто должен там быть. Да, не все. Все там и не поместись бы. Все мальчики, у кого на груди комсомольский значок, должны бы сидеть там сейчас в качестве ответчика, вот что я вам скажу!

— Позвольте, позвольте! — Андрес вскочил, не до-слушав Анне до конца. — Вы все-таки описываете все эти вещи такими, какими они вам представляются. К сожалению, я должен заметить, что это очень по-де-вичьи. Постоянно отбрасывать простые факты и бли-стать своим темпераментом!

Если вы разрешите и если вам интересно знать, ни-кто из нас не считал поступок Ааду хорошим. Ни между собой, ни здесь, на сегодняшнем открытом судебном за-седании. Первым, кто посоветовал Ааду пойти и сразу извиниться, был, с вашего позволения, ваш сегодняш-ний противник — Андрес Ояссон, и в состав делегации, которая должна была в тот же вечер принести изви-нения, входило полдесятого класса. К сожалению, в тот вечер мы не были к вам допущены, а на следую-щий день вы наказали нас своим презрением и не стали разговаривать ни с одним из нас. Но возвращаясь еще раз к этой девичьей тайне, которая так бессовестно была разглашена, позвольте все-таки спросить: разве вы, если бы к вам в руки попала такая или несколько иная тайна кого-либо из мальчиков, разве вы не прочли бы ее? Не поинтересовались бы ею? Если можно, от-ветьте, пожалуйста, честно.

В эту минуту мне почему-то вспомнилось очень дав-нее воскресенье из моего детства, когда я дрожащими руками вскрыла письмо, адресованное бабушке.

Анне, как видно, ничего подобного не вспомнилось, потому что она ничуть не утратила иронии:

— Мы только что слышали, как ловко высмеи-ваются наши девичьи чувства и наше неумение при-нимать в расчет простые факты. И тем не менее, по отношению к нам применяется тот же прием — апеллируется к нашей честности и чувствам. Я не стану отвечать за возможные ошибки всех девочек. Пожа-луй, это не было бы справедливо. Но я опираюсь на единственный факт, который могу привести по этому вопросу — до сих пор мы ничего не выкрадывали у мальчиков. Ведь не можете же вы все-таки упрек-нуть нас в несуществующих преступлениях, не так ли? А мы, со своей стороны, не просим у вас ничего, кроме того, чтобы вы ответили нам тем же — то есть оставили бы в покое нас и наши тайны.

Защитник не дал мне прошлый раз закончить свою мысль, А именно, я утверждаю, что свое неподобаю-щее поведение и проступки вы считаете делом чести. Быть может, вы правы, и это не всегда так. Мы поста-раемся поверить в существование вашей «покаянной комиссии» только на основании ваших слов. Но перей-дем к более серьезным вещам. Разве курение и даже выпивки вы не считаете делом чести? Мужским де-лом?

Андрес нетерпеливо покашливал, но Анне на этот раз не позволила себя перебить. Ее зеленоватые глаза сощурились и метали искры.

— Тебе, Андрес, нечего беспокоиться. Я могу при-вести и факты. Скажи мне сам, честно и чистосер-дечно, разве в мальчишеской раздевалке на любом ве-чере не пахнет сигаретным дымом? Или и это тоже «эмоциональность» наших носов? Как? Я пойду дальше. Вы мне можете сказать, куда исчез Свен Пурре на новогоднем вечере? — (О, боже! Ах, пра-вильно, «боже» говорить нельзя!) — И уж раз тут по-шло на открытое объяснение, то, может быть, вы ска-жете мне, кто был этот пошатывающийся юноша с заплетающимися ногами, шумевший в тот вечер за дверью интерната? Кто был тот, который этого самого подвыпившего и шумного юношу втащил в дом и успо-каивал и уговаривал, чтобы никто не узнал. Нам с Тинкой — а мы в тот момент проветривали спальню и как, раз стояли у окна, показалось, что этот соучаст-ник — а ведь скрывающий — всегда соучастник, — был очень похож на Андреса Ояссона, ученика девятого класса, комсомольца и вообще-то очень честного и ум-ного мальчика.

Молчание!

Крайне неловкое и напряженное молчание.

Судья просит Андреса дать пояснения. Андрес отка-зывается. Тогда она обращается к Анне: кто был этот пьяный мальчик? И тогда Анне бросает в огонь послед-нюю порцию взрывчатки... она называет Свена Пурре. Я до сих пор не понимаю — почему Анне из всех по-добных случаев назвала именно этот, хотя никто из нас до сих пор и не подозревал о нем? А ведь ни для кого не было секретом, что такое случалось с мальчиками из нашего интерната не раз. Почему же она умолчала о них и рассказала лишь об одном? Может быть, по-тому, что именно тот случай она видела своими глазами. И тут я вспоминаю фразу, когда-то сказанную Анне: «Я никогда не забываю ни одной услуги, но и обид я тоже не забываю».

Конечно, очень трудно забыть, если тебя, в присут-ствии других девочек, не признают красивой. Также, как очень надолго запоминается, что тебя считают «зо-лотком» и приглашают танцевать, а если ты отказы-ваешься, то уходят и совершают «мужские поступки». Хорошо, если бы все этим ограничилось, только, на-верно, случай со Свеном будет обсуждаться и в высших инстанциях.

По решению суда Энту принес мне свои формальные извинения. Должна сказать, что это не доставило мне никакой радости. Ни малейшей. По справедливости, и я тоже должна была бы взять назад свои слова «про-тивный тип» и т. д. Не говоря уже о совершенно бес-сердечном намеке на давние проступки Энту. Только ведь без разрешения суда, без общественного давления, это еще труднее сделать. Вообще извиняться — это совсем не веселое дело. Это было заметно по лицу Энту. Только Ааду превратил все это в простую забаву. Он стоял вполоборота к Весте, как мужчина, решивший принять участие в детской игре. Ну, что же. Перемирие, кажется, временное. СРЕДА...

Почему-то я сразу почувствовала, что выиграть это дело совсем уж не так и полезно. Нет, все-таки полезно. Целые полторы недели у нас были сплошные споры, споры и споры. Уже в понедельник мы заметили, что мальчишки что-то против нас замышляют. Теперь они ходят с блокнотами и карандашами и у них все время ушки на макушке. Мы же разговариваем отныне таким изысканным языком, что для взаимопонимания, пожа-луй, не лишним было бы привлечь переводчика. Но мы ведь не собираемся попадаться в расставленную нами самими ловушку! Во всяком случае, в одном все мы, включая учителей, абсолютно единодушны — такого интересного комсомольского мероприятия в истории школы еще не было.

Похоже, что дело Свена пока, как говорится, поло-жено «под сукно», или, в крайнем случае, он получит что-то вроде условного наказания.

Да, все прекрасно, и все-таки я сижу здесь с опух-шими от слез глазами и на сердце у меня кошки скре-бут. Даже не хочется об этом писать. Хочу думать о чем-нибудь другом, но не могу. Мысли возвращаются к одному. Лучше уж я напишу все, как было. Иногда и раньше бывало, когда очень тяжело и одолевают гру-стные мысли, напишешь обо всем в дневнике или Урмасу, и становится легче. Только вот, когда я написала Урмасу и послала ему мое «поэтическое произведение», над которым иронизировал на суде Андрес, то Урмас ответил, что ему оно не совсем понятно. Да, сочинять стихи и писать при этом правду — очень большое ис-кусство. Ясную, понятную правду и красивые поэти-ческие слова! Для этого надо гораздо больше, чем у меня есть. Ну, и прежде всего, конечно, надо самой ос-новательно и глубоко продумать свою правду.

Но о том, что случилось теперь, я не решаюсь даже намекнуть Урмасу. О, нет! Хотя сама я совсем не ви-новата, все же в этом есть что-то такое, что я просто не знаю, как Урмас, узнав об этом, будет ко мне отно-ситься. Потому что чем больше я об этом думаю, тем ужаснее мне кажется вся эта история.

Сегодня вечером была радиопередача нашей группы.

Мы очень тщательно к ней подготовились. Не может же наша передача быть хуже других. В

последних из-вестиях центральное место занимало сообщение о том, что мы, наконец-то, победили по волейболу команду де-вочек из II средней школы. Пусть никто не думает, что наши девочки не в состоянии перекинуть мяч через сетку или забить его на пустое место на половине про-тивника! Чувство превосходства поддержало в нас в этот день и то обстоятельство, что мы ни одним словом не напомнили о нашей осенней стычке и об их тогдаш-нем поведении. Даже Сассь на этот раз ограничилась тем, что потопталась на месте и прокомментировала:

— А наши сегодня были в форме! Лики как даст... Анне как подымет, — и т. д.

Оставшаяся часть программы состояла из юморесок. Анне прочла «Укрощение велосипеда» Марка Твена, а затем последовало несколько эпиграмм и юморесок на-ших поэтов и писателей. Несколько вещиц типа эпи-грамм мы сочинили своими силами. И в заключение программы — короткая беседа на тему: «Новейшие ис-следования о языке школьников девятого и десятого классов на территории нашего интерната», в которой я попыталась описать комические моменты, возникаю-щие в результате нашего старания говорить изыскан-ным языком. Наша передача имела успех, и все могло бы быть очень хорошо, но...

Для других этот вечер кончился весельем, смехом и музыкой, которую мы передали в заключение, а для меня... Случилось так, что мы с Энту остались вдвоем убирать помещение радиоузла. Кстати, Энту — техни-ческий руководитель всех передач, а я на этот раз была ответственной за содержание передачи.

Я укладывала наши рукописи на верхнюю «архив-ную» полку, как вдруг почувствовала, что кто-то про-тянул ко мне руки так, что я оказалась в узком промежутке между этими руками и полкой. Я резко обернулась и прежде чем успела что-либо понять, почувствовала, что прижата вплотную к полке в кольце сильных рук и что-то горячее и душное скользнуло по моей щеке, что-то прижалось на миг к моим губам. Я задыхалась от ужаса и вырвалась, как может выр-ваться человек, чья жизнь в опасности.

Упорно утешаю себя тем, что это все-таки был не совсем поцелуй, что он не успел, что... Но разве это утешение! И то, что я целый вечер скребла свою щеку и уголок рта стиральным порошком и туалетным мы-лом, тоже не утешение. Этот след не смоешь!

Как он осмелился?! Как он посмел?! Зачем? Зачем? Зачем? Ведь я не такая девочка. Я не дала ему повода. Должен же он это понимать. Тогда зачем? Зачем? Не-ужели для того, чтобы нанести мне очередное оскорб-ление? Как можно быть таким подлым?

В испуге я прежде всего побежала на третий этаж. Чувствовала одно — надо спрятаться, не хочу и не могу сейчас показаться в группе. Дверь зала оказалась по-чему-то открытой. Туда я и помчалась, села в темном углу на краю сцены и выплакала свой позор и злость в пыльный занавес. Ой, как он посмел! Он видел, что ничем другим не в состоянии вывести меня из себя, и вот теперь... Ой, как он посмел! Я била кулаком по за-навесу.

Вдруг почувствовала, что кто-то здесь, рядом. Попы-талась заглушить всхлипывания занавесом. Только бы незаметно скрыться отсюда. А то еще придется кому-то объяснять, почему я тут, на сцене, плачу. Осторожно огляделась. В открытую дверь из коридора проникал слабый свет. И в этом свете — о, ужас! — я увидела Энту, который стоял и прислушивался. Я открыла было рот, чтобы закричать, потому что он шаг за шагом стал как-то крадучись приближаться ко мне. Но он опередил меня:

— Не вой, как дурочка! Что я тебе сделал?

Сами по себе слова были по-энтуски грубы, но в его голосе было что-то человеческое, какая-то очень слабая, затаенная умоляющая нотка или что-то в этом роде. Хотя страх исчез, но заплакала я еще сильнее. Слы-шала, как Энту шлепнулся рядом со мной на край сцены. Я

продолжала плакать. И вдруг Энту полусер-дито, полубеспомощно произнес такие слова:

— Истинное слово, женщины — невозможные плаксы!

Неужели я не ослышалась? Поток слез как ножом отрезало. В полутьме я пыталась опухшими от слез глазами взглянуть прямо в глаза Энту: неужели ему в самом деле около двадцати лет и он уже лезет к девочкам с поцелуями?

— О каких это женщинах ты говоришь? — попыталась проиронизировать я.

Энту как-то сжался.

— Ну, черт с вами. Все вы одинаковые! И ты ничуть не лучше других!

Не знаю, думала ли я, что Энту непременно должен считать, что я лучше других (уж во всяком случае лучше Мелиты), только вдруг во мне закипела настоящая злость и я сказала по возможности ядовито:

— Поэтому-то ты и набросился на меня?

Кого-кого, а Энту одними интонациями не испугаешь.

Он пожал плечами и ответил тем же:

— Пожалуй.

Это переходило уже всякие границы.

— Что ты хочешь этим сказать?

Мой голос приближался к колоратурному звучанию.

— Примерно то, что я сказал. Все вы одинаковые. Страшно вежливые и добродетельные. Попробуй, не сними перед какой-нибудь девчонкой шапку — как вся компания уже в обмороке, и тебя вызывают на собрание к ответу. Ничего другого не услышишь, как «Обра-щайся со мной вежливо! Мораль комсомольца! Ай, гос-поди, ведь я из хрупкого фарфора!». На вид вежливые и добродетельные до нитки, а в темном углу все одинаковые — готовы броситься на шею любому мальчишке!

От ненависти и обиды я забыла все на свете, испытывала только одно желание — ответить Энту тем же, раз он до сих пор не понял меня. Поэтому я спросила его шипящим голосом:

— Энту, ты, видно, хочешь, чтобы я заехала тебе по морде?

— Ну, видишь, я же говорил, — злорадствовал Энту. — У таких, как вы, тонкого воспитания, добродетели и красноречия хватает только на учителей, воспитателей и комсомольские собрания. А для таких, как я, — шлеп по морде, и дело с концом!

Я была посрамлена. Опять я сама посрамила себя. Это до того ужасно, что во мне все вдруг переворачивается и обязательно выливается наружу. Ведь так нельзя. Конечно, и у него в душе есть какой-то уголок, который позволит приблизиться к нему, не унижая ни себя, ни его.

Мы помолчали. В это время я постаралась семь раз глубоко вдохнуть и выдохнуть и только потом начала:

— Послушай, Энту, ведь я никогда не сделала тебе ничего плохого. Почему же ты постоянно преследуешь меня? Почему ты сегодня, — я начала заикаться, — почему ты сегодня меня так страшно оскорбил? Ведь я же не давала к этому повода, нет?

— Ну, конечно! — я поняла, что подойти к Энту и что-то пробудить в нем невозможно. — Если я дотро-нусь до тебя пальцем — сразу слезы и истерика, словно тебя режут, а если Свен с тобой лижется, тогда «ол райт» и такая манна небесная, только держись!

— Энту! — воскликнула я так громко, что Энту испуганно огляделся.

— Чего ты шумишь? Может, ты хочешь уверить, что тогда, в музыкальном классе, когда я на вас напоролся, вы там вдвоем со Свеном приносили пионерское обещание, что ли? Всегда готовы? — так, что ли? Не заметишь ты меня, как бы это дело обернулось? А? Свя-тоша! Мадонна! Не тронь-меня! Полезу во имя других на туманный остров, да? А что за переписка у тебя с Урмасом? А? Что это у тебя за Урмас? А?

Каждое слово было для меня, как удар камнем по затылку. Именно по затылку, потому что они приходились словно бы в спину, искали незащищенное место, так, чтобы я не могла предвидеть, откуда будет нанесен удар. Я сидела совершенно убитая, онемевшая перед установленным Энту зеркалом. Это было беспощадно, как истина, и я видела себя так, как до сих пор не умела видеть.

И в самом деле, почему Энту должен был думать обо мне лучше, чем он думает, ведь, по его мнению, раз я могла играть, подыгрывать с одним, почему же он должен верить, что я не стану этого делать с другим? Он знал даже о моей переписке с Урмасом. Совершенно неизвестно, что еще он может знать обо мне. Да, конечно же, раз девочка такая двуличная и одно из ее лиц, как она хочет показать, до того уж честное и возвышенное, почему же, оказавшись с ней наедине, не испробовать своего счастья, чтобы потом, вместе с друзьями, посмеяться над этим!

Я была потрясена. Он сидел рядом, этот, с моей точки зрения, самый плохой мальчик на свете и имел полное право и основание считать меня плохой.

— Ты уже всем рассказал об этом? — наконец спросила я, вздыхая. И тут Энту ответил самым странным вопросом, который только можно было придумать. Он спросил меня, так же вздыхая:

— Скажи, Кадри, почему ты ненавидишь меня?

— Я — тебя?! Но ведь это ты ненавидишь меня, — ответила я в замешательстве и растерянности.

— Ты думаешь?

Я не поняла, что именно прозвучало в этих словах, только что-то очень странное и совсем не похожее на Энту. И вдруг мне опять стало страшно. Я встала и то-ропливо заговорила:

— Кажется, кто-то идет. Нам надо уйти отсюда. А то опять подумают неизвестно что. И двери внизу скоро закроют. Во всяком случае, я ухожу.

Я была уже в дверях, когда Энту окликнул меня. Нет! Нет! Сегодня я не хочу больше ничего слышать. Мне и так надо слишком многое обдумать. Я побежала по коридору и по черной лестнице.

Теперь вот сижу, пишу и грызу ручку. Тщательно вымыла лицо и рот, но далеко не все мне удалось смыть.

Свен и Урмас? Неужели я в самом деле была настолько низкой и вела двойную игру?

Но ведь это величайшая глупость. Разве можно себе представить здесь какую-то игру! С Урмасом я никогда ничего не разыгрывала и не собираюсь этого делать. Но почему же тогда

мне нравилось улыбаться Свену и танцевать с ним? Почему мне нравилось нравиться ему? Или это и есть игра?

А жизнь? Ведь жизнь — серьезное дело! Цветок папоротника ПОНЕДЕЛЬНИК...

Мой старый друг, прошло немало времени, и вот я вновь берусь за тебя. Была пауза. Тяжелые дни молчания. Угнетающие, болезненно застывшие мысли и... Ох, ну как же может так быть? Живешь своей беззаботной, счастливой жизнью. Счастливой уже потому, что есть повседневные, маленькие заботы. Такие ма-ленькие, что они тут же перестают быть заботами и превращаются даже в радостные воспоминания, как только их течение прерывает настоящее горе, большое непоправимое несчастье.

Ах, если бы Свен не пришел тогда со своими биле-тами на концерт! Если бы воспитательница тогда так легко не отпустила меня. Она мне вообще не запрещает куда-либо ходить, но на этот раз все-таки могла запре-тить. Она только спросила: «С кем ты идешь?», — и когда я честно ответила: «Со Свенном», — она слегка покачала головой и сказала: «Только никаких прогу-лок. Сразу с концерта домой. Учти, что я буду сидеть в интернате, пока вы не придете».

Если бы это посещение концерта не состоялось! Если бы! Как много тогда не случилось бы. Если бы Свен тогда днем так глупо не повредил ногу, что совсем не мог двигаться. Если бы он по меньшей мере не пере-дал свой билет Тийту. Именно Тийту, который в му-зыке абсолютно ничего не смыслит. Если бы Тийт, в свою очередь, не предложил этот билет ребятам из своей группы и если бы кто-нибудь помешал Энрико взять этот билет. Если бы не случилось этого, послед-него! Только не это.

Если бы, если бы, если бы! Как непреодолимо глупо звучат теперь для меня самой эти «если бы». Теперь я стала умнее. Иногда кажется, что я стала слишком мудрой. За эту мудрость я заплатила тяжелой ценой. Поменяла бы ее на любую ребячью глупость, если бы только это было еще возможно. Как прожить жизнь с таким непосильным грузом?

Я не могу никого ни в чем винить. Только себя и свою дурацкую девчоночью самонадеянность и, может быть, гордость. Именно этим я открыла дорогу тем ужасным событиям. Но ведь я не могла предвидеть судьбу, т. е. тот ужасный случай!

Тогда на концерте, когда я вдруг увидела рядом Эн-рико, моим первым естественным желанием было вско-чить и уйти. И только упрямство удержало меня на месте.

Сначала упрямство, а потом музыка и пение. Это был вечер самых лучших в мире песен. Одна прекраснее другой! Они совсем околдовали меня, словно я долго-долго ждала их. Любовь была в каждой песне. Она зву-чала то в скромном рассказе о цветах и птицах, то в страстной исповеди, то в трагических словах осужден-ного на смерть... Словно бы для того, чтобы я больше никогда не посмела быть счастливой, слушая музыку, зазвучала уже знакомая ария. Сначала полуречитати-вом произнесенные слова: «Как ярко сияют звезды...». Я вновь погрузилась в загадочный страстный мир зву-ков, в мир властелина туманных гор... Я не решалась вытирать слезы, боясь привлечь внимание Энрико. Мо-жет ли жизнь казаться возвышеннее, желаннее, чем в это мгновение: «...теперь умираю покинутым. Но все же я так жажду жизни, жажду жизни!»

Никогда ни один звук, ни одна музыкальная фраза не обретет для меня такого до боли великого содержа-ния. Ох, если бы я тогда знала об этом. Но грядущие часы были для меня скрыты завесой неизвестности, я слишком интенсивно жила настоящим и не могла за-быть недавнего прошлого! Упорно и самозабвенно я отгораживалась от любых соприкосновений с чем-то чужим. Не хотела ничего делить, во всяком случае, с теми, кого считала недостойными.

Поэтому я воспользовалась аплодисментами, чтобы стереть следы слез и сразу исчезнуть с глаз Энрико. Исчезнуть при первой возможности. Затеряться среди выходящих из зала людей. Я видела, как Энрико ози-рался, разыскивая меня. Если бы я тогда поняла смысл его поиска. Если бы я об этом задумалась! А я тем вре-менем быстро скрылась за дверью.

Мой маневр удался. В дверях я еще раз огляделась. Облегченно вздохнула. Его не было. Несомненно, он прошел слева, более коротким путем. А мне хотелось остаться одной с моими взволнованными мыслями, рожденными музыкой. Быть может, даже и не совсем одной! Наверно, было бы радостно поделиться ими, только уж конечно не с Энрико. Хотя он всю неделю всем своим поведением старался показать, что между нами ничего не произошло и что мне нечего опасаться. Я же по-прежнему не доверяла ему.

Прежде всего становилось страшно от одной мысли о возможности идти с ним вдвоем домой. И мне при-шлось бы снова мучиться мыслями о том неприятном случае. Сейчас мне хотелось думать о высоком и чи-стом, о том, в чем нет никаких противоречий...

Поэтому я выбрала на всякий случай самую длин-ную дорогу домой, пошла кругом так, чтобы исключить возможность встречи с Энрико. Стоял такой чудесный весенний вечер. Надо мной было высокое ясное небо и мерцающие звезды, и мне хорошо было идти одной по тихим улицам. Я могла хоть ненадолго почувствовать себя независимым, самостоятельным человеком, кото-рый идет домой, когда захочет, и какой захочет доро-гой, медленно или быстро, словом так, как ему нра-вится.

Мои каблукки постукивали по тротуару в такт зву-чавшей в душе песенке. Из-за Энту я ушла из театра одной из последних, и в этот час на улицах уже почти не было прохожих. Я уже миновала развалины, когда вдруг меня охватила безотчетная тревога. Эти разва-лины всегда вызывали во мне тяжелое, гнетущее чув-ство. Наверно, мало кто чувствует себя хорошо среди развалин. Особенно в такой поздний час. Я даже пожа-лела, что выбрала этот длинный путь. Энрико, конечно, давно вернулся, а я когда еще доберусь до дому. Вспом-нилась просьба воспитательницы, и я тут же решила исправить, что еще можно. Стала взбираться на вал, чтобы хоть немного сократить путь.

И вдруг в сгустившихся сумерках передо мной вы-росла какая-то фигура. Мое хорошее настроение мгно-венно исчезло. Страх, леденящий ужас сжал мне горло, у меня похолодели руки. В памяти мелькнули две жут-кие истории, которые, как говорят, произошли на прошлой неделе у нас в городе. От фигуры исходил ка-кой-то кабацкий запах. Я хотела проскользнуть мимо него, но он придвинулся ко мне и преградил путь. Я тут же повернулась, решив бежать назад, и столкнулась лицом к лицу с другим типом. До сих пор не знаю, спро-сила ли я вслух или крикнула мысленно:

— Что вам надо?

Страх, все возрастающий животный страх, сковал меня. Теперь оба они стояли рядом со мной. Один из них прохрипел:

— Мы тебя поджидаем, цыпленочек, — и схватил меня за руку. Мои мысли путались. Какой-то инстинкт подсказал мне, что нельзя вырваться, надо притво-риться спокойной, как-то выиграть время, потому что ведь тут же, по другую сторону дороги, внизу дома, а в домах люди. Не может же быть, что в этот час все в городе уже спят. Нечеловеческим напряжением сдер-живая дрожь, я спросила:

— Вы же меня не знаете, как же могли меня ждать?

— Не волнуйся, цыпочка, уж мы познакомимся, — пробурчал второй тип и от этих слов я задрожала с ног до головы. Тут он схватил меня за вторую руку. Я за-кричала изо всех сил.

И тут же услышала свое имя. Кто-то отчаянно звал:

— Кадри!

Сжимавшие меня страшные грубые руки сразу раз-жались. Почему-то я поняла, что Энрико рядом. Все произошло невероятно быстро. Я видела, как от удара, нанесенного Энрико, один из типов полетел на спину, а второй негодяй бросился на Энрико, первый тем време-нем грубо ругаясь, стал подниматься с земли. Не знаю, бывает ли, чтобы человек стоял и был в обмороке, но мне кажется, что на мгновение я потеряла сознание. Меня привел в себя отчаянный крик Энрико:

— Кадри, беги! Беги! Скорее!

Теперь у меня достаточно времени, чтобы обдумать все случившееся и сделать задним числом всякие дет-ские выводы. Почему я не мальчик или не такая силь-ная, смелая и закаленная девочка, как Лики? Тысячу раз я мысленно хватала с земли камень и била им од-ного из хулиганов по голове.

А на самом деле я тогда поддалась самому перво-бытному страху, испугалась за себя и послушалась от-чаянного крика Энрико. Бежала и кричала во всю мочь, и только новый, нечеловеческий крик, раздавшийся за моей спиной, заставил меня остановиться и задать себе первый человеческий вопрос:

— А Энрико?

Я обернулась в то мгновение, когда один из бандитов выпрямился над лежащим на земле человеком, а второй уже растворился в сумерках. В это же время я увидела людей, бегущих на вал.

О том, что было потом, я помню очень смутно и от-рывочно. Энрико лежит навзничь, совершенно непод-вижно. В спине у него глубокая рана. Помнится, я что-то бессмысленно кричала, прижавшись к какой-то совсем чужой старушке, гладившей меня по голове и повто-рявшей:

— Бедные дети! Бедные дети!

Потом вдруг появились люди в белых халатах и кто-то теребит меня и говорит:

— Ты не слышишь, что ли? Он же еще дышит. Надежда есть.

Надежда? Я поднимаю голову. Неужели на свете еще есть надежда?

Потом следуют вопросы, вопросы, вопросы. И вдруг рядом оказывается воспитательница Сиймсон. Услы-шав ее голос, чувствую, как оцепенение отпускает меня, и прижимаюсь к ней и.плачу. Не знаю, что было бы, если бы в эти дни и тем более ночи подле меня не было воспитательницы Сиймсон. Она привела меня к себе, домой. Мы говорили с ней короткие весенние ночи на-пролет, говорили и говорили и, несмотря ни на что, находили смысл жизни даже тогда, когда близость и бессмысленность смерти угнетала нас обеих...

Энрико лежал в больнице, и в течение нескольких страшных дней на наши вопросы о его состоянии нам не могли сказать ничего утешительного. На третий или четвертый день сестра спросила у меня:

— Вас зовут Кадри Ялакас?

Я сказала — да, и тогда она добавила:

— Врач разрешил вам навещать его каждый день. Его состояние очень тяжелое. Учтите это. Для начала я могу разрешить побыть у него всего пять минут. По-старайтесь говорить с ним о чем-нибудь веселом и легком. Его нельзя волновать, понимаете?

О веселом и легком?

— Не-ет, тогда, может быть, лучше я приду завтра.

— Нельзя. Единственное желание больного — видеть вас. Когда он был без сознания, он бредил только о вас. Ведь вы молодая девушка, неужели не можете на пять минут взять себя в руки? Ради него.

Я не гоюсь в солдаты. У меня ни капли отваги. Я сразу раскисаю и готова пуститься наутек. Сидела за дверью и собиралась с силами, пока не решила, что теперь справлюсь.

Сестра заверила, что надежда есть, потому что боль-ной «молодой и сильный». В первую минуту я не уз-нала этого «молодого и сильного». Когда я вошла, он смотрел в сторону окна, и такая безмерная усталость была на его прозрачном, восковом лице, что оно каза-лось старческим: так мало было в нем жизни, и она, казалось, уже ускользала.

Только когда я вплотную подошла к его кровати, он повернул голову, увидел меня и на одно короткое мгно-вение краски и жизнь словно бы вернулись на его став-шее совсем чужим лицо.

За дверью я все хорошенько продумала. Как я рас-скажу ему забавную историю, которая произошла се-годня утром с Сассь, как она с тарелкой щей налетела на Прямую и... Вот здесь, стоя у постели Энрико, я чувствовала такое неопи-сываемое, огромное несоответст-вие между будничной, счастливой школьной жизнью и лежащим здесь Энрико, что было совершенно невоз-можно притворяться веселой и молоть всякий вздор. Глубоко запавшие глаза смотрели на меня с каким-то настолько мучительным вопросом, что я сжала руками спинку кровати и не могла произнести ни слова. — Садись, Кадри!

Его голос и бессильный жест, указавший на табу-ретку, потрясли меня еще больше. Ведь невозможно же, чтобы человек молодой, цветущий человек, кото-рый всего несколько дней назад был самым лучшим и сильным спортсменом в команде, который съедал за обедом по несколько порций, который шутя поднимал младших ребят, каждого одной рукой и поднимал их высоко, над собой, мог так измениться.

Я села. Так сильно закусил губу, что вкус крови ос-тался у меня во рту, но это было совершенно беспо-лезно.

— Куколка, опять ты из-за меня плачешь? Прости. Вечно я заставляю тебя плакать.

Ох, никому на свете не пожелаю проливать такие слезы! «Куколка», сказал он мне. Это была его улыбка, чтобы утешить меня. Он утешал меня! Просил про-щенья! Энрико просил прощенья у меня?!

Я слишком хорошо помню, что означает такая пере-мена в человеке. Я не забыла еще мою строгую и суро-вую бабушку, которая с каждым днем, приближавшим смерть, становилась все молчаливее и ласковее. То, что не может жизнь, может приближающаяся смерть.

Прощенья просил Энрико у меня! У меня, кто дол-жен бы стоять у его постели на коленях и благодарить его!

Когда я вновь очутилась на лестнице и остановилась, не видя ничего от слез, кто-то тихонько взял меня за локоть.

— Ну, что же ты тут стоишь. Пойдем.

Это был Ааду. Значит, и его привело сюда беспокойство. У него болело сердце за судьбу единственного друга, а мне нечем было его утешить.

— Ты его видела? Ну, как он? — спросил Ааду, а я в ответ расплакалась еще горше. Мы шли рядом по до-роге к школе. Я всхлипывала, а Ааду молчал. Только немного спустя, когда мне удалось с собой справиться, я рассказала ему о том, что видела.

— Чертовы мерзавцы! — И Ааду поддал ногой ва-лявшийся на дороге камень. — Я сейчас ходил в мили-цию. Их еще не поймали. Может, и не поймают. Се-годня ночью кто-то пытался забраться в кооператив. Ясно, что их работа. И опять скрылись.

Ааду злился, и мне показалось, что он даже скрипнул зубами. Чем резче говорил Ааду, тем лучше это на меня действовало. Я чувствовала, что в возмущении Ааду, этого обычно равнодушного и хладнокровного маль-чика, я словно обрела для себя опору.

— Черт, это нельзя так оставить. Надо что-то пред-принять. Ты слышала, как сделали в одном большом городе? Там тоже какие-то беглые заключенные начали было всех терроризировать. Представляешь, все ком-сомольцы вышли на улицы. Группами по несколько десятков человек, и за какие-то две недели город был очищен. Нам было бы достаточно двух-трех ночей. Если бы собрать всех ребят. Со всего города. Надо спра-виться!

Я взглянула на него. Неужели это действительно был Ааду Аадомяги, мой одноклассник, который до сих пор прославился только одним подвигом — отказал де-вочке, пригласившей его танцевать? Я смотрела и прислушивалась. Стояла пораженная. Как попало ч у в с т в о на лицо Ааду? Большое, человеческое, страстное чувство.

И всагом деле, никто иной, как наш Ааду, в тот же вечер организовал чрезвычайное собрание и всех девяти-тиклассников и десятиклассников разом привлек к этому делу. Только Свен из-за своей больной ноги, кото-рую он все еще с трудом волочил, не смог примкнуть к ребятам.

Нам предстояло охватить всю городскую молодежь и, прежде всего, конечно, школьников. Мы с Ааду схо-дили даже в комитет комсомола и в милицию. Всюду встретили поддержку. Не знаю, когда мы в те дни за-нимались, когда спали, но усталости не чувствовали.

Уже на следующую ночь на дежурство вышли пер-вые патрули школьников и заводских. Наши ребята добровольно взяли на себя более частые дежурства.

Мы были единственной школой, где в этом деле уча-ствовали также и девочки. А именно — Лики, Веста, я и даже Марелле. Другие чувства помогли мне подавить страх. Правда, это далось нелегко, но я знала одно: только так я смогу жить дальше. У меня, как, впрочем, у всех нас, была одна мысль — найти и уничтожить то страшное, что покушается на спокойные весенние ночи нашего города. На мирные дни нашей юности, чтобы омрачить их. Теперь я не понимаю, откуда брались силы часами ходить по ночным улицам, я впереди, а мальчики на расстоянии, так, чтобы их нельзя было сразу заметить.

Насколько сильнее стала я за время этих необычных прогулок, Я закалилась не только на эти короткие весенние ночи, но и на всю жизнь. Это я знаю теперь, но ясно чувствовала и тогда. Именно это сознание по-могло мне преодолеть мою самую большую слабость — трусость. Сначала я готова была поднести к губам сви-сток, завидя любую движущуюся тень, каждую секунду я ощущала весь ужас недавно пережитого, и каждую секунду снова преодолевала его... Мне это удалось. Быть может, только это сейчас и поддерживает меня немного.

Очень хочется забыть это время. Но разве такое за-будешь! Такие воспоминания уходят в

глубину, мы перестаем их ощущать, как нечто пришедшее извне, и со временем они перерастают в то или иное качество нашего всегда обновляющегося «я»... ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Это была удивительная весна. Слишком удивительная. Я узнала отчаяние и страх. Научилась преодолеть их ненавистью. Ненавистью к человеконенавистничеству. Ненавистью ко всему бесчеловечному, и в этих, жестоких событиях и мыслях открыла для себя нечто, воплотившееся во многих глазах близких мне людей, нечто, о чем я очень много читала и слышала, что до сих пор было для меня чем-то далеким, а этой весной стало ясно ощутимым, поразительным и трогательным.

Любовь!

Я избегала употреблять это слово в своем дневнике, потому что считала себя молодой и глупой, да так оно и было... Лишь очень смутно я различала твой далекий отзвук в песне без слов лебединой стаи и во всем прекрасном и добром, что встречала в жизни. И в светлом и чистом тепле дружбы. Но ты другая. Иногда ты можешь быть совсем другой, как ни в одной книге и ни в одной жизни...

Иногда ты как папоротник, что цветет только в легендах и растет в тени. Одну такую легенду, странную, необыкновенную, могу рассказать и я.

Трудными были дни, когда я возвращалась из больницы и каждый встречный расспрашивал меня, а я только и могла ответить: надежды очень мало. Еще труднее было в эти дни из-за снов Марелле.

Да, тут-то они и начались. Каждое утро она рассказывала мне что-нибудь мучительное, какие-то кошмары, бессмысленные и бредовые. Пока и мне не начали сниться еще более страшные вещи. Я стала бояться Марелле, как вестника смерти или самого страшного сна. Наконец, однажды я не выдержала и накричала на нее. Наверно, это было очень грубо, потому что Марелле расплакалась. Мне стало очень стыдно и от души жаль Марелле, но все-таки я не смогла не думать: о том, что впервые вижу ее плачущей и не заметить, что плачет она как-то по-особенному и делается просто отталкивающей некрасивой.

Я извинилась перед ней. Попыталась объяснить, что так получилось потому, что я очень расстроена и вообще я злое, потерявшее самообладание существо, но все это ничуть не утешило и не успокоило ее. Я разволновалась еще больше. Ясно помню, что у меня было почти непреодолимое, противоестественное желание оттащить ее за черные косы, чтобы она, наконец, перестала реветь. С большим трудом я подавила в себе это чувство и несправедливое отвращение, села рядом, обняла ее, гладила по голове и бормотала какую-то дурацкую чушь.

Тут-то она и началась. Исповедь Марелле. И она была еще фантастичнее, чем ее бесконечные сны. В эти минуты я забыла о своем горе и меня охватило сочувствие к ней. Я узнала то, о чем уже давно должна была бы догадаться. О привязанности Марелле к Энрико. Она влюблена в него с первого дня. Сколько мы все болтали здесь о любви и влюбленности, но это всегда ограничивалось словами и шутками. Марелле в этих разговорах никогда не участвовала. Мы считали ее просто слишком добродетельной, а это, в свою очередь, создавало между нами словно бы преграду. Ведь всегда кажется смешным то, что не так, как у нас. А теперь мне стало ясно, что по-настоящему большое и глубокое мешало Марелле участвовать в наших шутках и заставляло ее быть осторожной и скрытной, чтобы не вызвать наших насмешек.

Но то, что она сказала потом, совсем испугало меня:

— А когда ты к нам поступила, я стала тебе завидовать, — исповедовалась Марелле, глядя куда-то мимо меня, — я сразу поняла, что Энрико влюблен в тебя. Никогда, ни на одну

девочку он не смотрел такими глазами. На меня никогда. Он меня просто не замечал. Не спорь, я знаю. Я чувствую. Душой чувствую. Иногда я ненавидела тебя. Потом старалась преодолеть это чувство. Каждый вечер, под одеялом, я просила бога, чтобы...

О, небо, еще и бога! А потом бог сделал для Марелле и без того сложное дело еще гораздо сложнее. Иногда Марелле удавалось быть доброй ко мне, иногда не удавалось. Но при этом я никогда не замечала никакой разницы, как ни стараюсь припомнить. Она сказала, что постоянно следила за мной и Энрико и подглядывала за нами, и в тот раз она ждала в коридоре за углом, когда мы с Энрико остались вдвоем убирать радиоузел и видела, как я оттуда выбежала и бросилась вниз по лестнице, а Энрико за мной.

Я не могла остановить саморазоблачений Марелле, настолько быстро она изливалась, и у меня не было сил. Я слушала все это, словно речь шла не обо мне. Хотя Марелле и сказала, что она так страшно ненавидела меня в те дни и призывала на мою голову божью кару и просила меня наказать. Теперь она дрожала в безумном страхе, что бог и правда меня покарал. Покарал не только меня, но, как она считала, и ее тоже, и теперь он отнимет у нее Энрико, возьмет к себе.

Это был до того нелепый и дикий вздор, что я не смогла удержаться и усмехнулась про себя, выслушав эту бессмыслицу. Мне представилась какая-то старая, глянцевиная картинка с ангелами и...

— Ты еще смеешься! — истерически выкрикнула Марелле. — Ты смеешься смеяться, когда он... Бессердечная!

Неужели она угадала мои мысли? Ведь внешне я оставалась очень серьезной.

— Прости! Прости, пожалуйста! — Она повисла у меня на шее. — Нет, ты совсем не бессердечная. Ты самая лучшая девочка. Это все знают. Потому-то Энрико тебя... Это я несправедливая, и теперь бог наказывает меня.

Я не могла ее остановить, даже если бы очень хотела этого. Для этого я слишком устала и оступела от потрясений. Просто стояла и слушала этот вздор. Вещи такого рода я всегда считала чем-то, относящимся к истории и к миру очень старых, отсталых людей. А тут вдруг моя одноклассница, восемнадцатилетняя девчушка, возится с богом и с какой-то мистической карательной системой. И все это с самым серьезным видом.

Мало того, что сама она по уши увязла во всем этом, она ухватилась за меня и пыталась вовлечь в эти дела и меня тоже. Я, мол, должна пойти вместе с ней в церковь и помолиться. Только так мы можем спасти Энрико. Именно я должна смягчить сердце и молить бога за жизнь Энрико. Бог, мол, услышит мою молитву. Не знаю, из чего она это заключила? Может, из того, что ее собственные мольбы уже надоели богу — ведь и ему нужно разнообразие. Разумеется, я не могла высказать ей такие мысли, а она все больше и больше увлекалась.

— Ты должна что-нибудь обещать богу. Ну, что тебе стоит. Обещай, что будешь ходить в церковь. Если не каждое воскресенье, то хотя бы раз в месяц. Подумай об этом. Всего раз в месяц тебе придется приносить эту жертву и Энрико будет спасен. Ведь твоя совесть велит тебе сделать это, не правда ли? Да? Ну, скажи — да! Потом, когда Энрико поправится, ты и сама будешь рада. Тогда и его сведем на благодарственное богослужение. Со мной-то он не пойдет, а с тобой обязательно. Я это обещала богу, Кадри, помоги мне!..

У меня голова закружилась и стало тошнить. Ведь последние ночи я так мало спала. Я перестала что-либо понимать. Стала сомневаться в нормальности Марелле. Настоящее горе и отчаяние и тут же какой-то мелочный расчет, какая-то торговля!

Я чувствовала себя во многом виноватой. Ведь целый год я сидела за одной партой с этой

девочкой и по-на-стоящему не знала, что она ходит в церковь или в молельню. То есть нет, что это я говорю. Конечно, знала, потому что она иногда упоминала об этом в разговоре, но у меня осталось впечатление, что делает она это вместе с родителями и ради них. Вообще-то я не особенно задумывалась об этом. Как и все мы. Мы проходили мимо Марелле и своими насмешками и высокомерием все более отталкивали ее от себя. Что же удивительного, что она запуталась в каком-то нереальном мире и униженно выторговывает себе лучшую долю каким-то тысячи лет назад придуманным способом...

Теперь, когда я обо всем этом узнала, мне стало совсем по-новому жаль Марелле. Я искренне хотела помочь ей. Но в самом главном, в том, ради чего Марелле готова пожертвовать всем, даже, как она уверяла, жизнью, если бы только бог согласился, я была так же беспомощна, как и этот ее бог... ПОЗДНЕЕ...

На другой день, когда я сидела у постели Энрико, я попыталась быть хоть немного лучше Марелленого бога и начала исподволь:

— Может быть, тебе хочется видеть кого-нибудь еще из нашего класса? Все рвутся проведать тебя. Как ты думаешь, если, скажем, завтра придет кто-нибудь другой?

Энрико не дал мне закончить, схватил мою руку своей горячей рукой и взволнованно спросил:

— А ты не хочешь больше приходить?

— Ну, что ты. Не выдумывай глупостей. Разумеется, хочу. Я бы все время сидела здесь, у твоей постели. Только ведь и другие хотят. Они только и делают, что спрашивают о тебе. Ты же знаешь, что пока к тебе всех не пускают. Но может быть, ты хотел бы, чтобы, например, завтра или послезавтра для разнообразия пришел кто-то другой. Ну, скажем, Марелле...

— Марелле? Почему Марелле? — искреннее удивление Энрико смутило меня. Я не имела права сказать больше, чем решилась сказать:

— Разве же ты не знаешь, какая она. Добрая, мягко-сердечная и так беспокоится о тебе.

— О, Мареллены беспокойства! — Энрико даже махнул рукой. Стало ясно, что никакого божественного вмешательства здесь не произошло. — Если разрешат двоим, скажи Ааду. Пусть зайдет, если время будет. Может, и еще кто из ребят потом придет. Если разрешат, приведи как-нибудь Сассь. Только никто не смеет приходить вместо тебя. Понимаешь? Ты приходи каждый день. Слышишь?

Опять у него в лице какая-то тоска.

— Дай слово, что будешь приходить. Каждый день! Знаешь, — на его лице мелькнула тень улыбки, — желаниям умирающего нельзя противиться. Теперь ты у меня в руках. Если ты хоть раз не придешь — я отдам концы. А потом буду являться к тебе, как привидение. И это будет у тебя на совести!

О да, это только на моей совести!

Но Марелле! Да, любовь бывает похожа на слепого музыканта, который исполняет свои самые страстные мелодии перед глухими... СРЕДА...

Настолько все-таки я сумела стать заместителем бессердечного бога Марелле, что смогла ей сообщать не-много более утешительные новости. Сначала я немножко преувеличивала, рассказывая, что дело идет на поправку. И все-таки в глаза Энрико с каждым днем словно откуда-то издалека возвращалась жизнь. Сестра тоже подтвердила это и сказала, что теперь

уже вполне можно надеяться, что он выздоровеет.

Все свободное время, сколько мне разрешали, я про-сживала у его постели. Теперь иногда пускали и Ааду. Нам казалось, что совсем скоро все будет хорошо, и Энрико опять будет сидеть на первой парте, в ряду около окон, и займет среди нас свое место.

За эти дни я его по-настоящему узнала. И хотя с каждым днем к нему понемножку возвращался преж-ний тон и словечки, все же он ни разу не показался мне прежним. Я ясно видела, как он старается от них отделаться. Мы разговаривали очень откровенно.

Странно, до чего же многое мы воспринимаем совсем одинаково. Только в одном он со мной ничуть не согла-сен. Ааду рассказал ему, как мы теперь патрулируем и что девочки тоже участвуют. Почему-то Ааду преу-величил мою смелость и решительность. Этим хотел доставить Энрико удовольствие, что ли. Но Энрико, ка-залось, очень огорчился. И в конце концов взял с меня обещание, что буду участвовать в этом деле только в группе Ааду и не стану отходить от него дальше, чем на десять шагов и свисток буду все время держать на-готове. (Словно я осмелилась бы на что-нибудь боль-шее!)

Второе условие — чтобы я ни в коем случае не вхо-дила в группу, где Свен. Тут мне было легко его успо-коить, потому что из всех мальчиков старше шестнад-цати лет один Свен не участвовал в патрулировании — у него все еще болела нога. Вообще-то лучше нам было в том разговоре не касаться Свена, потому что в наших новых отношениях впервые ощутился разлад.

— Я тебя уверяю, Кукла, ты не знаешь Свена. Счи-таешь, что он хороший музыкант и увлечен тобой, но... впрочем, когда-нибудь сама убедишься.

И это правда. Я не знала Свена, как до этих пор не знала Энту и хотя бы его друга Ааду. Я их всех немножко знала с внешней стороны, а у Свена слу-чайно именно эта сторона была наиболее привле-кательной.

И вот наступил день, когда Энрико показался мне уже настолько здоровым и веселым, что я решилась сделать то, что следовало сделать давным-давно.

— Энрико, — начала я, опустив глаза, — я уже давно хочу у тебя попросить прощенья в одном... Знаешь, я не должна была тогда говорить тебе...

Ой, до чего же иногда обоюдоострая штука просить прощенья. Невольно приходится беречь старые раны. Но раз уж я начала и Энрико с напряженным внима-нием смотрел на меня, мне пришлось продолжать.

— С моей стороны было очень низко упрекать тебя в той несчастной истории в нашей старой школе. Ты можешь простить мне это?

— Ах, ты об этом! — На лице Энрико отразилось разочарование и смущение. — Что теперь об этом гово-рять. И вообще — Урмас тогда выдал мне за дело. Знаешь, я когда-нибудь еще здорово отблагодарю его за это. Честное слово.

Только эти бесконечные извинения и объяснения, в сущности, чепуха. Значит, убей человека, попроси про-щения — и все в порядке. Не так ли? Ну, знаешь... — Энрико поежился. — Когда-то ты заставила меня в су-дебном порядке просить у тебя прощенья, — тут он слабо улыбнулся, — и разве это поправило дело, скажи? Разве я от этого изменился или ты стала ко мне лучше относиться? Ведь нет же?

— Я... конечно же... — я отчаянно пыталась не покривить душой и в то же время не забывать, что не имею никакого права и основания обижать человека, особенно теперешнего Энрико, —

то есть, это же... как воспринимать... Я уверена, что... ну, да...

— Ну что же ты заикаешься! — улыбка Энрико переходит в откровенный смех. — Ведь я не такой дурак, как ты, видимо, думаешь. И знаешь что, Кукла, — он вдруг стал снова серьезным, просто очень серьезным. — Извиниться-то я извинился. Высыпал себе на голову целую гору пепла и так далее. Но честно говоря, был здорово разочарован, когда обнаружил, что эта твоя тетрадка вовсе не дневник. Знаешь, я бы многое дал, чтобы хоть разок почитать твой дневник. Конечно, только твой. Не думай, дела других девчонок меня ни-чуть не интересуют. Никогда не интересовали и интересовать не будут. Только о тебе я хочу знать все. По-нимаешь? Все!

Он взял мою руку и я не решилась отнять ее, не решилась спросить, зачем же он дал мою тетрадь читать другим, потому что почувствовала, что у него опять жар. Рука была такая горячая и мне стало очень жаль его. Он лежит в больнице только из-за меня. Защищая меня, он рисковал жизнью. Думая об этом, я тихонько, бережно погладила его руку, судорожно сжимавшую мои пальцы. И тут же ужасно испугалась своего поступка, увидев вдруг изменившееся лицо Энрико — мне даже страшно стало — а вдруг у него снова открылась рана?

Он прошептал: «Кадри!» и еще раз «Кадри!» и в глазах у него было столько света, что я не выдержала, встала и отошла к окну. Там, стоя спиной к Энрико, глядя в окно и ничего перед собой не видя, я вдруг все поняла. В эти долгие-долгие минуты я мысленно просила у него прощения за все, за все! Когда я обернулась, чтобы попрощаться и уйти, я поняла, что он знает это.

Он примирился...

В те дни я так была связана с Энрико, что почти поза-была обо всем другом. Но чем лучше чувствовал себя Энрико, тем радостнее становилось, и я понемногу начала опять интересоваться окружающими людьми и событиями.

С того страшного вечера я говорила со Свеном только один раз, когда он остановил меня в коридоре и как-то очень странно спросил, как все это случилось. Это было совсем в начале и я знала только, что Энрико все еще без сознания и мне пришлось столько раз рассказывать об этом и врачам, и милиционерам, и учителям и всем прочим, что я устало пожала плечами и сказала:

— В другой раз.

Теперь мне вспомнилось это. И еще, что в последнее время Свен словно бы сторонится меня. Может быть, его обидел мой ответ. Когда человек подходит к тебе с сочувствием, не стоит его сразу отталкивать. Кроме того, у него все еще болит нога, а я и этим не удосужилась поинтересоваться. Все это и вообще какое-то неопределенное желание ясности заставило меня искать встречи со Свеном. Как-то под вечер я пошла его искать туда, где мы раньше встречались. Сразу после подготовительного урока поспешила туда. Услышала, что он упражняется. Решила не мешать ему, а подождать на лестнице. Чтобы не бросаться в глаза тем, кто может случайно оказаться на лестнице, я встала в уголок, на площадке. В этот час в коридорах уже никого не было. Только с нижнего этажа доносились голоса ребят, направлявшихся в столовую. Игра Свена здесь была еле слышна. Он должен был скоро закончить, если не хотел остаться без ужина. Я терпеливо ждала.

Сердце билось почему-то необычно сильно. Не знаю, может быть, так бывает со всеми, кто тайно ждет. Мне вспомнились мои мысли в тот вечер, когда я столкнулась с Энрико, и я почувствовала, что сегодня что-то должно решиться.

Игра оборвалась — а это значило, что Свен вот-вот появится в коридоре, и я почему-то

поднялась на не-сколько ступенек выше. Осторожно выглядывала из-за перил.

Дверь отворилась. Не знаю, все ли, кто подслушивает и подглядывает, чувствуют себя так неловко, только я, увидев Свена, невольно отпрянула в тень. Когда он прошел мимо, не заметив меня, я быстро побежала вниз и посмотрела ему вслед. Да, я не ошиблась. Вот он идет, самый красивый мальчик в классе, тайная или явная мечта всех наших школьниц. Мальчик, который еще во втором классе играл принца, идет, высокий и стройный, своей слегка пружинистой походкой. Казалось, кто-то приподнял передо мной завесу и я почти громко охнула.

Он уже подошел к задней лестнице. Я окликнула его:

— Свен!

Он остановился, словно налетел на стену. Я подошла.

— Ты больше не хромаешь?

Видимо, ему нечего было ответить. Мне показалось, что его смуглое лицо стало еще смуглее. Теперь мне самой было неприятно, что я остановила его. У него было такое загнанное выражение глаз, и, в конце концов, я не уверена, что смею упрекать кого-нибудь в трусости. Хотя он и мальчик. Мне было неловко, словно я увидела раздетого человека. Вспомнилась история принца и принцессы и наш первый танец и захотелось убежать, но все-таки я сказала:

— По мне ты можешь продолжать в том же духе. Ты же знаешь — я не болтушка. Я тебя не выслеживала, не думай, а просто хотела поговорить с тобой, но теперь это уже не имеет смысла...

Его лицо оживилось, он как-то криво усмехнулся:

— Пойми, Кадри. У меня нет желания возиться с головорезами. У меня свое призвание. И этого за меня никто не может делать, не так ли? Но другие могут за меня... Одним словом, мне предстоит трудный экзамен по фортепьяно, и я буду выступать.

Я оставила его с его призванием и убежала.

Но самое поразительное было еще впереди. Когда я уже сидела за столом, этот человек с призванием вскоре появился в столовой и в самом деле опять хромал!!!

Если принцессе приходится стыдиться трусости принца, пусть даже игрушечного, то уж лучше бы ей навеки остаться в хрустальном гробу, с куском отравленного яблока в горле. Но к счастью, это только пьеса, а настоящая жизнь — в чем-то другом... ЧЕТВЕРГ...

Многие большие и маленькие события, о которых я думаю и пишу, может быть, скоро забудутся, но этот день никогда не изгладится из памяти. До конца жизни.

В тот день солнце сияло особенно щедро. Наступила настоящая весна. И я осмелилась радоваться ей. В лесу, за школьным садом, собрала букет подснежников и пошла в больницу. У меня было припасено для Энрико нескольких забавных историй о школьных делах и немало приятных новостей. Я хотела в разговоре дать ему как-то понять, что понимаю, почему он предостерегал меня в отношении Свена, понимаю, почему он ни во что не ставит этого принца. Думалось, что это обрадует Энрико.

В гардеробе, когда я попросила халат, мне сказали, что у Адамсона уже есть посетитель. У него посети-тель? Я знала точно, что сегодня раньше меня никто не собирался навестить Энрико.

— Кто же у него? — удивленно спросила я.

— Его мать.

Его мать! Я совсем позабыла об этой возможности. Правильно. И у Энрико есть родители. Об отце я слышала и раньше, но теперь, за время болезни Энрико, узнала кое-что дополнительно. О матери же у нас с ним никогда не было разговора.

Как бы то ни было, это была хорошая новость. Все равно, каким путем, но опять обрести свою мать! Я уже собиралась вернуться в интернат, но подумала о дан-ном Энрико обещании не пропустить ни одного дня и, кроме того, мне самой все это было немножко инте-ресно. Как-то там Энрико? Что он расскажет о своей матери и вообще..?

Я вышла на залитую солнцем улицу и стала прогу-ливаться взад и вперед. Вскоре я услышала, что кто-то зовет: «Барышня! Послушайте, барышня!»

Это восклицание, повторенное несколько раз, показа-лось мне настолько смешным, что я с любопытством оглянулась, чтобы посмотреть, что это за барышня, ко-торую надо так настойчиво и громко окликать.

У входа в больницу стояла женщина. Она махала руками и, увидя, что я остановилась, направилась ко мне.

— Да, вы. Вас зовут Кадри?

— Да.

Это был самый странный человек из всех, кого мне доводилось встречать. Густые черные брови, непонят-ного цвета глаза, большой, широкий нос — все на этом лице, исключая глаза, находилось в непрерывном дви-жении. Мне подумалось, что если кому-нибудь пришло бы в голову нарисовать горячку, то ее можно было рисо-вать с этой женщины. Она начала без обиняков, как-то отрывисто и натянуто:

— Видите, он прогнал меня. Родной сын выгнал вон. Ох, я не переживу этого. Это убьет меня. Это последняя капля, переполнившая чашу. Я тоже человек. Я с ума сойду!

Конечно, я сразу догадалась, кто была эта женщина. Кроме того, у нее было хотя и очень отдаленное, но все же сходство с Энрико. Я растерянно молчала. Стояла в полном замешательстве и смотрела на сменяющиеся гримасы этого странного лица. Не знаю, как может случиться, что кто-то говорит о чем-то таком страшном, как сумасшествие и прочие ужасы, а я стою, слушаю и не нахожу в себе ни капли сочувствия. Просто стою и смотрю.

Было удивительное чувство: словно смотришь на пу-стую сцену, где всего один актер — очень плохой актер, который изо всех сил старается изобразить потрясен-ного горем человека. Я видела, что она не только не делает усилий, чтобы сдержать слезы, как любой взрос-лый человек, а, наоборот, как ребенок, делает все, чтобы заплакать.

Это удалось ей неожиданно легко. Слезы потекли по ее толстым, густо напудренным щекам.

— Пожалуйста, не плачьте. Ведь люди увидят, — только и сумела сказать я, и мне стало до боли жаль Энрико. — Он очень болен. Он очень болен. Постарай-тесь понять его.

Слезы исчезли так же неожиданно, как и появились. Остались только полоски на нарумяненных щеках. На мгновение она закатила глаза. Во всем этом было что-то очень противное. Я была готова на что угодно, только бы можно было уйти, а не стоять здесь и не смотреть на нее. Я была уверена, что если бы ушла отсюда, то ее лицо стало бы спокойным и ей бы не захотелось ни плакать, ни закатывать глаза. Но я не решалась оста-вить ее. К

тому же она беспрерывно говорила.

— Болен! Болен! — грубо крикнула она. — Я что ли виновата? Скажи? Разве я натравила на него хулиганов? Говори!

Широко открыв глаза, я смотрела в ее искаженное лицо.

— Зачем вы мне это говорите?

Наверно, она не слышала меня. Безобразно гримасничая, она вдруг начала передразнивать своего сына:

— Мама, я жду свою одноклассницу. Мама, она должна сейчас прийти. Мама, двоих сюда не пускают. Так что, мамочка, убирайся-ка отсюда. А мамочка приехала с края света, чтобы взглянуть на больного сына. Мама-то деревянная, что ли? А? Значит, мама мешает, раз сыночку захотелось поухаживать...

— Подумайте, что вы говорите! — прервала я. Она вдруг громко рассмеялась:

— Ах, вот как! Только этого еще и не хватало! Значит, барышня считает, что я не умею с ней разговаривать? Может, свекровь недостаточно тонко воспитана? Может, барышне даже стыдно стоять здесь и разговаривать с такой старухой, как я? Но все-таки, надеюсь, барышня извинит, что я захотела ее увидеть. Это чудо-юдо, этого ангелочка, ради которого мой единственный сын дал себя убить.

Все это было сказано хриплым, неестественным голосом. И вдруг она перешла на визг. Посыпались слова, которые я не могу повторить. Я попятилась, резко повернулась и пустилась бежать. Бежала, как от потопа.

Еще на лестнице, в интернате, где я налетела прямо на воспитательницу, я задышалась от бега и волнения. Хотела молча пройти мимо воспитательницы, но она схватила меня за плечо и строго спросила:

— Куда ты? Что случилось?

Мне не хотелось говорить. Только не теперь. Ни она почти насильно увела меня к себе и стала расспрашивать:

— Откуда ты? От Энрико? Что с ним? Да говори же наконец! Отвечай, если тебя спрашивают. Ему хуже?

Мне ничего не оставалось, как рассказать, почему я не видела Энрико. — Ты видела его мать? — Да. И я рассказала все.

— Ой, воспитательница, если бы знали, — я спрятала лицо у нее на плече. — Но она права. Ведь я же, правда, виновата. Я... Ох, да вы не знаете всего. Я... ведь я знала, что Энту хочет идти со мной домой. Я видела, как он искал меня. Но я не знаю и всего не могу сказать. Только я боялась его и презирала и потому-то забралась от него к этим развалинам. Ох, ничего бы не было, если бы я не была такой дурой и просто... Слово, если бы я думала не только о себе. Мы вместе пришли бы домой и ничего бы не случилось. Ох, как только подумаю, что его могли убить! И вообще он из-за этого столько натерпелся и, может быть, это останется на всю жизнь и я во всем виновата. Я...

— Успокойся, глупенькая, успокойся! Прежде всего, Энрико жив! Во-вторых, он молодой и сильный и, конечно, поправится. Перестань. Что ты мучаешься. Всякое слово, которое ты где-то услышишь, нельзя принимать близко к сердцу. Нужно быть тверже.

Послушай, Кадри. Видишь ли, я живу среди вас и слышу и вижу иногда больше, чем вы думаете. Знаю о ваших взаимоотношениях, о ваших маленьких прива-занностях, о дружбе довольно много. Знаю Энрико и знаю тебя. Я понимаю, что именно оттолкнуло тебя от Энрико. Его поведение. Кто же в этом виноват? Ты? Нет, моя девочка. Если тут вообще кто-то виноват, то только родители, которые своим образом жизни коверкают и уродуют души детей с самого раннего детства.

Я знаю историю Энрико. Мать думала только о себе и об удовлетворении своих капризов и прихотей. Ребе-нок был для нее только источником хлопот и обузой. А для ребенка это не может пройти бесследно. Или с полдюжины случайных мачех, которых отец приводил домой, иногда всего на два-три дня — могли ли они вызвать в душе Энрико чувство уважения к матери и вообще к женщине? Я хорошо помню, каким он к нам пришел. Беспризорник. Кулаки, грубость, брань. Вна-чале он был в моей группе. Но после того, как он здо-рово отколотил Свена, директор перевел его в другую группу. Мне этот мальчик нравился всегда. Я видела его насквозь. А ты еще не научилась этому искусству. Кроме того, как ты сама говоришь, ты была предубеж-дена против него. Кстати, заметь — предубеждение — самое плохое в отношениях между людьми.

— Нет, вы не знаете, и я не умею этого объяснить, но все-таки я как-то знала... То, есть, я не знала, а просто иногда чувствовала, что он словно бы делает себя таким, и еще... Но именно это и раздражало меня... Если человек что-то из себя строит, то почему же не хорошее, не могу понять. И вообще, зачем при-творяться? Да еще плохим? Я не могу этого объяснить. Но когда он смастерил для Сассь утюг и еще раньше... Я где-то внутри чувствовала, что он не такой, каким хочет казаться. Но это-то и злило. Не знаю... как-то не думала об этом. Только ведь... если я это чувство-вала, то должна была и сама быть другой. Я тоже вела себя неправильно, тоже была не совсем честной, не правда ли? Я... Ох, я и сама не понимаю. Почему это так? Почему делать зло гораздо легче, чем добро? Скажите, воспитательница, вы ведь старше и у вас больше опыта — почему это так?

Воспитательница серьезно смотрела на меня:

— Кадри, ты спрашиваешь о вещах, на которые нелегко ответить. Мы все еще сваливаем это на недав-ний бесчеловечный и несправедливый строй. Списываем за счет укоренившихся пережитков, стараемся, по мере сил, ликвидировать их. Вам, молодежи, предстоит про-должить это дело. Мы сделали, что сумели. Видишь, и из Энрико сделали человека, который без колебаний, рискуя жизнью, встал на защиту девушки.

Если бы он остался дома, то, возможно, сейчас он был бы с теми, от кого он защищал тебя. Вместо плохого дома — новый, нормальный, хороший коллектив. А это именно то, что так необходимо многим молодым. Ведь Энрико — не исключение. Из скольких домов пока еще выходят в жизнь и в общество люди с надломленными, изуродованными, искалеченными душами. А общество должно выпрямлять их и в большинстве случаев справ-ляется с этим,

Но что же такое коллектив? В данном случае это не только мы, учителя-воспитатели, а в той же, если не в большей степени, вы, ученики-воспитанники. Каждый, кто в коллективе выступает за правду, стремится к пре-красному и чистому, хочет строить новую, лучшую жизнь — это положительный фактор, направляющий коллектив, определяющий его лицо. И конечно ты, сама того не подозревая, стала одной из воспитательниц Энрико. А он, в свою очередь, в чем-то повлиял на тебя. Как ты думаешь? Ведь это так?

Мне вдруг вспомнилось кое-что, заставившее меня густо покраснеть. Но именно этот эпизод, казавшийся таким бессовестно несправедливым, заставил меня о многом серьезно призадуматься. Не говоря уже о позд-нейших поступках Энрико.

Когда я шла от воспитательницы, мир казался мне прежним, сияющим утренней красотой, и я

заторопи-лась в больницу, чтобы разделить это чувство с Энрико. ПОЗДНЕЕ...

Когда я стояла в больничной гардеробной и ждала, чтобы мне выдали халат, я увидела медсестру, с кото-рой мы часто говорили об Энрико. Она сказала:

— У Энрико уже был посетитель. Это его очень взволновало. Теперь ему необходим покой. Не волнуй-тесь. Я сообщу вам сразу, как он спросит о вас. Ведь вам можно позвонить?

Она, правда, сказала, что, мол, не волнуйтесь, но сама казалась очень встревоженной и это передалось мне. Бедный Энрико, я так и думала, что посещение матери тяжело отразится на твоём здоровье.

Я долго бродила по улицам.

Вечером все еще было тревожно на сердце. В школу никто не позвонил, и я решила на всякий случай еще раз зайти в больницу спросить, уж не стало ли ему хуже.

На этот раз дежурила новая медсестра, которую я ви-дела впервые. Она подняла на лоб очки и спросила, глядя мне в глаза:

— Вы ему кем приходитесь?

— Одноклассница, — просто ответила я.

И тут она сказала самые невероятные и страшные слова:

— Он умер уже два часа назад!

Это неправда! Это не может быть правдой! Это невоз-можно! Пожалуйста, пожалуйста, ведь это же не-правда?!

И все-таки это правда.

И все-таки это правда. Энрико умер.

Умер.

Умер. Мы все живем, а он умер. Его нет. Нет нигде. Ни в другой комнате, ни в другой школе, ни в другом городе. Его нет нигде. Он умер.

Это потрясло всех.

Глубоко ранило всех. И меня особенно. Это прошло сквозь нас! Прошло, как огонь сквозь живое тело. От каждого из нас что-то отняло и оставило что-то взамен. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что это выжгло в одних то лишнее, чего не хватало другим, чтобы вжечь в них это. В этих событиях мы слились в один гораздо более прочный, чем до сих пор, сплав, и стеклянная стена старых представлений, рухнула между нами и разбилась вдребезги.

Но это произошло ценой жизни, а мы еще не были закаленными людьми...

Наверно, мне следовало бы написать здесь и о том, что я узнала значительно позднее от старика с боль-ными ногами, что лежал в одной палате с Энрико, и от медсестры.

В то время, когда я стояла на улице с матерью Эн-рико, там, наверху произошло то жестокое и непопра-вимое.

Сестра обвиняет себя, говорит, что не должна была пускать эту мать к сыну или, по крайней

мере, должна была предварительно поговорить с ней. Мужчина из палаты упрекает себя, почему во время визита этой матери или, по крайней мере, сразу после ее ухода не вызвал сестру или санитарку...

Первое, о чем мать стала говорить сыну, были жалобы на то, как трудно ей, бедненькой, живется. Это была длинная жалобная и вздорная песня о человеческой черствости и бессердечии по отношению к ней. И в заключение трагический, прозвучавший, как обвинение, возглас:

— Будто у меня и без того мало горя и неприятностей, чтобы тебе надо было навести на мою голову еще и эту беду!

Ее нервы, мол, больше не выдерживают, все это сведет ее в могилу. Во время этих излияний Энрико лежал тихо, только руки нервно теребили край одеяла. Пока мать наконец не заявила:

— Скажи, надо тебе было ввязываться в драку с босяками из-за какой-то чужой девчонки!

На это Энрико взволнованно возразил:

— Мама, ну что ты говоришь. Во-первых, это была не какая-то чужая девчонка, а Кадри. Понимаешь? Моя одноклассница и... вообще-то, если бы была и чужая, то я, по-твоему, должен был сам удрать, а девочку бросить с этими типами?

Когда же мать услышала, что эта самая девушка должна с минуты на минуту прийти в больницу, она иронически и двусмысленно усмехнулась и заявила:

— Ну, прекрасно. Посидим и подождем, когда эта «одноклассница» явится. Хочу своими глазами увидеть это чудо-юдо, ради которого мой сын готов положить свою голову.

И тут же закурила.

— Не годилось вмешиваться, — рассказывал больной, видевший все это. — Хотел было сказать — бросьте, мол, хотя бы папиросу. Мне было жаль парня. Он был прямо как в огне.

Мать причитала еще долго, жаловалась, что никто ее не понимает, и родной сын в том числе, что все мужчины одинаковы, и сынок такой же, и все они обижают ее, несчастную. А она так страшно страдает. Потому-то и нервы у нее расстроены. Энрико не говорил больше ни слова, и мамаша вдруг вскочила:

— Вижу, вижу, что ты хочешь от меня отделаться. Тебе нечего сказать матери. Я тебе не нужна. Ждешь эту чужую девчонку, из-за которой уже и так получил. Ну что ж, на здоровье. Не буду вам мешать. Пожалуй-ста, я могу и уйти. В жизни уже приходилось уходить, уйду и теперь. Никто во мне не нуждается. Прощай. Это наша последняя встреча. Когда-нибудь ты еще вспомнишь свою бедную, несчастную маму, но будет уже поздно.

И бедная, несчастная мама удалилась, оставив за собой клубы горького табачного дыма и еще более горькие мысли. Ушла, так и не удосужившись спросить хоть один раз, как ее сын чувствует себя, не нужно ли ему чего-нибудь, не нужна ли ему ее помощь.

Когда за матерью закрылась дверь, Энрико приподнял с подушки голову и позвал:

— Мама!

Потом опустил на подушку и лежал тихо, с закрытыми глазами, так, что сосед уже решил, что Энрико задремал. Но потом заметил, что Энрико стал судорожно вдыхать воздух и открыл глаза.

Сосед предложил позвонить и позвать санитарку, чтобы открыть окно, но Энрико резко, почти сердито отказался от этого. Если подумать, то и это понятно. Конечно, он не хотел, чтобы другие заметили, что его мать курила в палате.

Он не хотел ждать даже меня. Боюсь, что именно меня. Хотя я не раз раньше открывала и закрывала у них в палате окно. Неужели я не смогла бы это сделать и на этот раз? Мой бедный, бедный друг! Как только подумаю: целый класс друзей, целый интернат своих, целая больница людей, которые там только для того, чтобы помочь в беде — и все-таки в тот момент ты был в таком тупике, так одинок. Думал, что был.

Как это страшно.

И потом — какое-то невероятно жестокое равнодушие к себе, или что же это такое? Хотя, если бы я была на твоём месте, может быть, я поступила бы так же. Даже наверно. Ни один человек, не достигший двадцати лет, не может представить, что смерть существует и для него! Для нас существует все — великие и малые и даже совсем маленькие вещи, только не это. С невероятным усилием ты поднялся с постели. Ты, которому нельзя было даже поворачиваться на другой бок, как-то добрался до окна, ухватился за ручку, потянул — окно не поддавалось, резко рванул ручку и тут же упал. Для тебя больше не было ни весны за окном, ни уходившей матери, ни пришедшей меня. Ничего не было.

Ты умер через несколько часов, не приходя в сознание.

И твой сосед был прикован к постели, и медсестра не успела прибежать на его отчаянный звонок на несколько секунд раньше, и я-то была вынуждена стоять на улице и слушать бессердечный вздор, тогда как ты...

Странно, что, рассказывая об этом, приходится употреблять все те же слова, будничные, обычные слова, сказанные столько раз прежде — ужасно, потрясающе, дико, отчаянно — те самые слова, которые говорятся в беде и в горе. Слова остались те же, но если подумать о случившемся, они словно потеряли смысл.

Прошли дни, недели, месяцы. Мы плакали и уже опять смеялись не раз и по самым разным поводам, но когда вспоминаешь это, в душе поднимается такая скорбь, что на минуту тускнеет завтрашний день...

В ту ночь мы все вместе бродили по улицам. Вообще не смеялись — нам казалось, что в эту короткую, хо-лодную весеннюю ночь наша юность словно бы хочет ускользнуть от нас...

Свежий предрассветный ветер застал нас в городском парке. Мы стояли под старыми дубами, такие, какие мы есть — с нашим общим горем, с нашей скорбью и горечью. Мы не стыдились своих чувств.

Не помню, кто был первым, но там каждый из нас дал свою клятву. Я не стану здесь повторять их. Может быть, теперь, в эти трезвые дни, многие из них покажутся наивными, как те мольбы и обещания Марелле, когда она торговалась со своим богом за жизнь Энрико. Но в этих клятвах было лучшее, что было в каждом из нас, и в них выразилось то, во имя чего каждый из нас хочет жить.

Каждый из нас по-своему закрепил в своем сердце память об ушедшем друге, и я уверена, что совсем по-гаснуть она никогда не сможет ни в ком...

Когда на рассвете наступающего дня мы шли к школе, ко мне неожиданно подошел Ааду:

— Кадри, мне нужно поговорить с тобой.

У него был такой странный голос, что я сказала:

— Не говори, Ааду, если тебе больно.

— Нет, я должен. Ты должна знать — это я тогда отнял у Энрико твою тетрадку и дал ребятам прочесть. Я понимал, что он этого не хочет, но... я... Теперь я очень жалею об этом. Кадри, ты понимаешь? Для Эн-рико ты значила больше всего. Больше, чем я и... Может быть, именно поэтому я... Ну, понимаешь? Ты не должна о нем...

— Не надо, Ааду, не надо. Теперь это все прошло, да? Мы все были немножко несправедливы друг к другу, правда ведь. Но теперь это все прошло. Не бойся, я не могу думать об Энрико плохое. Ты же знаешь. Все, что было, настолько не важно по сравнению с этим. Те-перь...

Я боролась со слезами. Было такое чувство, словно кто-то приказывает мне быть сильной и справиться с ними, но когда взглянула в изменившееся за эту ночь мальчишеское лицо Ааду, с которого словно бы вдруг стерлись все следы прежнего выражения и которое выглядело сейчас таким беспомощно-горьким, то не смогла удержать слез.

А Ааду повторял:

— Ну, что ты, Кадри. Не надо. Ведь теперь ничего не поправишь.

Мы вернулись в школу, и начался новый школьный день, и оба мы до боли ясно чувствовали, что в самом деле ничего больше поправить нельзя!

Непостижимо, как это человек после смерти остается с нами и снова и снова раскрывается для нас. Теперь вдруг он стал для нас тем, кем был на самом деле. Неужели мы действительно раньше не замечали всего этого? Или мы просто слишком эгоистичны, чтобы замечать такое? Почему мы не старались преодолеть это? И почему так часто кажемся не теми, что есть? Почему?

Мой бедный, бедный друг! Я опять и опять вижу тебя в Ааду, в Марелле, в Сассь, в окнах и дверях нашей школы, и я узнаю тебя все больше, когда тебя уже нет с нами.

Я обязана тебе больше, чем кому-либо на свете, но я никогда не смогу отблагодарить тебя за это. Я должна постараться доказать тебе это своей жизнью. В ночь твоей смерти я дала тебе клятву. Мы все дали. Хочу бороться за счастье и не только за свое. Хочу бороться, чтобы больше не было так много слепых случайностей и чтобы никто не обижал детей.

Если хорошенько подумать, то несчастья несчастных начинаются не всегда с того мгновения, когда беда уже нагрянула, его корни где-то глубоко в биографии каж-дого из нас. Только ведь первые страницы нашей био-графии пишутся не детской ручонкой. Нужно следить, внимательно следить, чтобы почерк родителей, что так ясно виден на протяжении всей жизни, был прежде всего чистым и ясным. Я не знаю, как это сделать. Еще не знаю, но хочу посвятить этому свою жизнь. Вообще же, по-моему, растить человека может только тот, кто его любит, а любит человека прежде всего тот, кто умеет его воспитывать!

Этому умению надо учиться. Всем. Любовь нам дана природой. Но и природа ошибается, а если нет любви, то у этого несчастного надо отнять родительские права. Я считаю так совершенно серьезно. Когда я говорила об этом с воспитательницей, она слегка улыбнулась и сказала, что это у меня от горячности молодости. Это непримиримость. Может быть. Но ведь то, что все это я давно продумала, показывает, что я права. Быть может, в моей голове и не зародятся совсем новые мысли, но я хочу сделать все, чтобы эти мысли осуществились. Ведь не даром я живу в пору создания новой эпохи. Кто же тогда будет ее создавать. И я тоже! Я в первую очередь, потому что мне надо заплатить свой долг. Но как именно — этому я буду еще учиться.

Главное, нельзя забыть свою клятву!

Когда я в тот раз рассталась с Ааду и потихоньку пробралась в спальню, все спали, потому что было еще очень рано. Я подошла к кровати Сассь, чтобы поправить сползшее одеяло.

Она спала, по своему обыкновению свернувшись клубочком, и к ее розовой, детской щечке был прижат ма-ленький утюжок. Я слишком устала, чтобы что-то чувствовать. Хотела осторожно убрать утюжок, потому он оставил на ее лице глубокую красную полосу и, кроме того, я подумала, что сама Сассь совсем не хочет, чтобы, когда ее будут будить, другие заметили это. Старалась быть очень осторожной, но Сассь вдруг приподняла чуть опухшие веки и на мгновение ее потемневшие от сна детские глазенки уставились на меня с немым вопросом. Потом она сделала движение, словно хотела спрятать утюжок, но передумала и молча протянула его мне, потирая другой ручонкой щеку. Я также молча спрятала утюжок и протянула к ней руки. С неожиданной стремительностью она бро-силась ко мне на шею, как человек, ищущий защиты от бури.

— Почему тебя не было так долго?

Я тихонько гладила ее головку.

— Никогда больше не уходи так надолго, ладно?

— Да-да, я никогда больше не буду надолго уходить от тебя.

— Кадри, правда ведь, если кто-то умер, то слово, которое дано ему живому, что чего-то кому-нибудь не скажешь, уже больше не считается?

— Нет, милая, почему ты так думаешь? Слово, данное умершим, наоборот, надо твердо держать. Лучше, если ты сохранишь то, что тебе было доверено, только для себя. Конечно, если этим ты не сделаешь плохого кому-то другому.

Сассь подняла голову с моего плеча, слегка отклонилась и посмотрела мне в глаза:

— А если я хочу рассказать? Это совсем не так, как ты думаешь. Ты сама хотела бы об этом узнать. Ведь я расскажу только тебе. Но ты больше никому не говори. Я знаю, что теперь можно сказать тебе. Только тебе.

Я поняла, что Сассь что-то мучает, и решила не-множко помочь ей, если это так.

— Ну, раз ты считаешь... расскажи. Обдумаем вдвоем, как быть.

— Знаешь, Кадри, тогда, на Женский день, совсем не Свен положил цветок на твою подушку, а именно Энрико. То есть, не совсем Энрико, а он дал мне и сказал, не хочу ли я отдать его тебе. И тогда мы вместе придумали, как это сделать, и решили, что я никому не скажу об этом. Но тут пришел этот Свен и... ведь правда, Кадри, я должна была тебе это сказать, ведь правда?

— Да-да, Сассь, ты должна была мне это сказать. Но тебе не хочется еще немножко поспать?

— Нет, — она перебирает пуговицы на моей блузке и кажется, думает о чем-то очень важном.

— Кадри!

— Да?

— Дай мне честное слово, что ты никогда не умрешь.

И такого ребенка бросила мать!

Я крепко-крепко прижала ее к себе. Что-то похожее на улыбку мелькнуло во мне в это утро, хотя мне и хотелось завывать от боли. Любовь пробудила ее во мне, и я ясно поняла, что жизнь стала задавать мне свои первые серьезные задачи.